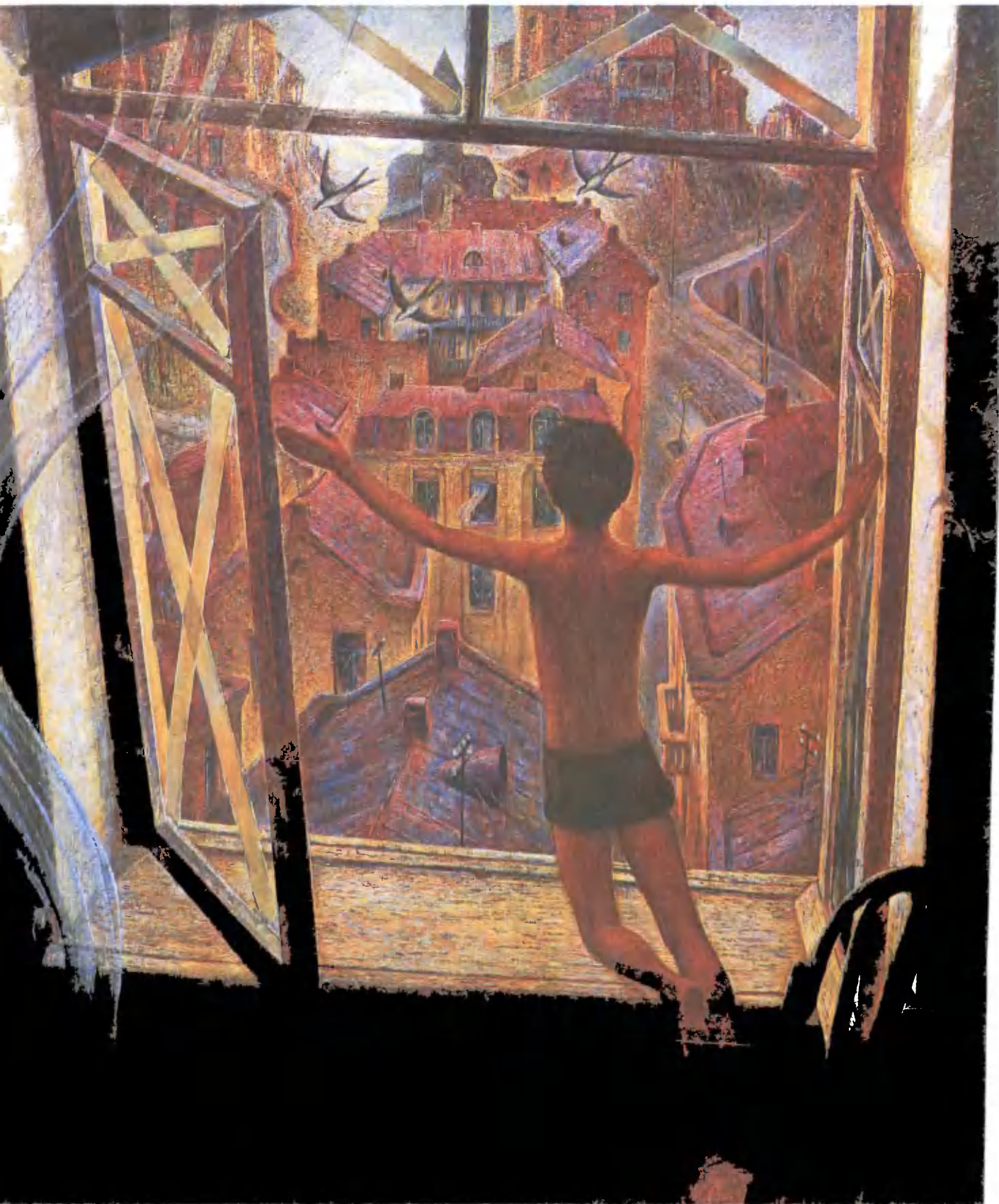


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

5 '88





Д. МИРЗАШВИЛИ. Тбилиси. «Был май 45-го».

ЮНОСТЬ

5

(396)

'88



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ



Инна
КАБЫШ

Дебют в
ЮНОСТИ

Стансы

Учебой ли, в тимуровцы игрой
охвачена.— была я всюду первой.
Отличницей. Общественницей. Стервой.
Меня не научили быть второй.

Остановить бы тройку на скаку,
спросить: «Куда, родимая, несешься?..»
Что первенством от смерти не спасешься,
я знаю. Чем спасешься — не секу.

Переборов ребяческую прыть,
живу неспешно, то есть драматично,
предпочитая не демократично,
а царственно решать, куда мне плыть.

...И мне уже не страшно быть второй.
И пятой. И десятой. И последней.
Да, может, тот бессмертней, кто бесследней,
и тот первой, кто замыкает строй.

Семейная фотография

Это я на руках у отца:
я не помню, сколько мне лет,
и не помню его лица,
хоть и знаю, что мы похожи.
Справа брата нет,
слева брата нет,
справа нет сестры,
слева тоже...

☆☆☆

Во дворе неистово стирают —
пенится сирень
через забор.
Солнце опускается за бор.
— Вздор!
Ведь от любви не умирают...
Выхожу решительно во двор,
притворяюсь, будто загораю,
а на самом деле — умираю.
Умираю, повторяя: «Вздор!...»

☆☆☆

На тротуаре листьев пляска.
Безлюдье. Детская коляска.
В коляске — белоснежный кокон.
Собака — сторож с мудрым оком.
Собака бдит: покой обманчив.
А кокон спит. В нем зреет мальчнк.
Он скоро полетит в детсадик.
Он будет школьник. И десантник.

И если не в гробу вернется,
то по душе ему найдется
работа...
Лист слетает с древа.
А кокон спит. В нем зреет дева.
Резвушка. Девочка-ромашка.
Кокетка: «Мишка П. + Машка».
Подросток с полотна Мурильо.
Возлюбленная. Мать. Мария.
А чадо спит. И прозревает.
И бедный кокон прозревает,
как чудо выпорхнет наружу,
сюда — в бесхозный двор и стужу,
плевки и мусорные баки,
где нет людей,
опричь собаки.

☆☆☆

Солнце встречаешь с мукой немой —
ох, не по муке выдано тело.
Это придумано в мире не мною:
быть нелюбимой — неженское дело.

☆☆☆

Настанет время золотое:
демократизмом удивит;
сформировавшийся в застое
раскрепостится индивид,
духовной пищей будет манна,
чтоб каждый мог переварить,
и я пойму, что негуманно
стихами с ближним говорить.



Отар
ЧИКАДЗЕ

Железное ложе

Галактиону Табидзе

Деревья во сне говорили всю ночь.
И небо, разъятое ветром, роптало.
И в небе луна затерялась — точь-в-точь
усталый старик в закоулках квартала.
Мерцала листва, как во время дождя.
И время мерцало белым циферблата.
И, в думы свои с головою уйдя,
мерцала Кура глубиною агата.
Мерцала душа, устремленная ввысь,
у ночи крошечной просила отсрочки.
И тени разбуженных мыслей неслись,
как будто набитые порохом бочки.
Трамвайные рельсы, протершись в ночи,
как тайная вечеря, тихо и грозно,
внезапно кончались... А там хоть кричи:
лишь небо глядит широко и беззвездно.

Такой эта улица ночью была.
Здесь смысл обретали и шорох, и шепот.

Здесь тени сгушались, щетинилась мгла,
и в стены встал изнурительный опыт.
И форточек сторожевая пальба
за теми, кто здесь иногда пробирался,
неслась по пятам. И летели у лба
то дым пепелища, то запахи лекарства.
Прохожих внезапно охватывал страх.
А царственный сад дожидался рассвета
и сдерживал пение птиц на устах...
...Так жизнь протекала на улице этой.

За стенами Книга писалась для нас.
Пока мы спешили в горячке азарта,
все то, что сегодня не схватывал глаз,
в нее кропотливо вносилось для Завтра.
И все, что приливно дарила луна,
и все, что в толпе вызревало подспудно,
и все, что дожди подмывали со дна
забытой забытой судьбы многотрудной,
и все, чем терзаемы этот и тот,
и все, чем небесные мучимы птицы,—
в ней значилось, не допуская пустот...
И — ЖИЗНЬ — проступало на первой странице.

Поэт на железной кровати лежал.
Лежала душа потрясенная. Сухо
мерцал в изголовии бедном металл.
...Но звуки, доселе невинные слуху,
но неба последняя близость и свет,
но вечности медленный взгляд от порога,
но страсть, но прозрений болезненный бред,
но страшная ночь подведенная итога...
Вот так — под последним напором судьбы
испытывать жалкий прилив благодати,
и плакать, и жизнь поднимать на дыбы
на жалящей, жесткой железной кровати.

А город полночный всюду разоспался,
распался в сновиденном чутком кольце.
И все-таки свет на стене оставался,
как будто улыбка на спящем лице.
И эта улыбка страницы бывшего
задела и, к ним прикасаясь легко,
вернула им душу и голос. И снова
дышать начинали они глубоко.
Опять принимали свой вид изначальный
и бог, и животное, и человек...
И девочка травы рукою случайной
сбирала мгновение — месяцы — век...
Ее донимала пчела и сердила,
касясь волос, и плеча, и чела.
Из полдня и зноя она выходила,
наивна, как эта трава и пчела.
Правее дороги наезженной — строго
стоял монастырь. Разрастаясь, горя,
день был ощутимей присутствия бога.
И девочка, точно робея немного,
следила за стенами монастыря.
И все размышляла: нельзя или можно
к нему подходить... А желанная тень,
как стадо, тянулась за ней осторожно
сквозь душный, душистый, медлительный день.
Старик покидал монастырские своды
и двигался с посохом наперевес
по долговому полю палящей своды,
и песню свою сочинял для небес.

Но день иссякал. Постепенно темнело.
На все колокольни вззошли звонари.
И храм открывал светозное тело.
И пенье, как сердце, дрожало внутри.
А Гаргантюа молодые потомки
гоняли гусей, отводили глаза,
бузили, едой набивали котомки,
боялись, когда собиралась гроза.
В грозу, уповая на милость господню,
пока не придумали громоотвод,
молясь и надеясь — авось не сегодня! —
на небо взирал боязливый народ.

И снова, инстинкту природному внемля,
крестьянин, пока занималась заря,
упорно и тихо распахивал землю,
упорный и тихий, как эта земля.
И снова Изольда любила Тристана,
являясь из потусторонних огней.
И не говорила, а может, не знала,
что сердце всех женщин болело у ней.
Во имя всех женщин Изольда любила.
Всех женщин и всех разоренных сердец.
Того, что всему наступает конец,
не знала, а может быть, не говорила.
И все же опять, выбиваясь из сил,
в надежде, что станет добрей и свободней,
иарод окончательных истин просил
у Данта, пришедшего из преисподней.
Но истина не предвещала добра.
Народ оробел и расспрашивал снова.
И снова не понял. И мысли из слова
с трудом выносил, точно гроб со двора.
И снова дышал над землей Зодиак.
И сад разрастался ветвями, кистями,
и кроткими были окрестности, как
пришедший на исповедь старый крестьянин.
И Мать, невозможное с миром деля,
в смятенье роняя к ногам покрывало,
одною рукою Дитя — отдавало,
другую рукою — прижимала Дитя.

Весь город, как сцена. И ветер посему
звучал, как трагедий последние фразы.
И свет излучал, прорываясь сквозь тьму,
стреноженный, страждущий, сведущий разум.
Здесь вечности след и причину искал
поэт, попирая железное ложе.
Подобных терзаний немислим накал.
А блеск озарений — морозом по коже.
За то, что придирчиво время следил,
за то, что мессиям случайным не верил,
в крошечной ночи, как ребенок со зверем,
он с мыслью остался один на один.
Он смертным родился на свет. И при том
он боли боялся не менее прочих.
Он жадно вдыхал залетевшие в дом
широкие зыбкие запахи ночи.
Он сыпал на раны открытые соль,
чтоб глубже о пики страданий колоться.
Целебные мази — смягчают. А боль
мерцает и майит, как бездна колодца.
Он жаждал покоя нигде не найти
и жить напряженно и прямо, как сосны.
Пусть боль освещает собою пути,
поскольку природа ее светозносна!
Ликуйте, грехами померявшись с ним.
Он мог бы вполне затеряться меж вами,
когда б не душа, превращенная в знамя,
которым он был осенен и храним.

Поскольку рожден человеком — не тенью,—
себя приучай понемногу к судьбе,
плоть — к ранам, а душу — к любым прегрешеньям,
сознание — к пространству, а время — к себе.
Тебя окружают небесные силы.
Вдыхай этот воздух, влетевший в окно.
Жизнь дарит природа. Тебе же дано
прожить эту жизнь, если выдержишь жилы.

Герой настоящей поэмы — поэт.
Из тех чудачков, кто и видел, и помнил.
Он вышел из мрака подъезда на свет
и город собою внезапно заполнил.
Он вышел — и стало пространство смелей.
И зов поездов доносился с вокзала,
И свет разливался по лицам людей.
И улица сразу себя не узнала.
И, стало быть, выход его означал
сокрытый огонь, заключенный повсюду.
Платан головой золотую качал.
И небо дивилось подобному чуду.
Он значил — и гений, смущавший умы,
и вечер, и смех, и сердечную муку,

и город, и горькие думы. И мы
его отличали по чистому звуку.
Любой разговор, заведенный при нем,
не мог до пустой болтовни опуститься.
Но внутренним все озарялось огнем:
деревья, дома и случайные лица.
Он был необычен. И он был любим.
О, в женской природе влюбляться в поэта.
Он жизнь без сомнения б пожертвовал им.
Но только не исповедь. Только не это.
И так завершался любовный роман:
как перст, одинок и, как ветер, свободен.
К ногам упадать — это тоже обман.
А жест театральный — судьбе неугоден.
В мороз и в жару мы спешили к нему.
Его повидать, постоять у порога.
Но что-то в нем было еще... не пойму...
от мальчика или усталого бога.
Вот комната. Мы приходили сюда.
Потом, уходя, озирались украдкой.
Все было обычным. И все же всегда
в нем что-то для нас оставалось загадкой.
Но, впрочем, какая загадка...
Он знал,
что может поэт уместить на странице.
А ветер поэта по имени звал.
И тот выходил и не мог сторониться.
А ветер тянулся к нему, как слепец,—
мол, страшно в ночи одному оставаться,
ведь должен же кто-то и мне отозваться
и выслушать должен меня, наконец.

Все тени вернулись на место свое.
Реальность опять обретали предметы.
Ах, кто на высоком балконе поет
и к солнцу лицо обращает при этом!
Раскрытая Книга. Дыханье страниц.
Движение смысла. Познания бремя.
Но все растворяется в щебете птиц.
Зеленой листвой прорастает на время.
При свете невидима Книга сия.
Но видно усилие мышцы сердечной,
качающей жаркую кровь бытия
сквозь призрачный быт и порядок конечный.
Прохожим хотелось в окно посмотреть.
Мерцание их привлекало, похоже.
Жилище во мраке скрывалось на треть.
А в дальнем углу, возвышаясь, как твердь,
упрямо стояло железное ложе.

Перевела с грузинского Н. СОКОЛОВА



Леонид
СОРОКА

Футбол по ТВ

Судьей объявлен перерыв.
А в это время на экране
Повстанец смуглый тяжко ранен,
И в тростнике клубится взрыв.

Следим из кресла за войной,
Из чашки кофе попиваем.
Он пулями непробиваем,
Иллюминатор наш цветной.

Споткнулся смуглый паренек,
Искажено лицо от боли...
Выходит сборная на поле.
Вот-вот послышится свисток.

☆☆☆

«Ушел ваш поезд» —
фразою расхожей
опять какой-то юноша кольнет.
Но стоит ли грустить?
Пешком ведь тоже
хоть медленно, но движутся
вперед.

Пойдем пешком и вам махнем рукою,
под нос себе мурлыча на ходу.
У пеших преимущество такое:
нет крыши, закрывающей звезду.
Вы вовремя пришли, вы поспешили,
а мы отстали. Что же, не беда.
Вдруг наша тропка выведет к вершине,
куда совсем не ходят поезда.

Мой дед печник

Мой дед, с которым не был я знаком,
не сживал с ним рядом на крыльечке,
как и отец его, был печником.
Он жил в полесском маленьком местечке.

А искорка, поднявшись по трубе
из той печи, что дед сложил когда-то,
звездой стала. И сейчас тебе
и мне, мигая,
светит виновато.

☆☆☆

Памяти О. Холоденко

В последний раз сидим у тети Оли.
В глазах ее ни горечи, ни боли.
Она ушла в бездонное «вчера».
Ей, вышедшей из перекатной голи,
Глаза происхождением кололи
И тем, что, мол, на выдумки хитра.

А хитростей хватило ей всего-то
На то, чтобы ходить в атаку с ротой
И сумку санитарную волочить.
А после, возвратясь с войны с пехотой,
Тащить свой крест с великою охотой,
Свой красный крест, горящий день и ночь.

Деревья и люди

Давай мы об этом с тобой не забудем:
По-разному дышат деревья и люди.
Совсем безо всяких претензий на славу,
На то, что их кто-то добром помянет,
Деревья вдыхают дымы и отраву,
А нам, торопясь, отдают кислород.

Старый дом в Пуще-Водице

Нет никого. И стены постарели,
И слезла краска с крыши жестяной.
И только соловей выводит трели
На яблоне за дальнею стеной.
Я знал хозяев дома. Сердце сжалось —
Их нет в живых. Но есть же сыновья.
Разъехались они. Поразбежались.
И некогда им слушать соловья.
Их по стране как ветром разметало,
И дом их ждет уже не первый год.
Но птице певчей в этом горя мало,
Настало время петь — она поет.

г. Киев.



Лев РАЗГОН

НЕПРИДУМАННОЕ

ОТ АВТОРА

Судьба распорядилась так, что мне пришлось быть свидетелем значительных событий нашей истории.

Я был комсомольским работником, журналистом. А кроме этого, личные обстоятельства моей жизни дали мне возможность многое увидеть и узнать. Меня постигла участь людей, выметаемых из общества сталинскими репрессиями. Но и в тюрьмах и лагерях жизнь оставалась жизнью, неистощимой на самые разные встречи, на пересечения с необыкновенными судьбами.

Существует древний миф о цирюльнике фригийского царя

Мидаса. Узнав, что у царя ослиные уши, и мучаясь тайной, которую никому нельзя было рассказать, цирюльник вырыл в земле ямку, шепнул в нее: «У царя Мидаса ослиные уши!» — и засыпал ямку. На этом месте вырос тростник, он прошептал о тайне всему свету.

Но, ей-ей, на тростник я не рассчитывал...

Просто была потребность рассказать о том, что я знал, близким и неблизким, кому это достанется прочесть.

Эти рассказы написаны в разное время; некоторые — весьма давно. Здесь нет придуманных сюжетов, эпизодов, фамилий. Историческая память складывается из памяти каждого отдельного человека. В этом смысле рассказы мои — малая толика исторической памяти народа.

Возвращение правды — нелегкое, но великое благо нашего времени.

Нет, не о знаменитом артисте я собираюсь рассказывать. Не о том Москвине, о котором написаны книги, созданы фильмы, чье мопсообразное лицо размножено бесчисленными картинками, фотографиями, шаржами, статуэтками... Этого Москвина я тоже хорошо знал, и он войдет в мой рассказ хотя бы потому, что дружил с тем, с другим Москвиным. И тоже Иваном Михайловичем. Москвиным, оставшимся в людской и исторической памяти совершенно неизвестным. Упоминание о нем можно встретить лишь в редких словарях и книгах, где приводятся полные списки так называемых руководящих органов. Без знаменитого сокращения «и др.».

А ведь странно, что Иван Михайлович Москвин вот так начисто канул в безвестность. Он принадлежал к верхушке партийно-государственной элиты: много лет был членом ЦК партии, членом Оргбюро и Секретариата ЦК, заведующим Орграспредом ЦК. И в истории партии Иван Михайлович занимал немалое место: был одним из руководителей петроградской организации перед первой мировой войной, участвовал в знаменитом совещании на Болотной 16 октября 1917 года, когда решался вопрос о вооруженном восстании. И никогда не был ни в каких оппозициях... А вот как в воду канул! Люди калибром поменьше него и в энциклопедиях заняли скромное, но достойное место, и в какие-то юбилейные даты отмечались в «Правде» почтительно-хвалебными статьями с неизменным: «Скончался в 1937-м. Память о преданном сыне никогда не исчезнет».

А об Иване Михайловиче исчезла. Может быть, это случилось потому, что после него не осталось никаких родных. Его единственная сестра, партийный работник среднего масштаба, умерла еще молодой в Петрограде, кажется, в 1920 году, и в честь нее одна из ленинградских улиц до сих пор называется «улица Москвиной». Как правило, только оставшиеся в живых родные хлопотали о том, чтобы и статьи были, и справка в энциклопедии, и даже воспоминания в каком-либо журнале. А падчерица Ивана Михайловича Елена Бокий, вернувшись из лагеря, успела лишь получить в Военной прокуратуре справку о реабилитации Ивана Михайловича Москвина. Вместе со справками о реабилитации отца, матери, сестры — всех «не вернувшихся». Больше она ничего сделать не захотела или не успела: умерла. И, говоря по совести, напомнить о Москвине должен был я. Потому что больше не осталось людей, знавших Ивана Михайловича. А я несколько лет был членом его семьи, мужем другой его падчерицы Оксаны Бокий, и обязан ему многими знаниями. Теми самыми, в которых «многие печали...». Но я не мог себя заставить пойти в «высокие инстанции», чтобы хлопотать перед теми, которые вычеркнули из своей памяти не только Ивана Михайловича (они о нем ничегошеньки не знали), но и все его время. А сейчас, когда я пишу (неизвестно для кого) эти воспоминания, я хочу обязательно рассказать об Иване Михайловиче. Чтобы о нем узнал хотя бы вот этот — неизвестный.

Даже фотографии Москвина ни одной не сохранилось. У него было обычное и не очень характерное лицо, на котором выделялись только глубоко сидящие глаза и маленькая щеточка усов. Да еще был у него совершенно бритый череп. Своей незаметностью Иван Михайлович гордился и этим объяснял даже то, что с 1911 года, когда он вступил в партию, и до 1917 года он, несмотря на большую партийную работу, ни разу не был арестован. И говорил: «Революционеру не следует хвастаться тем, что он много и долго сидел в тюрьме. Это нехитрое дело. И пропа-

щие годы для партии». В конце 1936 года пришли фотографировать Ивана Михайловича для очередного тома МСЭ, где о нем была статья. Нас, домашних, очень веселила перспектива увидеть «незаметное» лицо на страницах энциклопедии. Да вот не увидели.

Никогда не расспрашивал Ивана Михайловича о том, откуда он, где учился, что делал. Так, из случайных разговоров выяснил, что окончил он тверскую гимназию. Учился ли дальше — не знаю. Вероятно, был человеком способным. Иначе нельзя объяснить, что он превосходно знал латынь. Не только любил читать латинские стихи, но и свободно разговаривал по-латыни. На заседаниях Совнаркома, когда он встречался с Винтером, таким же страстным латинистом, они разговаривали на латинском, к немалому смущению и некоторой растерянности окружающих. И математику хорошо знал и любил в свободное время решать сложные математические головоломки.

Иван Михайлович был по профессии партийным функционером. Этим он занимался всю жизнь после окончания тверской гимназии. В Петербурге он работал в районной партийной организации, перед началом мировой войны включен в Русское бюро ЦК, а после 1917 года занимал в петроградской организации партии посты первой величины. Когда было создано Севзапбюро ЦК, он стал секретарем этого Бюро, то есть в ленинградской партийной иерархии занимал второе место после Зиновьева.

Зиновьева он очень не любил. Даже не то, что просто не любил, а презирал. Говорил, что был тот труслив и жесток. Когда в 1919 году Юденич уже стоял под самым городом и питерская партийная организация готовилась к переходу в подполье, Зиновьев впал в состояние истерического страха и требовал, чтобы его немедленно первым вывезли из Петрограда. Впрочем, ему было чего бояться: перед этим он и приехавший в Петроград Сталин приказали расстрелять всех офицеров, зарегистрировавшихся, согласно приказу... А также много сотен бывших политических деятелей, адвокатов и капиталистов, не успевших спрятаться.

А Иван Михайлович организовывал подпольные типографии. Некоторые были столь тщательно замаскированы, что их не нашли после того, как Юденич да и вся гражданская война стали лишь предметом истории. А одна из таких типографий была пущена в ход Москвину в период, который стал для него (как и для многих) переломным.

Когда возникла «ленинградская», или «новая», оппозиция, Москвин был одним из тех трех крупных ленинградских партработников, которые не присоединились к Зиновьеву и его сторонникам. Но если Лобов и Кодацкий просто «не присоединились», то Москвин, пожалуй, был самым активным в противодействии зиновьевцам.

А это оказалось вовсе не простым делом. Только рассказ Ивана Михайловича дал мне представление о таком характере внутривнутрипартийной борьбы, какую теперь и представить себе невозможно. И о роли ГПУ в этом деле. Резолюции XIV съезда, где зиновьевцы потерпели поражение, были запрещены в Ленинграде. Газеты с ними не продавались в киосках, задерживались на почте. Ленинградское ГПУ, которое было покорным орудием в руках Зиновьева, хватало людей, распространявших материалы партийного съезда. Вот тогда-то Москвин пустил в ход все свои связи, оставшиеся чуть ли не с дооктябрьского подполья. В законспирированной типографии, которую так и не раскрыли с 1919 года, печатались материалы съезда. Их переправляли на созданные конспиративные квартиры, по ночам разносили на заводы и раскладывали в инструментальные ящики... Только после того как было смещено все руководство Ленинградского ГПУ,

оказалось возможным организовать знаменитый «десант» в Ленинград Калинина, Ворошилова, Чаплина и других партийных руководителей. Тогда и начался процесс «очищения» организации и перевода ее в русло политики, которую еще никто не называл «сталинской», но которая, конечно, и была такой.

Не думаю, чтобы в этой истории Иван Михайлович руководствовался какими-либо карьерными соображениями. Но после нее он взлетел на самый верх партийной карьеры. Из «второго эшелона» партийной олигархии он поднялся на вершину ее. На Пленуме ЦК его выбирают членом Оргбюро, кандидатом в члены Секретариата ЦК. Москвин переезжает в Москву, он становится заведующим Орграспредом ЦК. Того «могущественнейшего Орграспреда», о котором писал оды Безыменский. Тогда не было, как теперь, отраслевых отделов ЦК. Орграспред ведал всеми кадрами: партийными, советскими, научными. Благодаря Орграспреду его заведующий стал могущественнейшим человеком.

Таким его сделала любовь к нему Сталина. Если можно, говоря о Сталине, употреблять слово «любовь». Людей, как известно, он оценивал только степень личной преданности. И, вероятно, ему казалось, что поведение Москвина в мятежном Ленинграде было проявлением такой преданности. Во всяком случае, Сталин делал все, чтобы Москвина приблизить. Звал на охоту, приглашал на свои грузинские пиры, приятельски приезжал к нему во время отдыха на юге. Но трудно было найти более неподходящего партнера для этих игр, нежели Москвин. Он слыл ригористом и непокладистым человеком. Отец его был алкоголик, поэтому Иван Михайлович в своей жизни не выпил ни одной рюмки вина или даже пива. Не выкурив ни одной папиросы. Не любил «солсных» анекдотов, грубоватых словечек. Не ценил вкусной еды, равнодушно относился к зрелищам. И не желал менять своих привычек. Поэтому он отказывался от августейших приглашений на застолья, от участия в автомобильных налетах на курортные города, от почных бдений за столом Сталина. Нет, он оказался совершенно неподходящим «соратником», и падение его было неизбежным. Оно наметилось, когда произошло событие вроде бы весьма камерное, носившее характер чисто семейной трагедии. Однако любые трагедии, к которым имел отношение Сталин, имели тенденцию превращаться в трагедии намного большего размаха.

Таким событием стало самоубийство жены Сталина — Надежды Сергеевны Аллилуевой. Суя по всему, это была скромная, добрая и глубоко несчастная женщина. Несколько раз, когда я приходил в Кремль к Свердловым, я заставал у Клавдии Тимофеевны заплаканную Аллилуеву. И после ее ухода сдержанная Клавдия Тимофеевна хваталась за голову и говорила: «Бедная, ох, бедная женщина!» Я не расспрашивал о причинах слез жены Сталина, но об этом, в общем, знало все население того маленького провинциального городка, каким был Кремль до 1936 года. Как в любом маленьком городке, его жители живо обсуждали все личные дела друг друга: говорили и о любовнице Демьяна Бедного, и о женитьбе Сергея — сына Владимирского. И, конечно, о бедной Надежде Сергеевне, вынужденной выносить характер своего страшноватенького мужа. И про то, как он бьет детей — Свету и Васю, и про то, как он хамски обращается со своей тихой женой. И про то, что в последнее время Коба стал принимать участие в веселых забавах...

Существует несколько версий о причинах самоубийства Аллилуевой. Среди них и та, что она не выдержала преследования Сталиным старых партийцев, в том числе и ее друзей. Думаю, что это было не так.

и желаемое выдавалось за действительное. В кругах, близких к партийному Олимпу, о причинах самоубийства жены Сталина имелись другие сведения. Пошли слухи о том, что железный Коба размягчился и у него появилась любовница. А может, и не одна...

Содержание письма, оставленного Аллилуевой, было известно там, «наверху», и живо обсуждалось в семейных кругах. Надежда Сергеевна писала, что она не может видеть, как вождь партии катится по наклонной плоскости и порочит свой авторитет, который является достоянием не только его, но и всей партии. Она решилась на крайний шаг, потому что не видит другого способа остановить вождя партии от морального падения.

Широкое хождение получила легенда, что Аллилуеву застрелил сам Сталин. Это совершенный апокриф. Сталин сам никогда никого не убил и, вероятно, был просто не способен это сделать. А то, что такая легенда может возникнуть, он понимал. Когда Сталина и Авеля вызвали с гульбища, где они предавались изнеженности нравов, Енукидзе предложил составить акт о скоропостижной смерти от сердечного приступа. На что мудрый Сталин ответил: «Нет, будут говорить, что я ее убил. Вызвать судебно-медицинских экспертов и составить акт о том, что есть на самом деле — о самоубийстве».

Общественное мнение — тех, кто входил в основной слой руководителей ленинской когорты, старейших большевиков, ригористствующих функционеров, — было смущено и даже возмущено всей этой историей. Бедный Сталин должен был еще считаться с этой толпой старых, ничего не понимающих дураков. Надо было им что-то кинуть... И он бросил на пикн своего ближайшего друга. В конце концов Енукидзе был огульно обвинен в моральном разложении. Его исключают из состава ЦИК, снимают с поста Секретаря ЦИК и выгоняют из Москвы — отправляют руководить Минераловодскими курортами. А сам Сталин посыпал главу пеплом и изобразил глубочайшее раскаяние. Скульптор воздвиг на могиле Аллилуевой прекрасный памятник из белого мрамора, напротив бюста покойной была устроена мраморная скамейка, на которую приезжал тосковать безутешный супруг. Специальный прожектор освещал милое лицо Аллилуевой и ее прекрасную белую мраморную руку, за ближайшими надгробьями пряталась охрана. Все Новодевичье кладбище было предварительно прочесано и оцеплено, никто не мог помешать Сталину предаваться скорби. А также размышлениям о тех, кто посмел «возмутиться». Думаю, что тогда в его великопленной памяти начали откладываться списки обреченных. Но все это было потом. А пока смерть и похороны жены стали для Сталина некоей меркой отношения к нему. Он требовал сочувствия и проявления любви. Естественно, не к Аллилуевой, а к себе. Тело покойной лежало в Хозяйственном управлении ЦИК, которое занимало теперешнее здание ГУМа, мимо гроба проходил поток людей, в почетном карауле стояли все верные соратники, в газетах печатались выражения беспредельного сочувствия Сталину.

А сам Сталин постоянно сидел у гроба и зоркими, все видящими желтыми своими глазами всматривался: кто пришел, кто как себя ведет, какое у кого выражение лица... Это было свойство его характера. И ничего не зная о похоронах Аллилуевой, точно об этом написал Борис Слуцкий в своем стихотворении: «Когда меня он плакать заставлял, ему казалось — я притворно плачу...».

Иван Михайлович Москвин плохо умел притворяться. Думаю, что по этой причине он не ездил прощаться, не становился в почетный караул, не подходил со

скорбным лицом к убитому горем супругу покойной. Он сидел дома. А Сталин быстро обнаружил, что человек, которого он возвел, приблизил, на кого рассчитывал, этого человека нет среди той толпы «тонкошеих вождей», которые его окружали.

Куйбышев, находившийся в дружеских отношениях с Москвиным, позвонил ему:

— Иван! Он спрашивает, где ты, был ли ты?

— Нет, не был. И не буду. Спросит — скажи, что, вероятно, нездоров.

— Иван! Не глупи! Приезжай сейчас. Процессия движется.

Москвин не поехал. А Куйбышев и вправду, очевидно, был верным другом. Он позвонил с дороги:

— Иван! Он уже два раза спрашивал про тебя. Не совершай глупости: потом не поправишь. Бери машину и поезжай на кладбище.

Софья Александровна, которая понимала Сталина лучше, нежели ее муж, и которая мне об этом случае подробно рассказывала, рыдая, вцепилась в Москвина, требуя, чтобы он пожалел ее, Оксану, чтобы он сейчас же ехал. Софье Александровне Москвин никогда не возражал — так было на моей памяти. Он поехал на кладбище.

У открытой могилы Сталин стоял, опустив голову или же закрывая лицо руками. Но так, чтобы видеть, все ли тут. Не оборачиваясь, он спросил:

— А Москвин здесь?

Ивана Михайловича, стоявшего позади толпы вождей, Куйбышев вытолкнул вперед. Сталин с протянутой рукой пошел навстречу Москвину.

— Иван! Какое горе!..

Иван Михайлович выполнил церемониал соболезнования. Но Сталин — как писал по другому поводу Зощенко — «затаил в душе хамство». На конечную судьбу Москвина, я думаю, этот эпизод влияния не имел. Потому что конец Ивана Михайловича был точно такой, как и конец тех «соратников», которые рыдали у гроба и всем своим существом выражали беспредельную любовь и преданность. Но на карьере Москвина это сказалося. Через какое-то время его из ЦК перевели в Наркомтяжпром начальником управления кадров тяжелой промышленности. Пост был весьма ответственный, Москвин был заместителем Орджоникидзе и занимался не только всеми руководящими кадрами промышленности, но и подготовкой их — Наркомтяжпрому принадлежали тогда все технические вузы страны. Но это уже было не то... На XVII съезде Ивана Михайловича сделали членом Бюро Комиссии советского контроля — контролировать тяжелую промышленность. А это уже было и вовсе «не то». Навсеху фамилия Москвина мелькнула еще один раз, когда на последнем Конгрессе Коминтерна членом Президиума Исполкома Коминтерна был избран Москвин — без указания инициалов... Но это был не Иван Михайлович, а зампред ОГПУ Трилиссер, которого перевели в Коминтерн и наделили популярной в партийных кругах фамилией Москвин.

Формально Иван Михайлович все еще продолжал оставаться в самой высокой номенклатуре. «Вертушка» в квартире, фельдшер, привозящие секретные материалы... Только вот уменьшилось количество товарищей, навещавших Москвина, когда он болел, или же просто приезжавших «на огонек». По-прежнему часто бывал у него Орджоникидзе. Зато совершенно исчез человек, который раньше приходил очень часто, ибо благодаря Москвину был извлечен из небытия.

Да, именно Иван Михайлович нашел, достал, выгнал и выпестовал Николая Ивановича Ежова. Чем-то ему понравился тихий, скромный и исполнительный секретарь Казацкого крайкома партии. Москвин

вызвал Ежова в Москву, сделал его инструктором у себя в отделе — Орграспреде. Потом перевел в свои помощники, затем в заместители. В этот период мне два раза приходилось сидеть за столом и пить водку с будущим «железным наркомом», именем которого вскоре стали пугать детей и взрослых. Ежов совсем не был похож на вурдалака. Он был маленьким, худеньким человеком, всегда одетым в мятый дешевой костюм и синюю сатиновую косоворотку. Сидел за столом тихий, немногословный, слегка застенчивый, мало пил, не влезал в разговор, а только вслушивался, слегка наклонив голову. Я теперь понимаю, что такой — тихий, молчаливый и с застенчивой улыбкой — он и должен был понравиться Москвину. Был Ежов когда-то туберкулезником, и Софью Александровну очень беспокоило его здоровье. Она его опекала, хлопотала вокруг него, приговаривая:

— Воробушек, ешьте вот это. Вам надо больше есть, воробушек...

Воробушком она называла этого упыря!

Что привлекло Москвина в этом «воробушке»? Когда Ежов стал любимцем, когда он в течение всего нескольких лет сделал невероятную карьеру, заняв посты секретаря ЦК, Председателя ЦКК и генерального комиссара государственной безопасности, я спросил у Ивана Михайловича: «Что такое Ежов?» Иван Михайлович слегка задумался, а потом сказал:

— Я не знаю более идеального работника, чем Ежов. Вернее, не работника, а исполнителя. Поручив ему что-нибудь, можно не проверять и быть уверенным — он все сделает. У Ежова есть только один, правда, существенный, недостаток: он не умеет останавливаться. Бывают такие ситуации, когда невозможно что-то сделать, надо остановиться. Ежов не останавливается. И иногда приходится следить за ним, чтобы вовремя остановить...

Ежов перестал появляться на Спиридоновке, когда Иван Михайлович ушел из ЦК, а он занял его место. Но своего бывшего начальника Ежов все же немного опасался. И несколько натянутым отношениям, сложившимся между Москвиным и его выкормившем, я обязан тем, что был на всех заседаниях XVII съезда партии.

Я спросил Ивана Михайловича, сложно ли достать гостевой билет на съезд. Он сказал, что билет мне будет. Через некоторое время фельдъегерь из ЦК привез пакет, в котором был набор ежедневных гостевых билетов на мое имя. Почему-то Москвин взбесился, очевидно, он просил о гостевом билете более высокого ранга. Он при мне позвонил Маленкову, который был заместителем Ежова в Орграспреде, и начал качать права. Маленков ему, вероятно, ответил, что Ежов прислал простые ежедневные билеты вместо одного постоянного, потому что он не знает, кто такой Разгон. Иван Михайлович кричал в трубку:

— Я посылаю билеты назад, брось их ему на стол! Ему, видите ли, недостаточно моей рекомендации о члене партии, которого я не только знаю, но и который мне близок! Что же будет дальше?!

Неизвестно, что Маленков сказал Ежову, но через несколько часов фельдъегерь привез на мое имя гостевой билет, полагавшийся суперответственным работникам, не удостоенным чести быть делегатами. Этот билет давал право сидеть не наверху, где были гости, а внизу, вместе с делегатами съезда.

И вот почти неделю я провел в этом, столь теперь знакомом зале. А тогда я вошел в него впервые. Потому что тот старый Кремлевский дворец, в котором я бывал на экскурсиях, просто «по блату», на Всесоюзной пионерской конференции в 1929 году, тот уже был другим. К этому времени Сталин навел некоторый порядок в Кремле. Снесли Чудов монастырь, Вознесенский монастырь и Чудов дворец, в котором

когда-то, осенью 1826 года, Николай принимал Пушкина, доставленного ему из Михайловского. На месте этих зданий, о которых сейчас в справочниках коротко сообщается «не сохранилось», построили большое здание для школы ВЦИК. Теперь в нем размещается Президиум Верховного Совета.

И перестроили Большой Кремлевский дворец. «Реконструировали». Вместо Андреевского и Александровского залов с их витыми колоннами, невероятной бурей резьбы, золочеными деталями, драгоценным паркетом, вместо всего этого устроили длинный и очень вместительный зал с бельэтажем для гостей, с отдельными фойе, с обширной пристройкой для прогулок и отдыха президиума. Для размещения этой пристройки снесли самый старый храм в Кремле и Москве — Храм Спаса-на-Бору. В энциклопедиях сказано, что он «не сохранился». Просто удивительно, каким чудом вообще сохранились в Кремле соборы. Великие советские архитекторы снесли бы их, не моргнув глазом. Я думаю, что просто-напросто пока не понадобилась территория для новых построек.

И вот я ходил в этот строгий, холодный и неудобный зал и слушал все, что там говорилось. И доклад Сталина, и речи вождей, и примирительно-покаянные речи бывших лидеров разных оппозиций. Я был молод, зелен и очень хотел верить, что все бури внутрипартийных боев прошли, что наступила пора единения и партийного братства... И только какие-то мелочи нарушали эту гармонию. Однажды я запоздал, зал был уже заполнен, и, стоя у двери, я высматривал свободное местечко. И заметил в каком-то ряду не занятое никем кресло. Я протиснулся, сел, оглянулся и увидел, что справа от меня сидит Зиновьев, а слева Радек. Не сразу я догадался, что свободное место образовалось оттого, что они не хотят или же боятся сидеть рядом.

И в перерыве Алексей Иванович Рыков, узнав меня, обрадовался и стал со мной вышагивать по периметру огромного Георгиевского зала. Я с почтением и великой симпатией относился к Алексею Ивановичу, мне было приятно и интересно рассказывать с ним, и мне не приходило в голову, почему политическому деятелю его калибра захотелось разгуливать не с кем-нибудь, а с приятелем его дочери.

Только последнее заседание смутило мою еще почти девственную душу. На этом заседании оглашались результаты выборов в ЦК. Список оглашался не по алфавиту, как он печатался в газетах, а по количеству поданных голосов. И вот мы услышали: первым был не Сталин... Он не был ни вторым, ни третьим, ни четвертым... Мы слышали фамилии Калинина, Кирова, Ворошилова, еще кого-то, и не было Сталина, не было Сталина! Кажется, он шел не то девятым, не то десятым. Список читался без пауз, скорее нервно. Не только мне, но и, по-моему, всем присутствующим казалось страшно долгим то время, которое разделяло начало чтения списка членов ЦК и минуту, когда наконец была произнесена фамилия Сталина. Про то ощущение, которое мы испытали, беллетристы прошлого писали, что это было «дуновением смерти». Оно таким и было, но сколько же человек в зале это почувствовали? Абсолютному большинству людей, сидевших не только внизу, но и наверху, осталось до гибели три-четыре года. Понимал ли это кто-нибудь из них? Кроме, конечно, Сталина. Не знаю. И никогда не узнаю.

Москвин был, безусловно, верным «соратником», всегда шел за Сталиным. Но полагаю, что не испытывал к нему не то что любви, а нормальной человеческой симпатии. Вероятно, как и все. Включая даже самых близких. Однажды я спросил Ивана Михайловича, почему XIII съезд партии решил не выполнять рекомендации Ленина о замещении поста Генсека дру-

гим человеком? Москвин мне ответил: утверждение Сталина лидером партии стоило ей таких невосполнимых потерь, что не может быть и речи повторить этокое. «Мы тогда потеряли почти треть самых талантливых и опытных партийных кадров; если начинать выполнять сейчас совет Ленина, то потеряем еще одну треть...» Как показало близкое будущее, математические способности Ивана Михайловича его подвели. Подсчет и расчет были неправильными.

По моему рассказу Москвина легко себе представить леденяще-скучным человеком, малоспособным к веселому общению с людьми. Но это было не так. Да, сам Иван Михайлович не пил, не курил, но тем не менее любил многогостинное и веселое общество, шумное семейное застолье, озорные розыгрыши. Не знаю, был ли он таким по своей натуре или же таким его сделала жена — Софья Александровна Бокий, личность не только интересная, но и в некотором роде замечательная.

Необычна ее биография. Отец Софьи Александровны — француз Доллер, каким-то образом очутившийся в России, квалифицированный рабочий на одном из заводов Вильно. Француз повел себя совсем по-русски. Стал не то землевладельцем, не то народо-вольцем; арестованный, отсидел свое в тюрьме и на каторге, вышел в Якутии на поселение и там встретился с народоволкой Шехтер. Я читал о них у Короленко, Феликса Кона и других воспоминателей прошлого. Были Доллер и Шехтер совершенно разными людьми. Доллер — веселый, шумный, беззаботный, как и положено французам. Шехтер — железная фанатичка, которая сидела больше и тяжелее других, ибо не признавала власти царского правительства, не признала новому царю, отказывалась признавать де-юре любое приказание начальства. Тем не менее в ссылке эти непохожие друг на друга люди поженились, и Софья Александровна была их единственным ребенком, потому что вскоре после ее рождения Доллер утонул, купаясь в опасной сибирской реке, а молодая ссыльная народоволка осталась с маленькой дочерью, которая сопровождала ее во всех последующих тюрьмах и ссылках.

В одной из таких ссылок уже достаточно выросшая Софья Доллер, успевшая и в Европейской России побывать и даже учившаяся на каких-то женских курсах, познакомилась с ссыльным большевиком Глебом Ивановичем Бокием. И они поженились. Людьми они были почти столь же разными, как и родители Софьи Александровны. Об этом я уже мог судить сам, ибо был к ним близок несколько важных для меня лет.

В мое время Софья Александровна была полной, небольшого роста дамой, очень подвижной, веселой, необычайно энергичной. Вот она была единоличной хозяйкой дома, который вела, несмотря на свое каторжно-ссылное происхождение, с размахом и вкусом интеллигентной светской дамы начала столетия. Кроме кухарки и домработницы, в квартире всегда обитали какие-то дальние родственники или «компаньонки» — словом, много людей, которые обслуживали шумный дом.

С Глебом Ивановичем Софья Александровна разошлась, очевидно, в начале двадцатых годов. Наверное, человеку, который стал после убийства Урицкого председателем Петроградского ЧК, а затем членом Коллегии ВЧК и ОГПУ, было непросто с такой тещей, как Шехтер, и такой женой, как Софья Александровна. Подобно всем прочим народво-льцам, Шехтер стала эсеркой, и я думаю, что она была если и не очень активной, то уж, во всяком случае, абсолютно непреклонной. А Софья Александровна, видно, тоже в молодости была эсеркой. В большевистскую партию она вступила весной 1917 года, но

и такому неопытному человеку, как я, было заметно, что «большевистским духом» от нее не пахло. Даже на процессе правых эсеров 1922 года Шехтер и Софья Александровна упоминались как люди, от которых эсеры-боевики стремились-де получить какие-то сведения... Правда, довольно комичные: об адресе Глеба Бокия...

Как-то в белоэмигрантском парижском журнале «Иллюстрированная Россия» я наткнулся на рассказ жены одного из великих князей о том, как она спасла своего мужа от расстрела во время красного террора осенью 1918 года. Мужа ее вместе с другими великими князьями держали в тюрьме, и участь его была predetermined: царская семья и другие члены императорского дома были уже расстреляны. Кто-то сказал великокняжеской супруге, что у Бокия жена, кажется, добрый человек. И она разыскала квартиру, где жил грозный председатель ЧК, пришла туда и, когда ей открыла дверь молодая и привлекательная женщина, стала рыдать и взывать... Софья Александровна сказала, что воздействовать на мужа она не может, всякие ее просьбы лишь ускорят роковой конец. Но есть человек, которому Бокий обязан жизнью, — доктор Манухин. О личности его я потом довольно много читал, это был человек замечательный, но сейчас речь не о нем.

Княгиня просила об одном: перевести ее мужа, как больного, из тюрьмы в больницу (единственно из которой и можно было организовать его побег). Софья Александровна рассказала своей посетительнице, что Глеб Иванович попал в тюрьму, тяжело болен туберкулезом. В тюрьме болезнь разыгралась, и Бокий был почти обречен. Но Софья Александровна обратилась к Манухину, и тот, имевший какие-то чрезвычайно сильные связи, добился перевода арестанта в свою больницу. И вылечил его — навсегда! — от чахотки. Поэтому единственный, считала Софья Александровна, кто может воздействовать на Бокия, — Манухин. Дальше все произошло, как в банальном святочном рассказе. Манухин потребовал, чтобы председатель ЧК перевел его пациента из тюрьмы в больницу. «Для меня все пациенты — равны. Я лечил вас — большевика, я буду лечить другого пациента — великого князя. И если вы порядочный человек — обязаны перевести князя в мою больницу», — так сказал Манухин Бокию. И Глеб Иванович перевел великого князя в больницу, а там ему быстро организовали бегство за границу.

Эта история была рассказана со всей обстоятельностью, и я с интересом принес журнал на Спиридоновку Софье Александровне. Кажется, описание собственных благих деяний ее не обрадовало. Но, в общем, характеристика «обаятельного и доброго человека», которую ей дал автор рассказа в эмигрантском журнале, была правильной. Софья Александровна оставалась человеком не только добрым и широким, но и обаятельным. И именно благодаря этим ее качествам квартира Москвина была всегда переполнена гостями и большим шумом. Ибо друзьями дома были не сотоварищи Москвина по партийной работе, не их скучные семьи, а довольно богемная, по преимуществу артистическая публика. Я не могу припомнить, когда и каким образом познакомились и подружился такие несхожие люди, как Москвин и другой Москвин — артист; почему так дружил с Москвиным и Софьей Александровной знаменитый певец Николай Николаевич Озеров. Но из многих людей, постоянно бывавших на Спиридоновке, я больше остальных запомнил именно их.

Семья Москвина-артиста была, пожалуй, самой близкой. Иван Михайлович очень часто приезжал на

Спиридоновку из театра после спектакля. Он вкусно ел и пил, азартно играл в кункен, принимал активное участие во всех играх молодежи, был режиссером и главным участником театрализованных шарад, рассказывал анекдоты и чувствовал себя совершенно свободно. Его жена Любовь Васильевна бывала чаще всего днем и уединялась с Софьей Александровной, чтобы, очевидно, поделиться с ней своими семейными горестями. А мы, молодежь, очень дружили с их сыном Володей. Это был угрюмоватый, весьма сильно пьющий молодой человек, талантливый актер в Театре Вахтангова, мрачно относившийся к конформизму своего знаменитого отца. Брат его Федя был незаметным в этой артистической семье. Мы частенько ходили и в квартиру Москвиных в Брюсовском переулке. Квартира была завешана картинами Репина, Левитана, Коровина, Сомова... Еще больше картин было в квартире сестры Любви Васильевны в этом же доме, на верхнем этаже. Сестра эта, Екатерина Васильевна Гельцер, жила одна в огромной квартире. Меня поражал там репетиционный зал с балетным станком и постоянное наличие молодого аккомпаниатора. Знаменитая балерина была несколько надменна и, когда приезжала в гости на Спиридоновку или же на дачу в Волынское, почему-то одевалась в черное газовое платье, к которому обязательно прицепляла орден Ленина — очень было странное сочетание.

А когда к себе приглашал Озеров, мы часто заставали у него Нежданову и Голованова. Голованов, несмотря на свою репутацию черносотенца и преследователя, оказался веселым дядькой, любителем домашнего пения и недомашних анекдотов. Поэтому, очевидно, к столу редко допускался младший сын Озерова — аккуратенький, худощавый и воспитанный мальчик, полный тезка отца. Когда я сейчас так часто вижу на экране телевизора расплывшуюся фигуру и обрюзгшее лицо этого бывшего мальчика, становится жутковато от сознания, что такие изменения претерпела и моя собственная внешность.

Какие они были веселые, эти вечера на Спиридоновке! Два Ивана Михайловича приезжали поздно: один — из театра, другой — из своего правительственного офиса. К этому времени те, кто помоложе и по-свободнее, уже входили в зенит веселья. Оба Москвина немедленно включались в шумные разговоры. И допоздна, до двух-трех часов, пел народные песни Озеров, Москвин-артист организовывал хор, исполнявший старые солдатские песни, и рассказывал малопристойные смешные истории, уверяя, что это он читает рассказы Горбунова и даже Чехова. И только в два-три часа ночи Иван Михайлович вызывал машину, чтобы развезти гостей по домам.

Но, кроме артистов, в доме Москвина очень частой была совершенно другая группа гостей — врачи. Не лечащие — те, конечно, также бывали в достаточном количестве, а другие, приходившие на Спиридоновку в качестве друзей и единомышленников. Это были руководители только недавно возникшего и бурно вверх вознесшегося ВИЭМа — Всесоюзного института экспериментальной медицины. Странное это было учреждение, о котором в энциклопедиях, медико-исторических работах говорится темно и туманно.

Насколько сейчас помню, было в идее этого института нечто лысенкоподобное. Его создатели и руководители полагали, будто им очень скоро удастся найти в человеческом организме «что то такое», на что можно воздействовать, и таким образом быстро побороть болезни и среди них самую вредную — старость. Цель эта была не только крайне соблазнительна, но и была совершенно в духе времени: мало «покорить пространство и время», надо было подчинить себе все еще неизвестное и неуправляемое. Это полностью совпадало с желанием Сталина, который не мог примирить-

ся с существованием чего-то, над чем он не властен. Именно этим, а не только спекулятивным стремлением скорее облагодетельствовать человечество следует объяснить пышный расцвет Лысенко, биолога Лелешинской, Бошняна и других юродивых и жуликов поменьше.

Организаторы ВИЭМа, конечно, не были жуликами. Но их научные идеи настолько соответствовали стремлениям и желаниям начальников, что могучая подъемная сила несла их стремительно вверх. Их теории пленили Горького, а затем и самого Сталина. Чуть ли не каждую неделю виэмовцы собирались в особняке Горького и там перед Сталиным, Горьким и другими немногими допущенными в эту компанию развивали свои мысли о необыкновенных перспективах управления человеческим организмом. А после этих посиделок они шли на Спиридоновку к Москвину, где эти беседы продолжались, но уже в более живой, непосредственной и не стесненной августейшими особами обстановке.

Почему к Ивану Михайловичу Москвину? Ну, во-первых, потому, что самому Ивану Михайловичу не была чужда вера в бесконечные возможности науки. К тому же он еще с Петрограда был близок и всячески покровительствовал организатору и директору ВИЭМа — Льву Николаевичу Федорову. Несомненно, это был очень интересный человек. Со студенческой скамьи ушел на гражданскую войну, вернулся коммунистом и явился к самому Ивану Петровичу Павлову с просьбой взять его в свою знаменитую лабораторию. Очевидно, было в Федорове, кроме нахальства, и еще что-то привлекательное, ибо Павлов его к себе взял, и стал вскорости Федоров фактическим начальником всей павловской лаборатории. Не могу судить о Федорове как ученом — вероятно, был он ученым незначительным, но организатором превосходным.

Идея создания ВИЭМа также принадлежала Льву Николаевичу. Ему, может быть, не без участия Москвина, удалось зацепить внимание Горького и вызвать жгучий интерес у Сталина. В катастрофически скорое время возник огромный институт с многочисленным штатом, нислыванными привилегиями. Строился на окраине Москвы городок институтских корпусов, уже кинулась пропагандировать наступающий небывалый расцвет советской медицины целая армия лекторов, журналистов и писателей.

Я плохо помню Гращенкова и других виэмовских деятелей, не оставил у меня сколько-нибудь воспоминаний и сам Лев Николаевич Федоров. Но зато я оказался в плену обаяния и личности самого блестящего и интересного человека во всей этой виэмовской компании — Алексея Дмитриевича Сперанского. Когда я вспоминаю годы на Спиридоновке, то понимаю, что никто из встреченных там людей (их было много, и все почти они были значительными) не пленял меня в такой степени, как Сперанский.

Он был почти академиком и уже считался полубогом в науке. Но не было в Алексее Дмитриевиче ничего того, что зовется «академическим». Подчеркнуто простонародный, быстрый в движениях, с грубоватой, часто малоцензурной речью. Но это в нем соединялось с глубоким пониманием и знанием музыки. Он был превосходный виолончелист и рассказывал, что в голодные годы прирабатывал игрой в киношках. Но больше всего меня в нем поражало его знание поэзии. Он знал на память чуть ли не всю поэзию нашего века и после бутылки коньяка мог часами читать стихи. И не какие-то из хрестоматии, а Кузмина, Анненского, Соловьева. Блока, Гумилева... Очень любил Маяковского и превосходно его читал.

Но, конечно, не только этим привлекал Алексей Дмитриевич. Было в нем ощущение независимости.

Независимости от начальства, от господствующих мнений в науке и политике. Он вел себя в обществе, мало сказать, независимо — грубо. Ему ничего не стоило оборвать речь какого-нибудь значительного собеседника и заявить ему, что он порет чушь; он мог сказать хозяйке дома, вставившей слово в спор о науке: «А ты, дура, куда лезешь? Что ты понимаешь в этом!»; на одной из посиделок у Горького он сказал Молотову, что тот еще не научился государством управлять, а уже рассуждает о человеческом организме... В том всеобщем конформизме, который уже пропитал всех и вся, эти качества притягивали к нему, как магнитом. И Сперанский это понимал, больше того, из всего многочисленного спиронозовского общества он выделял меня — молодого, нечиновного. И не просто выделял, а установил со мной полудружеские отношения, в которых всячески подчеркивал равенство сторон. Алексей Дмитриевич мне казался идеалом ученого, человека, чья независимость и дружба не меняются ни от каких преходящих обстоятельств.

И меня сильно раздражало и просто злило, когда мой новый приятель, тоже врач, только настоящий, а не виэмовский, Шура Вишневский мне говорил:

— Ни фиги ты в людях не смыслишь. Я Алексея Дмитриевича знаю с детства, он ближайший друг нашей семьи. Так вот, при любом испытании он сдрейфит больше кого-либо. И тебя продаст со всеми потрохами. Удивительно, как вы клюете на его театральные штучки-дрючки.

Состоялся этот разговор в самом начале 37-го года, и никому из нас не приходило в голову, что столь скоро будет проверяться такие качества, как человеческое достоинство, независимость, мужество...

Меньше полугода прошло, и остались мы на Спиридоновке в двух отведенных нам комнатах; с опечатанной дверью, ведшей в большую часть квартиры; с одним городским телефоном из всех находившихся прежде. Каждый, кто пережил то время, оказавшись в полузапечатанной квартире, знает, что среди многих наступивших душевных потрясений чуть ли не самым главным был затихший телефон. То есть он отлично работал, по нему можно было звонить, но сам он молчал... Перестали звонить многочисленные друзья Москвинных, почти замолкли мои собственные друзья, и бывали дни, когда ни разу не раздавался серебряный звон нового чешского, недавно установленного аппарата.

В этом отвратительном, трусливом молчании для меня особенно горьким было молчание Алексея Дмитриевича Сперанского. Ведь только что, какую-нибудь неделю-две назад, он говорил, что считает меня другом, а Оксану вроде дочери... Чего он боится, он, такой смелый, независимый? Многих людей в эти дни и месяцы я вычеркивал из своих близких, друзей, просто знакомых. Но труднее всего мне было это сделать с Алексеем Дмитриевичем. Но — вычеркнул. И больше всего боялся, что придется с ним встретиться. Не за себя боялся, а за него — каково будет ему глянуть мне в глаза. А ведь глянул!

Нас уже выставили из правительственного дома на Спиридоновке, мы жили неподалеку, в двух комнатах огромной коммунальной квартиры трехэтажного дома в Гранатном переулке. Уже прошла страшная осень 37-го года и не менее страшная зима, и уже шла весна 38-го. За это время меня успели выгнать из Детиздата, я походил в безработных. Потом устроился в экзотическом учреждении под названием «Общество друзей зеленых насаждений», потом, хотя и с понижением, был возвращен в Детиздат как «жертва перегиба» — в феврале 38-го Сталин устроил очередное свое театральное действие: поставил на Пленуме ЦК вопрос о «некоторых перегибах»... Я снова окунулся

в издательскую жизнь, а затем наступил день, который никогда не забываешь. Последний день на воле.

Это было 18 апреля 1938 года. Он был для меня очень хлопотливым. Приехал в Москву Маршак, жил он в санатории «Узкое», и я с утра поехал к нему обсуждать план изданий научно-популярных книг для детей. Самуил Яковлевич был человеком обстоятельным и неторопящимся. Свои размышления о темах познавательных книг он перебивал воспоминаниями о Горьком, читал стихи Пушкина и свои собственные, кормил меня обедом, и кончилось это тем, что ему надо было уезжать в город, а обсуждение плана мы так и не закончили.

— Едемте со мной, — решительно сказал Маршак. — Дома у меня еще немного посидим и закончим.

Уже в городе я хотел спросить Самуила Яковлевича, в какой гостинице он остановился, но увидел, что машина подъезжает к хорошо мне знакомому дому на Новинском. И тогда я догадался, где остановился Маршак. Всю его сын женился на дочери Сперанского, и мы сейчас будем в квартире Алексея Дмитриевича.

В квартире было тихо, не было слышно громкого хозяйского голоса, и я понял, что мне повезло: Сперанского нет дома.

В его кабинете расположился Маршак, он сразу же начал извлекать из своего огромного портфеля книги, рукописи, листки бумаги, исписанные его замечательно разборчивым почерком. И мы уже почти заканчивали наши дела, когда открылась дверь и вошел Алексей Дмитриевич.

— А, Лева, здравствуй! — приветствовал он меня так, будто мы вчера с ним виделись. Потом он остроил насчет «Узкого», спросил меня, видел ли я только вышедшую книгу Блока, и ушел. И в глаза мне посмотрел, и похохатывал, и остроил, и не было в его некрасивом и выразительном лице ни тени смущения.

И я подумал, что я скажу Шуре Вишневскому, когда он, как почти ежедневно, вечером придет на Гранатный. Но Шура в этот вечер не пришел, а других вечеров для разговора с ним не оказалось.

И тут мне, очевидно, надо рассказать о Вишневском. Об этом человеке уже созданы рассказы, написано множество воспоминаний, и вышла даже целая одноподобная книга Наталии Петровны Кончаловской. Но в период моей жаркой, хотя и короткой, дружбы с ним он не был ни академиком, ни генерал-полковником, ни депутатом, и не красовалось на нем еще ни одного ордена, и не было еще создано о нем ни одной легенды. Даже чаще его звали Шурой, нежели Александром Александровичем. Хотя уже тогда он был доктором наук и тем, кем, собственно, и остался: учеником своего отца и хорошим хирургом.

Познакомились мы с ним благодаря Сперанскому. Сильно, почти смертельно заболела Оксана. И со всегдашней своей решительностью Сперанский повзгонял всех знаменитых кремлевских врачей и пригласил в дом Александра Васильевича Вишневского. Было что-то надежное и успокаивающее в этом грузном немногословном докторе — так он походил на старого, дореволюционного, провинциального, настоящего универсального врача. Он начал лечить Оксану, через несколько дней привел для продолжения лечения своего сына-врача и, после того как Оксана быстро выздоровела, исчез. А Шура Вишневский остался. И остался уже не в качестве врача, а все более близкого друга.

Ничем — ни внешне, ни внутренне — не был похож молодой Вишневский на своего отца. Маленький, тщедушный, как цыпленок, он очень страдал оттого, что

никто в нем не признает никакой значительности. Без всякого юмора, а почти горестно он рассказывал, что когда приходит в научное общество делать доклад, то швейцар ему строго указывает на раздевалку для студентов. Действительно, в нем не было никаких примет сколько-нибудь профессорской солидности. Помню, мы обедали в Волинском, когда в панике позвонила Алла Константиновна Тарасова, сообщив, что очень плохо Москвину, который к тому времени успел уйти к ней от старой жены. Софья Александровна сказала, что тут сидит профессор Вишневский и я немедленно привезу его к ней.

С изрядно подвыпившим Вишневским мы поднялись по лестнице к квартире Тарасовой, которая тогда жила на Страстной площади, и позвонили. Дверь открыла сама Алла Константиновна в довольно затрапезном виде, в переднике. Маленький Шура поднялся на цыпочки, потрепал высокую Тарасову по щечке и важно спросил: «А где, голубушка, хозяйка?» Алла Константиновна схватила меня и оттащила в сторону: «Боже мой! Где же профессор Вишневский?»

Но при всем этом Шура Вишневский был по-настоящему большим хирургом, свою медицину любившим больше всего. Он один из первых начал удачно оперировать рак пищевода. Носился с этим, только об этом мог рассказывать часами. Однажды уговорил поехать на операцию, потрясшую меня ужасом распотрошенного человеческого тела и тем, что Вишневский во время операции разговаривал с больным, у которого он только что взрезал спину и выпилил два ребра — все операции Вишневский проводил, как верный сын своего отца, под местной анестезией. Кроме того, он лечил самых экзотических больных «блокадой по Вишневскому», жил в лепрозории. Рассказчик он был превосходный, и я удивляюсь тому, что его воспоминания о полевой хирургии написаны без присутствующего ему литературного блеска. Вероятно, потому, что к этому времени он уже ходил в генеральских чинах и записи эти для него делал какой-нибудь помощник.

Но больше всего меня в Шуре привлекало его презрение к званиям, чинам, орденам... Он высмеивал их тогда, когда мы встречались в элитном, высокоциновом доме Москвина. И уже совершенно не сдерживался, когда мы из этого дома переехали в коммуналку в Гранатном.

Шура Вишневский оказался чуть ли не единственным моим другом, которого не испугала обрушившаяся на нас беда. Больше того: почти все свои свободные вечера он стал проводить у нас. Ко мне и Оксане присоединилась приехавшая из Парижа (где она служила в посольстве) Елена, и мы проводили все вечера вместе. И проводили отнюдь не в рыданиях, а скорее в веселье, которое, как я сейчас понимаю, носило эйфорический характер. Впрочем, такие «пиры во время чумы», очевидно, правомерны. Взрывы неудержимого хохота охватывали население 29-й камеры Бутырской тюрьмы; и когда я впоследствии перечитывал «Боги жаждут», то удивлялся тому, откуда мог Франс столь точно угадать, как истерически весело вели себя узники тюрьмы Консьержери, которых почти неизбежно ожидала Гревская площадь.

Вот на этих почти ежедневных встречах в Гранатном Шура Вишневский уже давал полную волю своим чувствам по отношению к начальникам всех мастей и рангов, не исключая самого наивысшего. Он поливал всех тех знаменитых врачей, которые гнались за званиями, орденами и прочими цацками. И издевался над моей партийностью. Я думаю, что тогда он говорил искренне.

Ни во время моего короткого «окошка» между двумя сидениями, ни когда в 55-м году я окончательно вернулся в Москву, у меня не возникло желания

увидеться со старым другом. К этому времени он уже вознесся на вершину социальной лестницы. И имел все, что так прежде презирал: большой генеральский чин, уйму наград, множество всяких званий, директорство в огромном институте и невероятно большое паблисити в печати. И он, шпынявший меня моей партийностью, был делегатом партийных больших и малых съездов, членом Московского комитета и пр. и пр. Я понимал, что у него обязательно возникнет ощущение какой-то неловкости передо мною, и не хотел этого. Тем более, он знал, что я в Москве. У нас были общие знакомые, он оперировал, а затем и дружил с Шурой Кроном, и знал от него о том, что я живу в одном с ним городе. Так ведь не разыскивал...

И все же я к нему первый пришел. Не от хорошей жизни. Это было уже в 68-м году. У моей дочери Наташи появилось что-то насмерть перепугавшее, и жена меня погнала в институт Вишневского, находившийся от нашего дома в нескольких минутах ходьбы. Я позвонил предварительно его жене, и Шура был предупрежден о моем приходе. Он встретил меня точно так, как когда-то встретил Сперанский — будто только вчера мы расстались... Конечно, он погоревал о гибели Оксаны, расспрашивал о Елене. Но все это — быстро, деловито, перемежая генеральскими, почти матерными окриками на подчиненных медиков, являвшихся к нему в кабинет, увешанный клетками со всякими птичками. Мне он предпочитал больше рассказывать об этих птичках, нежели расспрашивать про то, что происходило и происходит со мной. С Наташей он был мил, сам ее смотрел, сам делал небольшую операцию, отпустил, передавал привез...

И все. Нет, мы еще иногда встречались. Случайно, в Союзе писателей, где он любил выступать. Он быстро и неловко целовался и, неизвестно кем возмущаясь, говорил: «Почему мы не видимся? Надо встретиться и поговорить!»

Когда я вспоминаю его, испытываю к нему никогда не проходящее чувство благодарности за десять месяцев нашей дружбы и какую-то жалость за его непохожесть на отца, за неестественную суетность жизни.

В рассказе об артистах и врачах я отвлекся от человека, который бывал на Спиридоновке так часто, что его невозможно причислить к «гостям».

Почти каждую неделю приезжал один или с женой Глеб Иванович. Вот это был человек совершенно другого сорта, нежели Иван Михайлович.

Глеб Иванович не принимал участия в застольном веселье, но с удовольствием прислушивался к нему и никого не стеснял. Сидел, пил вино или что-либо покрепче и курил одну за другой сигареты, которые он тут же скручивал из какого-то ароматного табака и желтой турецкой бумаги. Глеб Иванович был человеком совершенно не похожим на других «старболов». В отличие от Ивана Михайловича никогда не вел аскетической жизни. Но зато имел свои странности. Никому не пожимал руки, отказывался от всех привилегий своего положения: дачи, курортов и пр. Вместе с группой сотрудников арендовал дачу под Москвой, в Кучине, и на лето снимал у какого-то турка деревенский дом в Махинджаури под Батумом. Жил с женой и старшей дочерью в крошечной трехкомнатной квартире, родные и знакомые даже не могли подумать о том, чтобы воспользоваться для своих надобностей его казенной машиной. Зимой и летом ходил в плаще и мятой фуражке, и даже в дождь и снег на его открытом «паккарде» не натягивался верх.

Его суждения о людях были категоричны и основывались на каких-то деталях, для него решающих.

— Литвинов, — говорил он, — Литвинов — человек, с которым нельзя иметь дело и которому нельзя

верить. В двадцать втором году я ему сказал, что у него плохо охраняется комната, где находится сейф с секретными документами, и что у него их свистнут... Литвинов расхохотался, и тогда я предложил ему пари на бутылку французского коньяка, что я у него документы из сейфа выкраду. Ударили по рукам. После этого он поступает совсем непорядочно: ставит у дверей комнаты, которая раньше не охранялась, часового. Ну, все равно, конечно, мои люди залезли в комнату, вскрыли сейф и забрали документы. Я посылаю эти документы Литвинову и пишу ему, чтобы прислал проигранный коньяк. И представьте себе: на другой день мне звонит Ленин и говорит, что к нему поступила жалоба Литвинова, будто я взломал его сейф и выкрал секретные материалы... Можно ли после этого верить подобному человеку?

Но при всех странностях Глеба Ивановича было в нем какое-то обаяние. Больше всего это ощущали, конечно, женщины. Даже такие железные женщины, как Елена Дмитриевна Стасова и Екатерина Ивановна Калинина, говорили мне, что не встречали мужчин более обаятельных, нежели Глеб Иванович. Впрочем, Бокий умел обаять не только женщин, но и мужчин. Смешно, что одним из таких был не кто иной, как Федор Иванович Шалапин.

Мы знали, что Глеб Иванович был не просто знаком, но и дружен с Шалапиным. Дома у него были все без исключения пластинки, напетые Шалапиным, и ему привозили из-за границы каждый новый диск великого певца. Но мне в тридцать шестом году попала книга воспоминаний Шалапина «Душа и маска». У нас публикуется первая ее часть, излагающая артистическое кредо Шалапина. Вторая же часть никогда не издается, она содержит воспоминания артиста о своей жизни при Советской власти, и там он честит ее, а также большевистских сановников всеми словами, какие только возможны в печати. Занятно было, что в этой книге он пишет о Москвине и Бокии. Москвина, которого он называет «Петроградский губернатор Москвин», обзывает самыми ругательными словами за то, что тот запретил вывешивать какую-то афишу о его концерте. А вот о чекисте Бокии Шалапин говорит много и так, что можно только диву даваться, как мог подобное Шалапин написать!

Шалапин вспоминает, как однажды после концерта ему передали вместе с букетом цветов огромную корзину коллекционных драгоценных вин. А следом за кулисы пришел человек, сделавший такой удивительный подарок, — скромный, тихий и обаятельный, он вел за руку маленькую девочку... Это был председатель Петроградской ЧК Глеб Иванович Бокий. И хотя, продолжал вспоминать Шалапин, о нем ходили и ходят легенды как о кровавом садисте, я утверждаю, что это ложь, что Глеб Бокий — один из самых милых и обаятельных людей, которых я встречал... И я дружил с ним и рад, что у меня в жизни была такая дружба...

Я тогда имел возможность сверить мемуары с действительностью. Я спросил, насколько этот рассказ соответствует истине. Глеб Иванович усмехнулся и ответил:

— Ну, было не совсем так. По Питеру шаталась группка матросов в поисках чего бы выпить... Ну, кому-то из них пришла в голову трезвая мысль, что у Шалапина обязательно должна быть выпивка. Адрес Шалапина был известен, они зашли к нему на квартиру, заявили, что они агенты ЧК и ищут оружие, обшарили все, нашли, конечно, немалое количество нужных им бутылочек, забрали и с торжеством ушли. Шалапин поднял по этому поводу страшный крик. И я для успокоения Федора Ивановича приказал собрать для него корзину вина из дворцовых запасов и отослать ему за кулисы. А для проверки

этого зашел к нему. Ну и познакомиться захотелось — очень я любил этого артиста. А потом действительно подружились...

Вопреки тому, что Шалапин писал в своих воспоминаниях, он вовсе не чурался общения с советскими вождами, дружил не только с Бокием, но и с Демьяном Бедным, да и, выехав за границу, не только вел себя лояльно по отношению к Советской власти, но и гордился тем, что у него не какой-то бесправный эмигрантский «нансеновский» паспорт, а самый настоящий.

В маленьком правительственном санатории «Архангельское», приехав навестить жившую там Оксану, я познакомился с нашим полпредом во Франции Раковским.

Красивый он был, валяжный, очень привлекательный и общительный. С ним легко и приятно разговаривать и расспрашивать об этой совершенно неведомой мне загранице. Зашел разговор и о Шалапине. И он рассказал, как ему пришлось объявлять Шалапину о лишении его советского подданства.

По словам Христиана Георгиевича, Шалапин не давал никаких поводов для репрессий. Не участвовал в эмигрантских акциях, радостно принимал приглашения на приемы в посольство, пел на вечерах и приемах, которые посольство устраивало по торжественным поводам. Никаких денег он эмигрантам не давал. Во-первых, потому что совсем не любил давать кому бы то ни было своих денег, и, во-вторых, потому что вел себя по отношению к активной части белоэмигрантов очень осторожно. Но любил бывать в русской церкви, находившейся неподалеку от посольства, и иногда петь на клиросе вместе со знаменитым церковным хором Афонского. С этим хором, кстати, Шалапин записал на диски и несколько дивных церковных концертов.

Церковь устроила для бедных прихожан, то есть, конечно, эмигрантов, платный концерт хора Афонского. И пригласила участвовать своего прихожанина Шалапина. И тот, естественно, не отказался. Сам посол не придавал этому никакого значения, но в посольстве было достаточно количество осведомителей разного ранга. И они доложили... Oczywiście в Москве указание о лишении Шалапина советского паспорта было дано тем, чьи приказы не оспаривались. Христиан Георгиевич вызвал в посольство Шалапина.

Я представляю, что Раковский объявлял Шалапину этот жестокий и несправедливый приказ со всей мягкостью и тактичностью, на которую был способен. И тем не менее, рассказывал он, Шалапин разрыдался. Его с трудом удалось успокоить, он вышел из посольства заплаканный и озабоченный, чтобы больше никогда не возвращаться ни в посольство, ни на Родину. Рассказывая об этом эпизоде, Раковский, понятное дело, не выражал никакого осуждения приказу из Москвы, но даже его ортодоксальным слушателем была очевидна дикая несправедливость по отношению к артисту и к русскому искусству. Впрочем, свое отношение к художественным ценностям Сталин доказал достаточно ясно, взрывая кремлевские храмы, разрушая художественные сокровища России, продавая американским миллионерам полотна Тициана и Рембрандта из государственных музеев. Но удивительно, что сейчас, когда Шалапин канонизирован, когда его прах вернули на Родину, когда устраивают музеи певца, везде обходится молчанием вот эта история: как отлучили его от Родины, как сделали его эмигрантом. Удивительно, но рабский страх перед Сталиным живет в костях и жилах людей, которые не знали его, которым этот страх передан почти генетически! Поразительное подтверждение лысенковской теории о передаче по наследству приобретенных свойств...

А уже приближались сроки. 1937 год мы с Оксаной встречали в Кремле у Осинских. Не помню, чтобы какая-нибудь встреча Нового года была такой веселой. Молодой, раскованный и свободный Андроников представлял нам весь Олимп писателей и артистов; Николай Макарович Олейников читал свои необыкновенные стихи и исполнял ораторию, текст которой состоял из одного слова «гвоздь»... И под управлением Валериана Валериановича Осинского мы пели все старые любимые наши песни: «Колодников», «Славное море — священный Байкал», «По пыльной дороге телега несется...». Все это тюремные песни из далекого и наивного прошлого. Которое не может повториться. Оно и не повторилось. Ибо будущее было совсем другим.

Из большой и веселой компании, встречавшей 1937 год, в живых осталось четыре человека: дочь Осинского Света, которая была тогда еще маленькой девочкой; приятель Димы Осинского и мой — Петя Карлик, отбывавший свои десять лет в Норильске, измученный болезнью Ираклий Андроников да я...

И прошел январь, и наступил февраль, которые я плохо помню, потому что очень болела, почти погибала Оксана. А когда все с ней успокоилось и я очнулся — началось... Арест, суд, расстрел всех наших богов-военачальников... Арест Рудзутака, и еще, и еще... Не помню, происходили ли тогда у нас какие-то разговоры об этом с Иваном Михайловичем. Кажется, нет. Жизнь текла по-старому, Оксана выздоровела, и мы как-то лихорадочно наперстывали пропущенное: гости, застолье...

7 июня Глеба Ивановича вызвал к себе новый нарком внутренних дел и генеральный комиссар государственной безопасности Ежов. Из кабинета Ежова Глеб Иванович не вернулся. Иван Михайлович приезжал с работы поздно, заставлял почти всегда гостей, садился за стол, непроницаемо оживленный. Почти ни разу в эту последнюю неделю я не оставался с ним наедине, чтобы спросить. Что спросить? Хотел, чтобы он ответил мне на страшные возникающие вопросы. Да не успел.

14 июня в Театре Вахтангова была премьера. Главную роль играл наш приятель Володя Москвин. Премьера прошла с успехом, мы дождались, когда он разгримировался, и, как договорились, пошли все вместе на Спиридоновку. Была дивная ночь лета, мы шли домой, смеясь и дурачась, — прятались за этим весельем от ужаса, уже прочно поселившегося в нас.

Поднялись на площадку и позвонили. Дверь открыла не наша Клява, а незнакомый военный в энкаведэвской фуражке. Фельдъегерь, подумал я, удивляясь любезности, с которой он нас пропускает вперед. Но почему-то в прихожей оказалось много фельдъегерей... В дверях столовой появилось белое, застывшее лицо Софьи Александровны, и я сразу же понял, что происходит...

Любезные «фельдъегери» пропустили нас в столовую и сказали, чтобы мы вели себя тихо. За столом сидели окаменевшие Николай Николаевич Озеров и наши старые добрые друзья Вознесенские. Хозяин — Иван Михайлович — еще не вернулся с работы. Голубые фуражки уже копошились внутри кабинета, другие фуражки дежурили у дверей, у телефона, наблюдали за присутствующими. Володя Москвин сел за стол, взял в руки бутылку коньяка и повернулся к командовавшему этой операцией чину:

— Вы! Пить можно?

— Если только не хулиганить...

Володя усмехнулся и налил себе и мне. Остальные гости не проронили ни слова и не притрагивались

к напиткам и закускам. Мы с Володей успели выпить всего несколько рюмок, как послышался звонок в дверь — приехал Иван Михайлович. Голубые фуражки встретили его в передней и с эскортом проводили в кабинет. Бледный и спокойный Москвин на ходу здоровался с гостями. Через некоторое время вызвали Софью Александровну, а еще минут через десять Ивацн Михайлович вышел из кабинета, за ним энкаведэшник нес узелок с тем маленьким набором вещей, которые можно взять при аресте. Иван Михайлович попрощался с каждым из нас с какой-то виноватой улыбкой, как бы извиняясь за неприятность, которую нам доставил. Машина зарычала под окном. Гостям предложили уйти, и через строй оперативников (их почему-то прибавилось) они, съехившись, пошли к двери. Володя допил бутылку коньяка и обернулся ко мне:

— Где мы встретимся? Может, там?

Я пожал плечами. Потом Софье Александровне очень вежливо предложили проехать в Волыньское для обыска. Когда она хотела взять не плащ, а летнее пальто, начальник удивленно сказал:

— Зачем? Сейчас тепло, самое позднее через час мы вернемся обратно.

В кабинете, чужом и недоступном, шел обыск. Оксана была около ребенка, я один сидел за столом, хмель меня не разбирал. Через час вернулся командующий «операцией». На вопрос, где же Софья Александровна, он удивленно поднял брови:

— То есть как «где»? Она арестована.

Это был мой первый опыт столкновения с жестокостью, причины которой я не мог понять. Почему надо было молодую и нездоровую женщину забирать в тюрьму даже без маленького узелка с бельем и туалетными принадлежностями, которые всегда, со времен фараонов, разрешалось брать с собой? И последующих передач не было. И писем не было. Ничего не было. Софья Александровна умерла через год или полтора в Потьме, в лагере для цесарев — членов семей изменников Родины, так и не узнав ничего о судьбе мужа, дочери, внучки, всех близких и далеких, от которых ее оторвали.

Каждый из нас многожды старался себе представить, как держались близкие нам люди прежде, чем палачи вытащили их на смерть. Я никогда не узнаю о том, как проходили допросы Ивана Михайловича, но почти уверен, что его мучили, сильно пытали — в нем было то упрямство, которое палаческих дел мастеров крайне раздражает.

Почти через десять лет, когда один мой срок кончился, а второй еще не наступил, я, презрев все законоположения, на которые, как опытный арестант, плевать хотел, приехал в Москву. И побывал у Любови Васильевны Москвиной. Она жила одна в большой, все еще увешанной картинами квартире. Иван Михайлович ушел от нее к молодой и красивой Тарасовой. Федя погиб на войне, Володя, который продолжал тяжело пить, умер.

Любовь Васильевна поплакала над сыновьями, Софьей Александровной, Оксаной, над собой. Потом, когда выплакалась, сказала:

— Какая странная судьба у двух Москвиных, у двух Иванов Михайловичей. Ваш Иван Михайлович жил как аскет и всю жизнь много и тяжело работал. Не знаю и не понимаю, для чего. А мой Иван любил только себя, свое искусство, при всех правительствах он сладко ел и пил, любил женщин, плевал на любую политику... И вот он народный, богатый, депутат Верховного Совета, наверное, за руку здоровается со

Сталиным. А ваш?.. Вспомнят ли его когда-нибудь?

Нет, не вспомнили. И мы никогда не получим ни от Ивана Михайловича, ни от Глеба Ивановича, ни от всего их поколения ответа на вопрос: когда — на воле, в тюрьме, на выводе — поняли они, какую смерть уготовили себе и какую жизнь тем, кто остался?

Военные

Что я пишу? Показания? Так именно я думал, когда начинал. Но быстро понял, что это не так. Показания должны быть ответами на ясные вопросы. А я перескакиваю с одного на другое, не стесняюсь своих симпатий и антипатий, не только спокойно излагаю факты, но и пытаюсь их комментировать. Значит, воспоминания? Но то, о чем я собираюсь сейчас рассказать, не совсем, как пишут литературоведы, «отвечает требованиям жанра». Скорее это продолжение размышлений на тему «Что это было? Как это случилось?». Подобными размышлениями я занимался постоянно, как только оставался наедине с собой: и в долгой подконвойной дороге на лесосеку; и в одиночке ставропольской внутренней тюрьмы; и в многочасовых хождениях бесконвойного заключенного по безмолвному, безжизненному северному лесу. Эта лента воспоминаний и размышлений прокручивается и теперь, во время моих «постынфарктных прогулок» по пресненскому скверу.

Было бы неискренне пытаться выдать то, что я пишу, за давние мои размышления в 1939, 1950 и 1956 годах... За эти годы я многое узнал, на многое изменил точку зрения. Мудрее не стал, но, безусловно, стал опытнее. Вероятно, и сейчас я не могу сказать — даже самому себе, — что знаю ответы на вопросы: «Что это было? Как это случилось?» Я не настолько самоуверен. Но, как всякий очевидец и участник, я обязан рассказать еще об одной части драмы, случившейся со мной и моим поколением.

Я имею в виду не то, что убивали, сажали, ссылали, — это дело обыкновенное. Говоря о драме своего поколения, я думаю о том, что в беллетристике прошлого пышно называлось «крушением идеалов». На наших глазах гибли боги, которых мы, как это и положено по нашему материалистическому мировоззрению, сами создали. Под «богами» я разумею не идеи и не застывших великих личностей прошлого, а наших современников, живых, совершенно реальных людей.

Для моего поколения (я, конечно, говорю о том слое, представителем которого я был) такими живыми богами были политики, поднявшиеся на иерархическую ступеньку «вождей» и «соратников», и те, кто именовался «героями гражданской войны». Удивительно, что, несмотря на наш искренний демократизм, мы никогда не подозревали в героизме рядовых участников гражданской войны. Нет, в «героях» у нас ходили лишь военачальники! Конечно, наше восхищение вызывал любой человек, у которого на гимнастерке, френче, толстовке, пиджаке был приколот орден Красного Знамени — очень редкая тогда награда. Но, вспоминая прошлое, я отчетливо понимаю, что в ряд героев у нас входили люди только от комбрига и выше. Признание нами их божественной сущности было искренне. С политиками дело обстояло несколько сложнее. Уж очень быстро мы начинали понимать, что политики — боги, еще более приземленные, чем мы, простые и грешные люди. Книги — от Светония до Покровского — убеждали меня, что они мелко плутуют; отказываются от своих слов и обещаний; занимаются интригами и подсиживанием; что они

обладают необыкновенным умением сочетать стремление к личной власти с борьбой за очень высокие и очень благородные идеи. Я знал близко многих крупных деятелей партии. Среди них были образованные и умные люди, которых украшали такие превосходные человеческие качества, как бескорыстие, скромность, простота. Но все они были политиками, то есть слово их не стоило ломаного гроша. Они безропотно подчинялись чему-то, сила их была только кажущейся, за ней ничего не стояло. Чувство их зависимости бросалось в глаза с очевидностью, ясной даже такому молодому и увлеченному политикой человеку, каким был тогда я. Не имело значения, что за ними ходили охранники, а на выступлениях им устраивали овации. На наших глазах множество богов неохотно, но быстро слезали с божественной горы и отправлялись в низину. Парторгами заводов, управляющими курортами, директорами музеев.

С военными этого не случилось. И, уходя в отставку, они продолжали оставаться нашими героями. Да что говорить! Ими любовались люди поумнее нас, позорче, чем мы.

Ах, как нравился Тимошенко Бабелю! С каким наслаждением он рисовал «красоту гигантского его тела... пурпур рейтуз, малиновую шапочку, сбитую набок, ордена, вколоченные в грудь». «Облитый духами и похожий на Петра Великого, прославленный начдив шесть диктовал приказы: «...какоев уничтожение возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться...».

Мне не пришлось лично знать угрюмого, туповатого и неудачливого маршала Тимошенко, который с беспомощным отчаянием смотрел, как крошечные отряды финских егерей громят наши большие соединения, как немецкие танковые дивизии отрезают, уничтожают и берут в плен целые армии фронта, которым он командовал. Из наркомов, из главнокомандующих, из маршалов он ушел в ничто, в неизвестность, на страницы скучных, никем не читаемых монографий и диссертаций. И остался навсегда в русской литературе живым, веселым и пленительным Савицким, изображенный Бабелем не только с живым интересом, но и с нескрываемой любовью. Я не знал ни начдива шесть, ни народного комиссара обороны и не могу поверять героя моей любимой книги реальным человеком.

А вот «прославленного и пленительного Книгу» я знал. И довольно хорошо. В годы моей жизни в Ставрополе бывший адъютант командира ставропольских партизан, а ныне начальник управления крайпищепрома Иван Иванович Иванько решил написать книгу о гражданской войне и нанял меня в «литературные негры». Для этого он меня познакомил с генерал-майором в отставке Василием Ивановичем Книгой. И я много дней провел в особнячке бывшего командира ставропольских партизан, а затем прославленного Бабелем начдива.

Василий Иванович был суетливым человечком невысокого роста, даже дома ходил хоть в подштанниках, но с генеральскими погонами. У него была молодая жена, огромный сад, неохватный огород, коровы, гуси, куры, свинки и подсвинки. Кроме того, раз в месяц он садился в свою личную машину, и личный шофер возил его по тем ставропольским колхозам, которые носили его имя. Оттуда вслед за его трофейным «хорхом» шел колхозный грузовичок, полный подарков — щедрот обильной ставропольской земли.

В пренебрежительном забвении, в котором он пребывал, ему льстил интерес человека, которого Иван Иванович представил как «московского писателя». Отдав хозяйственные распоряжения, он меня усажи-

вал за стол, наливал в чашку саксонского фарфора водку, настоящую на чесноке, ошарашивал ее и, поглаживая потрясающей красоты усы, начинал рассказывать. О гражданской, да и вообще о всякой другой войне он говорить не то что не любил, а не умел. «Тут мы как врезали им!.. А потом мы их порубали!.. Ну, мы от них драпали, пока кони не пристали. Тут пришлось драться...» Интереснее всего были его рассказы о том, как он был гостем у царя. Василий Иванович Книга стал первым полным георгиевским кавалером на Юго-Западном фронте, а знаменитый Козьма Крючков — на Западном. Обоих привезли на целую неделю к царю.

— Ну, и как вы гостили у него?

— Хорошо гостили! Каждое утро нас банили, брили, глаженую одежду давали, генералы нас крутили, ниточки, какис болтались, снимали... А потом в залу. Мы сидим, как статуи какой, фуражка на левой руке... А потом раскрываются обе двери, входит государь, ну тут мы, конечно, вскакиваем, здороваемся, как положено... А царь так поклонится нам, сядет в креслице, тут ему лаксй серебряный поднос, на ем серебряная фляжка и серебряная рюмка. Государь так тронет ус, выпьет рюмку и скажет: «Ну, казачки, рассказывайте...» Я-то не мастак был говорить, зато Козьма — тот, эх, был говорун! Заведет — заслушаешься. И как он немцев и шашкой. и пикой, и сапогом по морде... А царь так гладит усы и рюмочку за рюмочкой... А через полчаса сделает так ручкой, и нам, значит, подносят на серебряном подносе по целному стакану — тож из чистого серебра. Мы жажнем — а тут надобно было, чтобы опрокинуть разом, секунд в секунд,— потом: «Покорно благодарим, ваше императорское величество!» И государь уходит.

— А назавтра?

— А назавтра так же само. И так целную неделю. А потом царь с нами по ручке попрощался. И мы на фронт. Ну, там я целный месяц пил с офицерами да генералами. Как же — царский гость!

Гражданская война не оставила у Василия Ивановича таких ярких воспоминаний. А о Великой Отечественной он вспоминать и вовсе не любил. Да и то сказать... Во время знаменито-несчастной операции на Крымском полуострове Книге поручили командовать конницей, которую зачем-то согнали туда видимо-невидимо. Обрадованные немцы двинули на наши конные дивизии танки. Василий Иванович — как это он делал раньше — построил свою армию в ранжир, выехал вперед, скомандовал: «Шашки вон!» — и кинулся на танки... Его, легко раненного, удалось вывезти на «кукурузнике». А конница вся полегла под гусеницами немецких танков. После этого было приказано самим Верховным: Книгу близко к фронту не подпускать. И до конца войны остался он только генерал-майором и матерно крыл своих более удачливых товарищей. А Верховный Книгу не расстрелял, не разжаловал, я этому уже тогда не удивлялся, знал из рассказов моих товарищей по лагерю о том, что служба в Первой конной давала особые преимущества.

Но сколько я ни всматривался в своего занятого, суетного собеседника, я в нем не мог опознать и тени того, что делало его живой легендой в глазах Бабеля, в наших глазах, даже в глазах тех, кому он был знаком главным образом своими поборами. Ну, был не очень умный, глубоко невежественный, но лично храбрый человек, который для Верховного обладал основным достоинством — тот мог ему доверять. Любой приказ выполнял, хотя бы это был приказ зарезать мать родную.

Я понимаю, что мифотворчество было одним из самых важных факторов, формирующих наше миро-

воззрение, вкусы, симпатии, сейчас это мифотворчество не столь эффективно, хотя и использует невероятную по могуществу современную технику «запудривания мозгов». Но именно в двадцатые годы, когда не было радио и телевидения, многомиллионных тиражей газет и журналов, когда не воздвигали бюсты живым людям, не издавались скороспелые книги о великих и величайших современниках, именно тогда и были созданы мифы о «легендарных полководцах».

Иногда в основе таких мифов вообще ничего не было. Наиболее характерным примером, конечно, является «Первый красный офицер» Ворошилов. Как бы тщательно мы ни изучали его биографию, в ней невозможно обнаружить и признака полководческих качеств. Рабочий, небольшой партийный функционер, он во время гражданской войны наравне со многими десятками и сотнями партийных работников был послан на политическую работу в армию. И достались-то ему не фронт, не армия и не дивизия даже, а небольшое полупартизанское соединение, которым командовал бывший драгунский вахмистр Буденный. И началась его «легендарная» биография с боев на самой периферии войны — у волжского города Царицына, боев, которые не могли оказать никакого влияния на исход грандиозного сражения между красными и белыми. Но там его увидел Сталин, который в нем оценил главное, что он в людях искал: Ворошилову можно было доверять.

Поэтому, когда Сталину понадобилось заменить в московском гарнизоне троцкиста Муралова своим надежным человеком, Ворошилов стал командующим столичным военным округом — должность очень важная во всех эпохах, во всех государствах, при всех царях. Затем, после загадочной или же незагадочной смерти Фрунзе, Ворошилов становится наркомом по военным и морским делам, Председателем Реввоенсовета. Дальнейшая деятельность Ворошилова протекла на виду у всех и не давала никакого материала для продолжения легенды. Он на дивном вороном коне принимал парады на Красной площади; позировал Бродскому, Яр-Кравченко, Герасимову; почему-то считался знатоком искусства и покровительствовал художникам и актерам; подписывался под программными документами о преподавании истории; менял армейскую форму на флотскую во время маневров; и всюду, и везде, на всех фотографиях появлялся рядом с человеком в длинной солдатской шинели, прячущим в знаменитые усы подобие Джокондовой улыбки.

Когда Ворошилов лишился почти всех талантливых полководцев, созидателей и руководителй армии, он мгновенно оказался слабым, растерянным, ничего не соображающим человеком. Воевать он просто-напросто не умел. В любом месте, куда его посылал Сталин, он проигрывал сражения, губил войска, боялся принять на себя ответственность за сколько-нибудь решительное действие. При жизни Сталина его берегло презрительное доверие вождя, а после смерти августейшего покровителя — знаменитая, передаваемая от поколения к поколению легенда о «Первом красном офицере». Эта легенда выдержала даже тот единственный случай, когда он попробовал политиканствовать, был бесцеремонно выгнан Хрущевым, отсиживался (и отсиделся!) в ожидании лучших времен. Эти лучшие для него времена настали, они продолжались и после его смерти. Легенды хорошо служат, когда исчезает сам объект легенды.

Мне пришлось познакомиться с Ворошиловым, иметь с ним длинный разговор по неприятному для него поводу. Кроме того, я беседовал о нем со многими людьми, хорошо его знавшими. При всем своем внешнем обаянии Ворошилов был коварный и недобрый человек. Если не считать Молотова, никто из

окружения Сталина с таким энтузиазмом не глумился над своими вчерашними друзьями, товарищами, помощниками, как Ворошилов. Он не только спокойно относился к уничтожению командования Красной Армии, но и принимал в этом восторженное по своему усердию участие. Он не только никогда ни за кого не заступился, но мелко услуживал даже оперодчикам.

Борис Дьяков во времена «реабилитанса» замахнулся было написать повествование о Блюхере и усердно собирал для этой книги материал. Значительно позже, когда он утратил всякую надежду на то, что такую книгу стоит писать, он по-соседски (мы тогда жили в одном доме) делился со мною кой-какими эпизодами из этих материалов. Я навсегда запомнил его рассказ об аресте Блюхера. Дьяков записал этот рассказ со слов вдовы Блюхера, с которой он познакомился на правах биографа посмертно реабилитированного маршала.

Блюхер был другом Ворошилова. Они были близки семьями, вместе старались проводить отдых, вместе охотились, пили. Тем не менее, командующий Особой Дальневосточной армией был встревожен телеграммой наркома о том, чтобы он выехал в Москву. И жену прихватил, как дружески предложил Клим.

Блюхер с женой прибыл в Москву в своем вагоне, Ворошилов предложил Блюхеру с женой поехать отдохнуть на его дачу в Сочи. Там Блюхера и арестовали.

Я хочу понять, каким образом не только создалась легенда о Ворошилове — почему она существует, живет, развивается, обрастает книгами, альбомами, памятниками, стихами, поэмами — черт еще знает чем!

Значит, многие наши тогдашние боги были, как и Ворошилов, самой обыкновенной липой, этакой дешевой легендой, которая, однажды возникнув, начинала жить самостоятельной жизнью? Нет, все же нет! Военные были единственными людьми, у которых сильно ощущалось чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в своем деле, накрепко усвоенная привычка не только командовать людьми, но и отвечать за них. И постоянная готовность к неизведанному, тревожному будущему. Случилось так, что я многих военачальников знал довольно близко. Это было возможно благодаря тому, что я родственно и душевно был связан с профессиональным военным — человеком, крайне интересным и типичным для своего круга.

Мой двоюродный брат, Израиль Борисович Разгон,¹ считался самым знаменитым в нашем семейном клане. Сын мелкого музыканта, игравшего на еврейских свадьбах, он каким-то образом окончил коммерческое училище и даже стал студентом. Был он намного старше меня — в партию вступил в год моего рождения, в 1908 году. Молодость его прошла малозначительно, довольно типично для его поколения. Участие в студенческих беспорядках, исключение, журналистская работа в легальной партийной и полупартийной прессе, попытка убедить Толстого примкнуть к революции (даже в Ясную Поляну к нему ходил), тюрьма, весьма либеральная ссылка на европейский север — словом, все это было обычно.

Необычное началось во время первой мировой войны. Израиль добровольно уходит в армию, через год у него полный «бант» — георгиевские солдатские кресты всех четырех степеней. Попал в плен под Перемышлем, бежал, произведен в прапорщики... Это была карьера, не совсем типичная для интеллигентного еврея из Витебска. Когда я с ним, уже став взрослым, близко сошелся, часто встречался, я по-

нял, что он был военным человеком по призванию. Мир четких границ, дисциплины, быстрых решений, необходимость принимать на себя ответственность за них были наиболее для него понятным миром.

Военная карьера Израйля оказалась столь же бурной и беспокойной, как и все послереволюционные годы. Он комиссарил на Западном фронте, после войны окончил Академию РККА, был ее комиссаром. Затем уехал в «суверенную» Бухарскую народную советскую республику «назиром по военным делам» и главнокомандующим Бухарской народной армией. Потом отправился военным советником в Китай. Генерал Ольгин, как он там звался, достиг больших степеней. Вершиной его китайской карьеры была должность начальника политического управления Китайской народной армии. Я иногда рылся в гряде фотографий, валявшихся у него в ящике стола, и с понятным интересом разглядывал множество карточек, где мой кузен был снят с Чан Кайши рядом, в обнимку, за столом с яствами, в походе. Объятия Чан Кайши не были прочными. Израиль вместе с другими советскими советниками после чанкайшистского переворота драпал от своего бывшего друга через Гоби... Я не могу вспомнить всех перипетий дальнейшей карьеры Израйля. Помню только, что, когда я очнулся от всех переживаний юности, он оказался в морской форме. Был начальником Гидрографического управления, затем много лет — заместителем командующего Черноморским флотом, заместителем командующего Балтийским флотом. В конце 1936 года, когда образовался Народный комиссариат Военно-Морского Флота, Израиль был назначен членом коллегии и начальником Управления вооружения. Расстреляли его не позже 1937 года, через месяц-два после ареста.

Такова анкета моего двоюродного брата. Заанкетная часть его биографии и личности намного интереснее. Израиль был обаятельным человеком. Не только для меня, плененного его партийным стажем, бурной биографией, воинскими званиями, но и для всех его знавших. И в том числе, а может, в особенности, для женщин. Это тем более удивительно, потому что Израиль был похож не на какого-нибудь Печорина, а скорее на мелкого еврейского коммивояжера. Небольшого роста, плотный, прямо на плечах сидит совершенно круглая, без всяких признаков волос голова. Крутой семитский нос, черные блестящие глаза, подбородок с родовой ямочкой. Любил стихи, много читал. При не самых крупных чинах и званиях был близок со многими интереснейшими людьми своего времени. Политически? Не уверен. В 1923 году, когда Израиль комиссарил в академии, я зашел к нему домой в Левшинский переулок. Израйля дома не было, в наиболее парадной из его двух комнат сидел на стуле человек, хорошо мне знакомый по фотографиям, и качал на коленях трехлетнюю дочку Израйля Галю. Гость расспрашивал девочку, кого и что она знает.

— А Сталина знаешь? — вдруг спросил он.

Галя подумала, подумала и ответила:

— Нет.

— Ну, и дай тебе бог никогда его не знать, — серьезно сказал Радек.

Бог не оказался достаточно добрым к Гале. Его связи Израйля, очевидно, не носили политического характера. Израиль в оппозициях не участвовал, к Троцкому был равнодушен, круг его друзей и знакомых все больше становился профессиональным.

Я думаю, что в Израиле наиболее ярко выраженной и привлекательной чертой было чувство собственного достоинства, отсутствие в нем и тени холуйства. Приезжая из Севастополя по делам, он иногда звонил и просил маму приготовить «настоящий еврейский

обед». Мама была мастерица еврейской кухни: жирной, пряной, с обилием чеснока. Израиль с наслаждением обедался, даже если ему предстояло ехать на доклад к Ворошилову, питавшему отвращение к чесночному запаху. Когда однажды он спросил Израйля, не наедается ли он нарочно чеснока, зная, что нарком не переносит его запаха, заместитель командующего флотом ответил, что у своей тетки он обедает значительно реже, чем докладывает наркому, а поэтому выбор его естествен.

На флоте его любили. За простоту и прямоту, за отсутствие флотского пижонства, за презрение к болтовне, жонглированию пустыми словами. В Севастополе мне командиры с восторгом рассказывали о «седьмом условии товарища Сталина» — термине, получившем широкое распространение на Черноморском флоте. А дело было так: приехал Израиль на строительство крупной береговой батареи, на собрании начальник докладывал о выполнении плана, который, очевидно, горел. Только недавно Сталин выступил с речью, где перечислил шесть условий, выполнение которых обеспечивало успешное завершение всякого и любого плана. Поэтому доклад начальника строительства был пересыпан словами: «на основе шести условий товарища Сталина», «выполняя шесть условий товарища Сталина» и прочими многочисленными вариациями этого заклинания. Заместитель комфлота слушал доклад, наливаясь яростью. И вдруг не выдержал и крикнул докладчику: «А седьмое условие товарища Сталина вы знаете?» Начальник оторопело спросил: «Какое?» «... голландским не надо быть!» — бешено закричал Израиль...

Почему-то Израиль ко мне питал симпатию. Поэтому я у него часто бывал, когда он жил в Москве, ездил к нему в Севастополь и Ленинград, да и сам он бывал у нас. Иногда приходил с друзьями. Мне были интересны и привлекательны эти люди. Такие, как Иван Кузьмич Кожанов. Для меня он был не столько командующим флотом, сколько тем командиром Каспийско-волжской флотилии, о котором я читал у Ларисы Рейснер, во многих воспоминаниях о гражданской войне. Был Кожанов спокоен, уверен, ироничен. Как и еще один друг Израйля — Николай Николаевич Петин, начальник инженеров РККА. И Кожанов, и Петин вышли из старого офицерского сословия, на них лежал отпечаток интеллигентности, полученной в семье, в привилегированных военно-учебных заведениях. Но я встречался у Израйля и с выходцами из низов, завоевавшими свое положение в армии незаурядным талантом, железной волей, умом.

Почему они дали себя убить, не делая никакой попытки сопротивляться, просто сбежать, элементарно спасти свою жизнь? Неужели они не понимали, что их ждет? Конечно, известно, что существует обесиливающая атмосфера массового террора. В Варфоломеевскую ночь придворные шаркуны, пускавшие в ход шпагу лишь на парадных дуэлях, резали, как овец, закаленных в сражениях суровых гугенотов, составлявших лучшую часть французской армии. Из всех «легендарных героев», которых арестовывали молодчики, всегда имевшие дело с безоружными, охваченными отчаянием людьми, только у Гая взбрыкнул его армянский темперамент. Когда его, арестованного, везли в обычном поезде, он малость придушил одного конвойного и выпрыгнул на ходу. Конечно, его нашли со сломанной ногой и после быстрых традиционных процедур застрелили. Но все же он погиб как солдат.

На 2-м лагпункте Устьвымлага пожилой «доходяга» рассказал мне про арест Кутякова. В тридцать седьмом Кутяков командовал Приволжским округом, а доходяга был военным комендантом на маленькой

станции, где и поезда-то останавливались лишь на две-три минуты. Получив телеграмму о том, что с таким-то поездом едет в Москву командующий округом, комендант посмотрел расписание и увидел, что поезд приходит в час ночи и стоит три минуты. Но мало ли что! Вдруг командующий посмотрит в окно, выйдет на платформу? Старый служака вздохнул и решил остаться на ночь в своей конторке, окна которой выходили на перрон.

В поздний ночной час подошел поезд, комендант с удовольствием удостоверился, что в последнем — полубронированном — вагоне командующего темно, все спят и можно спокойно возвращаться. И в это время увидел, как к вагону подошла группа людей и сцепщик стал отцеплять последний вагон.

— Что, командующий здесь остается? — оторопело спросил комендант, подходя к этим людям.

— А ну, пошел ты отсюда туда и туда, — вразумительно ответили ему.

И комендант сразу же понял, что происходит, ибо это было лето 37-го года и первичные основы грамотности уже спускались ниже наркомов, членов ЦК, командармов и комкоров. Военный комендант убежал в свою пристанционную комнатуху и стал из окна смотреть на дальнейшее.

Вагон отцепили, поезд тихонько свистнул и ушел. Группа людей, обвитых португееями, обвешанных кобурами, поднялась по вагонной лесенке и начала стучаться. В вагоне зажегся свет, дверь открылась, и они зашли. Через некоторое время из вагона раздались общеупотребляемые крики гнева и возмущения, затем дверь открылась, и ночные гости стали один за другим выпадать из вагона, подгоняемые пинками босой ноги. После того как мордой о перрон шлепнулся последний энкавэдэшник, в освещенном проеме показался командующий округом в подштаниках, с шашкой в руке. Потом дверь вагона захлопнулась.

«Проводившие операцию» отряхнулись и побежали на вокзал. Освещенный вагон стоял на главном пути, загораживая движение. Через какое-то время маневровый паровозик стал подходить к вагону, явно для того, чтобы увезти его на дальние пристанционные пути. Но не успел он приблизиться к преступному вагону, как оттуда раздалась пулеметная очередь. Вагон командующего изготавливался для поездок на фронт, его площадки были полностью бронированы и имели пулеметы с боевым запасом. Не удалась попытка приблизиться к отстреливающемуся вагону и с другой стороны. Уже шел второй час неудачной «операции», движение по важной железнодорожной магистрали приостановилось.

Комендант увидел новую попытку. Теперь к вагону шел только один человек. На нем отсутствовали кобура и ремни, в поднятой руке он нес белый платок — не было сомнений, что это парламентар. В вагон он был пущен. Через десять минут он вышел из вагона и почти бегом направился к своим сотоварищам, ожившим его у входа в вокзал. Дальше случилось нечто совершенно неожиданное для военного коменданта: «они» все бросились в его конторку.

— Давай, иди к командующему!

— Да я, да разве он меня...

— Давай, тебе говорят! Он тебя требует. Иди как положено!

Спорить не приходилось. Оцепеневший от страха комендант поправил гимнастерку и фуражку, принял уставно-молодцеватый вид и пошел к вагону. Дверь открылась, и он увидел Кутякова. Уже одетого, с прицепленной шашкой, с маузером в руке.

— Товарищ комкор, военный комендант станции по вашему приказанию прибыл. Докладываю...

— Ладно, ладно, давай без этих. Ты военный или же из этих?..

— Я с восемнадцатого года, товарищ комкор...

— Где служил? В каких частях? В каких сражениях участвовал? Кто был командиром вашей армии и дивизии?

После того как Кутяков уверился, что комендант не «из этих», он велел пойти на телеграф и по прямому проводу вызвать к аппарату Ворошилова. И задать ему сначала три вопроса. А затем доложить ситуацию и просить дальнейших указаний. Еще Кутяков устало сказал:

— Иди, иди, это они все сделают, вызовут. Твое дело задать вопросы и получить ответ. Ленту принеши сюда.

В три или четыре часа ночи к аппарату подошел народный комиссар и маршал. Не помню все три вопроса, которые мне пересказал бывший комендант. Помню только один: «Кто жена, тетки?» Очевидно, Кутяков дружил с Ворошиловым, у них были общие друзья со своими домашними кличками, и на вопросы Кутякова мог ответить только сам Ворошилов. Друг Кутякова ответил на все три вопроса и дальше передал: «Приказываю сдаваться и ехать в Москву, где я во всем сам разберусь и с ним поговорю».

— Пришел в вагон, отдал ему ленту, он одним духом ее прочитал и аж глаза закрыл... Тут я повернулся и убежал, не получилось даже, как положено по уставу... — закончил свой рассказ бывший комендант, немолодой, с дистрофически пухлым лицом, заросшим грязной седой шерстью. Смерть уже витала над ним, и я ничем не мог помочь этому бедному человеку; он сам ничем не мог помочь командующему, помощнику Чапаева, «легендарному» Кутякову...

Но неужели Кутяков верил своему другу Ворошилову, верил, что он «разберется», что все прояснится? Неужели умный, много видевший человек на что-то надеялся, когда позади уже были безвестные могилы первых маршалов и командармов, когда языки пожара убийств облизывали всю армию? Я думаю, они не то что верили в хороший исход, они действительно считали, что сумеют высказать, спросить, понять... Кутякова я не знал, но не сомневался в уме, честности и бесстрашии Израиля. Последние месяцы он провел в Москве, в огромной и пустой казенной квартире на Покровском бульваре. Он был в зените своей военной карьеры. Никогда я прежде не видел его таким: мрачным, почерневшим от внутренних дум, от понимания того, что его может ждать. Но в одном он не сомневался. Последний раз я его видел за две-три недели до ареста. Я пришел в его кабинет, где он сидел за пустым письменным столом, и начал рассказывать о какой-то очередной страшной новости. Он устало махнул рукой, давая мне знать, что новость эта ему уже известна. Долго молчал. Потом поднял голову и сказал: «Но я им все скажу!...»

Ну да, он считал, что когда вот это, ожидаемое, страшное, произойдет, то с ним будет разговаривать если не Ворошилов, то кто-то, во всяком случае, равный ему. По месту в партии, армии, возрасту, наконец... Они все представляли себе дело именно так.

У нас в бутырской камере был Осколков. Очень крупный, очень известный инженер, строитель Брянского, ныне Киевского вокзала, нового Бородинского моста. Кажется, теперь на мосту даже есть бронзовая доска с его именем. Арестовали его, когда он был главным строителем ЦАГИ. Гроза тридцатого года как-то не задела Осколкова. Но столько знакомых и друзей было у него среди «вредителей», «рамзинцев» и прочих, что когда его забрали и везли на Лубянку,

он догадывался, что его ждет: любезность, сменяемая скрытой угрозой; неторопливые и с обеих сторон уклончивые разговоры; хорошие папиросы, крепкий и свежий чай... Так именно происходило со всеми сидевшими друзьями, так стандартно начиналось у всех у них следствие.

Но когда в лифте на него надели наручники, Осколков вдруг понял, что происходит нечто не предусмотренное сценарием, о котором он так хорошо знал. А дальше его привели в комнату, полную хохочущих молодых, здоровых ребят. Один из них обернулся к вошедшим и спросил, кого они привели. Даже не дождавшись, когда назовут фамилию Осколкова, он ловким и привычным ударом разбил Осколкову лицо, выбил передние зубы. И Осколков, с трудом поднимаясь, накрепко понял, что старым схемам здесь не место...

Нет, не страстные споры, не попытки понять и убедить «тех» ждали Кутякова, Кожанова, Петина, Израиля и многих, многих других. Их ждали вот эти здоровые молодые убийцы, их ждало выбивание из них пытками, физическим и моральным истязанием всего человеческого, их ждала пятиминутная издевательская процедура «трибунала», их ждала пьяная команда расстреливателей, которая в ту же ночь вытаскивала их из камеры на безвестную смерть.

На что они могли надеяться? На логику? На элементарную самоохранную логику, свойственную даже последнему бандиту, успешно живущему с помощью лишь первой сигнальной системы? Конечно, они все на это надеялись.

В сладкое время моего вожатского прошлого в нашем инструктивном лагере вожатых Замоскворецкого района военруком был командир со смешной фамилией Пострижигач. Наверное, эту фамилию я запомнил по одной из нескончаемых частушек, которые мы слагали:

**Жили в лагере мы мило,
Очень весело нам было.
Но пришел Пострижигач
И начал нас он строго жать.**

Наш военрук действительно был строг и драил нас изо всех сил. Я уже и думать о нем забыл, когда осенью 38-го года вдруг опознал Пострижигача в стриженном и худом малом в драповой командирской шинели с повязкой на рукаве. На рукаве было написано «дежурный», в Котласской центральной пересылке Ухт-Печорских лагерей это означало немалый чин. И Пострижигач узнал меня, что было совсем удивительно.

Он быстро и привычно расспрашивал: откуда, срок, статья, каким этапом пришел, знаешь ли, куда гонят; затем приказал ждать и через минут двадцать принес мне полный котелок почти настоящего горохового супа. Пока я с помощью пострижигачевской же ложки уничтожал пахучее сладостное варево, он мне быстро поведал свою биографию. Окончил Академию имени Фрунзе, получил назначение на Дальний Восток, был начальником штаба полка, потом стал командиром полка, затем был арестован.

— Как все другие. Понимаешь, ни одного командира полка в ОКДВА не осталось. Ни одного командира полка, ни одного комдива, о более старших уже не говорю. Нас столыпинскими таскали через добрый десяток пересылок, так что все разузнал — ни одного из наших не оставили! Начальников штабов полка — и тех взяли. Ну, ничего, жить можно везде. Видишь, и тут не пропал, дежурю по зоне, навожу порядок, сам сыт, других кормлю. Надо ждать. Ты ведь, Разгон, был головастый парень, политический парень! Ты смотри на меня и учись!

— А на что ты надеешься?

— Ох, вижу: впал в упадочничество! Слушай, война неизбежна! Это я тебе говорю точно, и если ты сам меречаешь в политике, то должен это понимать. Война неизбежна, а без нас воевать нельзя!

— Уж так и нельзя?

— Ты в этом ничего не понимаешь! Помощника бухгалтера можно назначить бухгалтером, заместителя заведующего отделом — заведующим. А командира роты назначить командиром полка нельзя! Понимаешь, нельзя! Это я тебе говорю профессионально. Даже в гражданскую это было трудно, а теперь совершенно невозможно! Без нас, без командиров полков, без начальников штабов полков нельзя воевать. Поэтому нас и не трогают!

— Так ведь тронули.

— Ну, с переляку. Может, наверху и произошло какое-то шевеление да задумки. Вот и размахнулись... Но есть такая штука — логика. От этой логики никому да никто не денется.

Кажется, она была последним прибежищем — эта проклятая логика, в которую верили истово, как в бога. И если не верили, то уж искали ее со страстью, ибо если эту логику не найти, что же тогда оставалось?

В нашей 29-й камере Бутырок хватало интересных арестантов. Но один из них вызывал у меня особый интерес. Во-первых, своей биографией. Густав Дейч был сыном известного деятеля Второго Интернационала, лидера левых австрийских социал-демократов Юлиуса Дейча. Юлиус Дейч был одним из руководителей знаменитого восстания австрийских шуцбундовцев в Вене. И Густав вместе со своим отцом дрался в рабочих кварталах, с уцелевшими шуцбундовцами бежал в Чехословакию, оттуда с отцом приехал в Советский Союз. Отец — на время, для свидания со Сталиным и другими лидерами партии, сын — навсегда. Во всяком случае, до тех пор, пока на его родине у власти не станут пролетарии. Густав, инженер-паровозник по профессии, категорически не желал работать на капиталистов. Он не был коммунистом, но с уважением относился к первому пролетарскому государству и предпочитал трудиться в Советском Союзе. Его послали в Воронеж, где он жил со своей семьей и работал в железнодорожном депо.

Густав уже совершенно прилично говорил по-русски, в камере он переходил от одного компетентного собеседника к другому в неистовых поисках логики. Почему его арестовали? Его не подозревали ни в связях с прежними товарищами по Второму Интернационалу, ни в чем-либо другом, политическом. Просто обвинили в том, что он сыпал песок в букусы отремонтированных паровозов, дабы эти паровозы выходили из строя. Ну зачем ему, отвечающему за ремонт и надежность паровозов, после ремонта сыпать песок в буксы? Где здесь элементарная логика? В Воронеже ему на следствии выбили все зубы. Потом привезли в Москву и в тюремной больнице сделали великолепные, не хуже, чем это могли сделать в Вене, вставные челюсти. Очень дорогие. Он в этом разбирается. Сделали такие зубы и на первом допросе в Москве разбили их начисто. Где же здесь самая простая логика? Он сидит в тюрьме, и ему выбивают зубы, а его отец в это самое время является генералом республиканской армии в Испании, командует там всей береговой артиллерией. Юлиус Дейч стоит на самом левом фланге мировой социал-демократии, из всех социал-демократов он наиболее горячий сторонник Советского Союза. Какая же логика в том, чтобы сына такого человека держать в тюрьме и выбивать ему зубы? Значит, все же произошла где-то ошибка, произошел сбой, и на волю он выйдет, иначе не может быть по самой логике вещей.

Густав остался в 29-й, когда меня перебросили в Бутырскую пересылку. Только два с лишним десятка лет спустя я узнал, что Густав Дейч так и не успел найти искомую им логику. Его расстреляли. Не знаю я и судьбы другого искателя логики — полковника Пострижигача. Знаю только, что сам я прекратил искать логику в происходящем лишь потому, что остался жив. Следовательно, сумел переступить через ступень этих поисков, которыми занимались все: одни больше, другие меньше. Логике действий надо было искать не у них, а только у себя и только для себя.

Дочь Валериана Валериановича Осинского, Светлана, рассказала мне, что в эпоху «реабилитанса» она разыскала одного человека, который сидел с ее отцом уже после того, как Валериан Валерианович выступал в качестве «свидетеля» на процессе, после того, как — по окончании процесса — его измолотили на допросах молодые убийцы, после того, как ему переломали ребра, отбили внутренности... Когда его — умнейшего и образованнейшего человека своего времени — сокамерники спросили, какую же логику поведения следует выбрать, он ответил: достойно ждать смерти... Сформулированный лагерной мудростью тезис «Не проси и не надейся» не придуман, он выработался у каждого, кто с открытыми глазами пытался понять свое будущее.

В воспоминаниях генерала Горбатова автор высокомерно возлагал вину за лживые признания на тех, кто «признавался». Мне кажется, что подло винить в этом не палачей, а жертвы. Горбатову просто повезло: у него был ленивый следователь или же такой, который не получил категорическое указание «дожать» подследственного. Вопрос о том, можно ли пыткой вынудить подписать на себя лживое показание, достаточно сейчас исследован врачами, психологами и психиатрами. В наше время материала для подобных исследований было намного больше, чем в средние века. Можно вынудить! Поэтому я откидываю вопрос о том, «признавались» или не «признавались» на следствии самые мужественные люди, профессиональные солдаты, полководцы гражданской войны. Гораздо значительнее и интереснее было их поведение в тюрьме и лагере.

Мой первый тюремный староста — комдив И. А. Онуфриев — мужественно-спокойный, добрый к сокамерникам. В Устьвымлаге мне пришлось близко соприкасаться с несколькими крупными военачальниками, они давали достаточно материала для размышлений о том, могут ли люди такого сорта выдержать испытание тюрьмой и лагерем.

Из них остался сейчас в живых лишь один человек, и я не хочу называть фамилию. Хотя в поведении его не было ничего позорящего. Просто, наблюдая за ним в лагере, я не мог себя заставить поверить, что такие люди, как он, способны командовать воинскими соединениями, распоряжаться на поле боя, брать на себя ответственность за судьбы людей и сражений. В доарестантском прошлом он был командиром дивизии и пришел этапом на наш лагпункт тогда, когда уже не бытовики, а мы заправляли внутренней жизнью лагеря. Поэтому почти ни одного дня ему не пришлось побыть на общих работах. Но удивительное дело: он нигде и ни с чем не справлялся! Когда он был бригадиром, то его не слушались даже самые последние лагерные шакалы; в десятниках его «брал за горло» любой зек; точку на катище, то есть пересчитывая бревна, он пропустил при сдаче несколько сот кубометров... Он с отчаянием говорил, что на воле хорошо командовал дивизией. Был уверен, что справится с корпусом, а здесь, в лагере, не в со-

стоянии совладать с вшивой бригадой. Под конец его назначили на самую «блатную» работу — заведующим баней. При первой же очередной ревизии у него оказалась недостача в двадцать две пары белья. Надо было видеть его «белье», чтобы понять отсутствие проблем в подобной недостаче. Оторванная штанина кальсон и ворот рубашки при ревизии или инвентаризации вешдоловствия вполне сходили за пару белья. А у него недостача! Как и на любом другом советском предприятии, в лагере можно было загнать и пропить локомобиль, вагон леса, инструмент. Загоняли и пропивали. Но недостача есть недостача. Моего комдива судили и приплюсовали к его десятилетнему сроку еще пять лет.

Трудно себе представить отчаяние этого человека. Он не желал слушать никаких слов утешения, пять лет дополнительного срока ему представлялись концом всех надежд, концом всей жизни. И вот его освободили! Освободили, когда освобождали какую-то небольшую группу военных, когда освободили Рокоссовского. Это произошло почти в самом начале войны, и мы грустно пожимали плечами, не представляя себе, как может чем-то командовать этот человек, которого мы считали окончательно сломленным, ни на что не способным. Из нескольких писем, которые он все же прислал в лагерь, мы узнали, что ему дали звание полковника и полк. Писать он перестал, но спустя какое-то время мы о нем читали в «Приказах Верховного Главнокомандующего», публикуемых в газетах. Словом, он окончил войну генерал-лейтенантом и Героем Советского Союза. И ни у меня, ни у моих товарищей, его знавших, нет никакого сомнения в том, что свои награды и звания он заслужил.

Но все-таки, но все-таки среди военных были люди, чьи личности оставались значительными и интересными даже в унизибельно нивелирующих условиях лагеря. На первом лагпункте Устьвымлага было двое таких; мне кажется, что такими были бы в лагере и мой Израиль, и Кожанов, и Петин, да и многие другие деятели Красной Армии, если бы их не убили, а только запрятали в глухие таежные лагеря.

Одним из них был Николай Степанович Богомяков — бывший начальник штаба Особой Дальневосточной армии. Как и мой двоюродный брат, Николай Степанович стал военным внезапно, в испытаниях войны. До первой мировой он окончил учительский институт, преподавал в гимназии зоологию и ботанику — науки, к которым он сохранил любовь и пристрастие и в своей дальнейшей, неучительской жизни. В 1914 году пошел на войну, после скороспелых воинских курсов стал офицером, талантливым и удачливым. К семнадцатому году он уже был подполковником и командовал полком. При мобилизации советским командованием бывших офицеров не уклонился от призыва, воевал так же удачно, как и при царе, закончил гражданскую начдивом, коммунистом, с двумя орденами Красного Знамени. Учился в академии, стал штабным работником, дошел до второго по значению поста в командовании Дальневосточной Армии — одного из самых крупных и важных военных округов страны. Богомяков был интеллигентом: знал языки, любил поэзию, музыку, мог часами увлеченно спорить о месте Тютчева в русской поэзии или точности прогнозов в естественных науках. Его легко было представить в прежнем звании, на прежнем посту. И в лагере он всегда оставался самим собой: полным достоинства, ироничным, воспитанным. Он внушал почтение к себе даже со стороны тупой вохры, всевозможных начальников, отпетой уголовной шобы. Точил ли он пилы и топоры, был ли экономистом в плановой части — всюду он работал легко, без

усердия, но и без лени. Правдами и неправдами доставал газеты, чтобы вместе со своим военным коллегой Николаем Васильевичем Лисовским узнавать о военных действиях в Европе и по карте, вырезанной из газеты, гадать, как они будут развиваться дальше.

Николая Васильевича Лисовского я знал близко, много лет. Он был нормировщиком, моим помощником на первом лагпункте. Я проводил с ним долгие часы в конторке, где работали, и в бараке, где вместе жили. Николай Васильевич был человеком из другого теста, нежели Богомяков. Подозреваю, что Лисовский в глубине души считал Богомякова в военном деле дилетантом и любителем. Ибо сам он ни о чем, кроме как о военном деле и войне, не мог думать и даже разговаривать. Был самым старым среди нас, мне он казался просто стариком. Наверное, он и был им. И то сказать: Николай Васильевич Лисовский задолго до войны 1914 года окончил кадетский корпус, юнкерское училище, стал офицером, окончил Академию генерального штаба имени Николая I, был начальником штаба полка и командиром полка... В Красной Армии с начала ее организации, вступил в 1918 году в партию. После гражданской войны почти все годы пробыл на штабной работе. Очень долго работал в Штабе РККА начальником оперативного отдела, а потом заместителем начальника Генштаба. В 1937-м его назначили командующим Среднеазиатским округом и через два месяца арестовали.

Почему его не расстреляли, непонятно. Может быть, потому, что военная профессиональная узость в нем была выражена необычайно сильно. Высокий, гвардейского роста, костлявый, подтянутый, с желчным и недобрый лицом, он оживлялся только в разговорах с Богомяковым. В лучшее время дня, после обеда, когда бригады уже приходили с работы, а рабочих сведений еще нет и все ждут вечерней поверки, они раскладывали на столе маленькие карты Балканского полуострова и начинали обсуждать перспективы развития итало-греческой войны и военных действий в Западной Европе. Война шла быстро, проверить военные способности двух комкоров было нетрудно.

Богомяков был дальневосточником, а Лисовский почти всю жизнь занимался нашей западной границей и возможным противником на Западе. Все, что происходило в тридцать девятом и после, он воспринимал как нечто личное, происходящее с ним самим. Был непоколебимо уверен в неизбежности войны с Германией, считал наши территориальные приобретения 39-го года невыгодными с военной точки зрения. Он долго и обстоятельно объяснял Богомякову, что на бывших польских землях хорошо продолжать бой, но очень трудно принимать его... О теории «Малой кровью, на чужой земле» он отзывался грубым языком старого гвардейца.

22 июня 1941 года он встретил в одиночестве — Богомякова к этому времени перевели на другой лагпункт. Лисовский за какие-то считанные дни почернел. Я стал его единственным собеседником. Несмотря на всю свою сдержанность, он предрекал колоссальные военные неудачи нашей армии. Когда через месяц полной изоляции у нас снова появились радио и газеты, мы могли судить, что все предсказания Лисовского оправдывались со страшной последовательностью. Он почти угадал направление главных немецких ударов. Весной 1942 года довольно точно наметил мне направление будущего удара немецких армий на юг и юго-восток... Чудовищно, что высокопрофессиональный работник, всю жизнь готовившийся к этой войне, на зачуханном лагпункте нормировал туфты в нарядах. А ведь в Генштабе сидел его бывший ученик и подчиненный Василевский! И Лисовский, кроме своих многочисленных заявлений с просьбой об отправке на фронт в любом качестве, писал

одно за другим письма Василевскому и Шапошникову, переправлял их мимо цензуры, через вольняшек... Не может быть, чтобы ни одно из его писем не дошло до адресата! Но Лисовский продолжал отбывать свой срок. Он его отбыл полностью, «от звонка до звонка»

Конечно, для течения войны не имело значения, сидел ли Лисовский в лагере или в Генштабе. Как мы теперь знаем, происходившее во время первых двух лет войны не мог предотвратить никакой самый что ни на есть военный гений.

В конечном итоге войны Лисовский не сомневался. Даже когда немцы были под Москвой, когда они хозяйничали на Кавказе, вышли к Волге. На мои — которые уж по счету — расспросы о будущем он сердито отвечал:

— Да не могут немцы победить, не могут! По арифметике не могут!

— Почему?

— Потому что они не могут победить в мировой войне! В затяжной войне. Вы же учились на историческом и даже первой мировой занимались! Как же вы не видите, что первую мировую немцы проиграли в первый год войны. Когда ошиблись в подсчете сил и не поняли, что война станет мировой. И сейчас они проиграли войну в первый же год, не поняв, что им придется иметь дело с материальными и военными ресурсами всего мира. Могут ли они дойти до Урала? Могут. Но это ничего не изменит. У них же не будет времени на то, чтобы на Урале создать промышленные центры с высокой технологией и переплюнуть американцев. И людей у них не хватит. Нет, с этим ясно. Неясно совсем другое.

— Что неясно, Николай Васильевич?

— Что после войны будет со всеми нами? И с каждым из нас? Если, конечно, мы доживем до ее конца. Вы это узнаете, надеюсь. Мне уж не узнать. А хотелось...

Он все же узнал.

Это было в конце веселого и счастливого лета, полного надежд. Позади была весна XX съезда, а о том, что через полтора месяца начнутся венгерские события, еще никто не подозревал. Мне передали, что меня разыскивает проживающий в Центральной гостинице Советской Армии Николай Васильевич Лисовский. Я сейчас же поехал туда. В гостинице администратор с погонами старшего лейтенанта сказал, что комкор Лисовский проживает с женой в люксе на четвертом этаже. Он подчеркнул архаичное, несуществующее звание комкора и категорию номера, дабы я понял, что, да, хотя он старший лейтенант, но понимает и сочувствует...

Из огромного саркофагоподобного кресла с трудом поднялся совершенно высохший человек, который показался мне вполтину меньше ростом, чем тот, которым отличался Лисовский. На новом, генеральском кителе были неумело нашиты знаки комкоровского звания. Этот мешковатый китель, эти роскошные диагоналевые отвислые галифе, спускающиеся к новеньким сапогам на тоненьких ногах... Маленькая и такая же худенькая старушка помогла мне успокоить плачущего старика, в котором ничего не осталось ни от заместителя начальника Генштаба, ни от нормировщика Первого лагпункта.

Жена Лисовского коротко рассказала мне стандартное окончание биографии комкора.

После отбытия срока — переезд в маленький казахстанский город, где жила отбывшая свой срок его жена — чесеирка. Не успел осмотреться на новом месте — опять арест, многомесячное пребывание в отвратительной областной тюрьме, затем ссылка «навечно» в отдаленный кусок необъятного Красно-

ярского края. Туда же приехала жена, снова стали обживать и этот угол, через несколько лет — пятьдесят третий с его радостями, надеждами, ожиданием...

— Ах, как верил, как ждал Николай Васильевич!.. Как часто вспоминал вас, мечтал о встрече. Пять дней назад, когда приехали в Москву, сразу же сказал мне, чтобы разыскала вас, что если вы живы, то должны быть в Москве... И вот встретились. Завтра должны нас увезти в санаторий, там — отдыхать, ждать присвоения нового, теперешнего, генеральского звания... Может быть, придет в себя, может быть, тогда встретитесь по-другому, по-лучшему...

Больше мы с ним не встретились.

Рощаковский

Это происходит так: в неположенное время, когда до ужина еще часа полтора, а до вызовов на допрос и того более, в коридоре кто-то трогает запор окошка в двери камеры. В камере, несмотря на наблюдаемый запрет разговаривать хотя бы вполголоса, почти постоянно стоит непрерывный слитный шум. Его составляют шепотные разговоры, движения, перекладывание вещей — вообще проявление какой ни на есть, но жизни семидесяти человек, набитых в камеру, рассчитанную только на двадцать. Удивительно, что как бы тихо ни подходили надзиратели к двери, как бы осторожно они ни брались за скобу окошка, этот шорох каким-то чудом перекрывает весь шум камеры. И мгновенно в ней воцаряется пронзительная, тревожная тишина.

Окошко, которое у нас называется «кормушкой», открывается, и в нем — незнакомое лицо. Это не наш коридорный «попка» — их мы уже всех знаем. Незнакомый вертухай обводит глазами десятки обращенных к нему лиц.

— Кто тут на «р»?

Я только что отошел от параша и стоял у самой двери. Еще никто из тех, чья фамилия начиналась на ту же букву, что и моя, не успел себя назвать, как я произнес свою.

— Инициалы полностью!

Я, совершенно уверенный, что все это ко мне не имеет никакого отношения, называю имя, отчество. Надзиратель заглядывает в бумажку, которую держит в руке:

— Соберитесь с вещами!

И кормушка захлопывается. Я стою, будто оглушенный, еще не осознающий, что вот оно: началось то неизвестное, которого я ждал, боялся, жаждал, жаждал изо всех сил, всеми помыслами. И вдруг я начинаю понимать, что меня снова уведут из почти семьи, от людей, ставших мне близкими, от тех, кто про меня знает. Меня поддерживает, с кем мне почти ничего и не страшно, потому что мы все — вместе. Я сидел в тюрьме сравнительно со многими еще очень недолго, но уже испытал это неизъяснимое чувство камеры, которое ничем не может быть разрушено.

После первого месяца тюрьмы я попал в карцер. Собственно говоря, во всем был виноват один из заместителей наркома лесной (а следовательно, и бумажной) промышленности. В камере он стал одним из заместителей старосты и работал почти по специальности. Каждое утро перед оправкой надзиратель вручал ему аккуратно нарезанные небольшие четырехугольники серой бумаги — строго по числу арестантов в камере. Замнаркома раздавал их. После оправки те несчастливцы, у которых кишечник не сработал, возвращали ему неиспользованные бумажки, а он их отдавал надзирателю. Очевидно, заместитель старосты

посчитал меня старым и знающим арестантом и не предупредил, что подтирочная бумага является бумагой строгой отчетности. И я оставил себе этот небольшой кусок серой бумаги. А вечером вдруг была внеочередная и совершенно неожиданная «сухая баня». Или «шмон». Словом, обыск камеры. И у меня нашли кусок клозетной бумаги. Вертухаи отнеслись к этому событию серьезно и обрадованно. Они составили акт о том, что у арестанта были найдены «письменные принадлежности». Я еще не успел забыть ощущение от самого первого обыска, когда мне приказали нагнуться и раздвинуть ягодицы. Я что-то сказал остроумное, как я полагал, о чрезвычайном их интересе к тому месту, которое Пушкин называл «грешной дырой».

Но надзиратели не оценили ни моего остроумия, ни литературной оснащенности. Вечером меня забрали в карцер. Карцеры в Бутырках были разные, и мы наслушались и о сырых каменных мешках, и о подвалах, где крошечная тьма и бегает крысы. Я попал в «светлый карцер». Это небольшой шкаф-комната. Два шага в длину, полтора в ширину. Окна нет. К стене поднята железная рама с несколькими железными перекладинами. Это кровать. Она весь день поднята и опускается как-то извне раз в сутки на четыре часа. И раз в сутки дают пайку хлеба в четырехста граммов и кружку кипятка. Шкаф этот, пол, стены, потолок, железная штука, называемая кроватью, металлическая огромная, неопорожняющаяся параша с крышкой — все выкрашено ослепительно белой эмалевой краской. А в потолок ввинчена лампа свечей на пятьсот. И она горит, сволочь, днем и ночью...

Через час от этого начинаешь сходить с ума. Большую часть времени я, в белой же нательной рубашке — потому что перед вводом в карцер тебя оставляют в одном белье, — стоял в углу, плотно закрыв глаза и прижав к ним руки. Но ничего не помогало. Свет проникал в мозг, во внутренности, от него некуда было деться.

Мне объявили, что я наказан пятью сутками карцера «обычного режима», что мне не положено стучать, разговаривать, садиться или ложиться на пол и что-то еще делать. А за нарушение любого из этих запретов карцер мне автоматически продлевается на пять суток. Через несколько суток я потерял счет времени. И это было самое страшное. Я вообразил, будто все-таки что-то сделал, нарушил, уже прошло пять суток, и мне предстоит еще столько же... Я был уверен, что не выдержу, не выйду из этого светлого ада, а если выйду, то слепым или сумасшедшим. И я вспоминал полусвет, дружескую тесноту двадцатой девятой камеры, возможность лечь на нары, укрыться с головой, спрятаться от глазка в двери за сочувствием, помощью и пониманием твоих товарищей. твоих сокамерников.

Вдруг распахнулась дверь в полную, совершенную темноту. Я даже людей в этой черноте не увидел. Меня взяли за локоть, вывели из карцера, я как-то оделся, взял завязанные в рубашку вещи и пошел по неосвещенным коридорам тюрьмы. Я не узнавал свой коридор, не видел номера камеры. перед которой мы остановились. Дверь открылась, меня толкнули в спину, и я вошел в теплую сырость. в спертый воздух камеры. И меня схватили за руки, повели куда-то, я слышал знакомые голоса, мне совали в руки что-то съестное, и кто-то кричал: «Да дайте ему сначала покурить!» Но я никого не видел, слезы вдруг хлынули у меня из глаз, я сидел, залитый слезами, и затыкался папиросой, которую мне вкладывали в рот.

— Из светлого карцера! — сказал кто-то опытный. — Он ничего не видит еще. Сейчас у него отойдут слезы, и он начнет видеть...

Может быть, действительно таков физиологический эффект после пяти суток изнурительного света. Но, наверное, я просто плакал от жалости к себе и счастья, что снова попал домой, что снова я со своими, что мы вместе, а когда вместе, то все совсем не так уж и страшно...

И вот теперь я опять уходил от своих сокамерников. И на этот раз навсегда. Мне помогали собирать вещи и отовсюду убежденно и страстно шептали: на волю! Идешь на волю! Это точно, я тебе говорю, идешь на волю! Запомни адрес, зайди, скажи жене, не забудь!.. И я, веря и не веря, твердил про себя адреса, жал руки и целовался, и я не знаю, сколько же это длилось, пока мы не услышали за дверью лязг ключей, скрип запоров, шорох открываемой двери. И руки моих товарищей почти выталкивают меня в коридор. В светлый и чистый коридор. Толстые веревочные широкие циновки выстилают кафельный пол. Широкие и высокие окна без всяких намордников забраны толстым, матовым, армированным проволокой стеклом. А верхние стекла самые нормальные, не тюремные, человечьи, и к ним прислонены зеленые верхушки тополей.

Меня ведут в самый конец коридора, заводят в какую-то камеру. Это и не камера, а вроде комнаты. По стенам лавки, в углу самый обыкновенный стол, а за ним стул. В комнате человек пять. Все они растеряны, тяжело дышат, в руках у них нелепые арестантские узлы из наволочек, рубашек, кальсон, набитых всяким тряпьем. И я понимаю, что выгляжу таким же растерянным и непонимающим. Сажусь на лавку и осматриваюсь. Двое пожилые, с лицами усталыми, глазами, полными тревожной надежды. Они не отрываясь смотрят на дверь. По комнате из угла в угол расхаживает, как тигр в клетке, красивый молодой человек в роскошном твидовом костюме, на элегантность которого не подействовала тюремная «баня», шмоны. Это был Гриша Филипповский, художник, мой будущий товарищ по этапу и лагерю.

Постепенно комната наполняется людьми. Каждый раз, когда гремит замок, все с надеждой обращаются к двери. Но в проеме показывается, придерживая на животе узел с барахлом, новый арестант. Наконец дверь распахивается по-особому широко, и в комнату по-хозяйски входит молодой лейтенант. Два надзирателя становятся у двери. Лейтенант наглажен, выбрит, пряжки пояса и портупея блестят, складочки на гимнастерке запланированные и аккуратные, от него пахнет одеколоном, хорошим табаком, домом, удачей, здоровьем, молодостью — всем, что ты когда-то считал естественным, нормально-человеческим. Он такой же, каким я был и каким по инерции продолжаю себя считать и дальше.

Нет, неправда, он не такой, как я, как другие. Это только первые недели я продолжал считать надзирателей, следователей такими же людьми, как я, ну, ошибающимися или же негодаями, но все же людьми. Потом у меня это прошло. Мгновенно. Однажды в нашу двадцать девятую надзиратели принесли арестанта с допроса. Это был старый человек, который нас поразили тем, что сидел в нашей двадцать девятой в 1911 году. Он был слаб, болен, и били его, очевидно, больше других. Когда два надзирателя его внесли, он, словно мешок, упал на пол у двери и лежал неподвижно. Мы не могли к нему сразу же броситься. потому что один надзиратель остался с ним в камере у приоткрытой двери, а другой вышел и через две минуты вернулся, пропустив вперед женщину в белом халате.

Признаюсь, что мы даже на какие-то мгновения забыли о нашем избитом товарище. Это была красивая, очень красивая молодая женщина. Мы не виде-

ли женщин много месяцев, это был представитель «того», утерянного мира. Мы не могли отвести от нее глаз. Не наклоняясь, красивая женщина в белом халате носком маленькой элегантной туфли поворачивала голову лежащего человека, его руки, крестом раскинутые на асфальтовом полу камеры, его ноги. Потом она обернулась к надзирателям и сказала: «Перелома нет, одни ушибы...»

Повернулась и, глядя на нас, но не видя, вышла из камеры. За ней вышли надзиратели. Вот тогда я понял сразу и навсегда, что они не такие, как мы. Не такие, какие мы были, и уж вовсе не такие, какие мы сейчас и какими мы будем. С этими нельзя вступать в человеческие отношения, нельзя к ним относиться, как к людям, они людьми только притворяются, и к ним нужно тоже относиться, притворяясь, что считаешь их за людей.

Но вернемся к лейтенанту. Он по-хозяйски твердо и уверенно сел за стол, раскрыл красивую кожаную папку и вынул оттуда бумаги большие, бумаги маленькие. Он начал вызывать по фамилиям, спрашивая имя, отчество, год рождения. Затем каждому протягивал небольшой клочок бумаги и говорил:

— Распишитесь здесь. И поставьте число.

Меня он вызвал третьим или четвертым. Не поднимая головы, он протянул мне небольшой четырехугольник белой бумаги. Это был типографски отпечатанный бланк с грифом «Совершенно секретно». Далее шло: «Постановление Особого совещания при НКВД от 21 июня 1938 года». Как в протоколе, бланк был разделен на две половины вертикальной чертой, на левой было напечатано: «Фамилия, имя, отчество, состав преступления». На правой: «Постановление». Внизу надлежало расписаться секретарю Особого совещания. В моем бланке в левой части было указано: «Разгон Лев Эммануилович, член ВКП(б)». В правой: «За контрреволюционную агитацию (КРА) приговорить к пяти годам исправительно-трудовых лагерей».

Я даже не прочитал, а моментально глазом охватил содержание листка, подписался, вспомнил, какое сегодня число, проставил его, вернул листок лейтенанту и отошел в сторону. Все остальные тоже проделывали это в полном молчании. Только один молодой арестант не сразу отдал постановление, а, держа его в руках, спросил лейтенанта:

— А жаловаться я имею право?

— Имеете, безусловно имеете, — предупредительно-вежливо ответил лейтенант.

— А куда?

— А куда хотите. Можете в Мосгико при МОСО, — столь же спокойно-вежливо сказал лейтенант.

Это была, очевидно, острота, произносимая не в первый раз — предложение жаловаться в Московскую артель инвалидов при Московском отделе социального обеспечения. Острота не была принята, на нее не последовало ответа, и процедура объявления приговоров закончилась быстро, казенно и малоинтересно. Лейтенант сложил свои бумажки в папку, встал и вышел из камеры. Мы остались одни и начали расспрашивать друг друга о сроках и буквах приговоров.

Может быть, оттого, что драматический обряд объявления приговора тут был заменен быстрой и скучной канцелярщиной, никто из нас как-то серьезно не отнесся ни к срокам, ни к тем буквам, которые заменяли статьи Уголовного кодекса и обозначали состав содеянного преступления. Все мы чрезвычайно наивно считали сроки заключения совершенно условными, нереальными. Мы полагали, что не имеет никакого значения, пять, восемь или десять лет определено нам сидеть в лагере (почему-то в постановлениях особого совещания была только такая градация: пять, восемь, десять). Через какое-то — безус-

ловно короткое — время все выяснится, и мы вернемся на волю, потому что то неестественное и страшное, что происходит, не может длиться долго!

Должны же пройти годы, чтобы уцелевшие поняли: это совершенно серьезно и всамделишно. Могли не освободить и не освобождали («до особого распоряжения») даже после окончания срока. И никого не выпустили ни на один день раньше.

Буквы «статьи» оказались более серьезными, нежели мы предполагали. Среди многих чудес того, что именовалось нашей юстицией, изобретение этих букв носило почти гениальный характер. Оно исключало всякую практическую возможность воздействовать на твою судьбу. Лейтенант был совершенно прав, советуя жаловаться в артель инвалидов. Это привело бы к такому же результату, как жалоба в прокуратуру, нарком, в Президиум ЦИК, ЦК и любые другие учреждения. Они не имели к этому прямого отношения. Все решал тот самый сержант, лейтенант или другой чин государственной безопасности, который вел дело и заранее знал, что нужно с тобой сделать. В довольно широких пределах. Он и избирал буквенный шифр, определяющий, собственно, всю дальнейшую жизнь человека.

А незначительные изменения в этом шифре играли огромную роль. «СВЭ» (социально-вредный элемент) была статьей «бытовой», она давалась бывшим уголовникам, простым нарушителям паспортного режима, проституткам, мелким вора, насильникам. Это были, по официальной терминологии, «социально близкие люди». По лагерным инструкциям только из них и полагалось назначать лагерную администрацию, службу, конторских служащих и специалистов. Конечно, это не соблюдалось, ибо необходимых лагерю врачей, экономистов, инженеров оказывалось до смешного мало среди воров и насильников. Даже поварами и каптерами их трудно было назначать в силу их специфического отношения к казенной собственности. Зато кадры комендантов, нарядчиков, работников УРЧ (учетно-распределительной части) и КВЧ (культурно-воспитательной части) состояли исключительно из уголовных.

Понятия «вредный» и «опасный» кажутся синонимами. А вот «СОЭ» (социально опасный элемент) была уже статьей политической. Правда, в длинной серии шифров заключенных 58-й статьи «СОЭ» был самым безобидным. Он давал право на скорейшее расконвоирование и вообще на ряд льгот. Следующими по тяжести были шифры «КРА» и «АСА» — контрреволюционная агитация и антисоветская агитация. Логической разницы здесь не было, но какая-то директивная имелась и в чем-то сказывалась. Дальше шла серия «КРД» — контрреволюционная деятельность, статья широко распространенная, включающая самые различные и не похожие друг на друга обвинения. В этот шифр иногда вклинивалась страшная буква «Т». «КРТД» означало террористическую деятельность. Людей с таким шифром, как правило, держали только на общих подконвойных работах, их никогда не назначали ни в службу, ни в контору. Иногда следователь с фантазией вставлял еще одно «Т» — не просто террористическая, а троцкистско-террористическая деятельность. Этих людей держали на штрафных лагунках, под особым контролем, в некоторых лагерях они попросту расстреливались по указаниям из Москвы об уничтожении троцкистов. Удивительно, но среди них я никогда не встречал ни одного бывшего члена партии, хоть сколько-нибудь и когда-нибудь имевшего отношения к троцкизму. Я знал случаи, когда дополнительное «Т» появлялось в формуляре во время очередной генпроверки, в результате ссоры с нарядчиком или начальником УРЧ из блатных. Знал я одного кузнеца, человека необык-

новенного таланта, который мог починить самую сложную машину, выковать самую сложную деталь. Его, невзирая на статью, держали в кузнице, не жалея специального конвоира. Серегин был крестьянином, никакого отношения к политике не имел. Второго декабря 1934 года он сидел в кузнице в далекой тамбовской деревне и объяснял своим односельчанам, какой следовало бы делать жнейку. Зашедший в кузницу человек сказал: «Слышь, Серегин, Кирова убили...»

— Ну и фиг с ним,— ответил Серегин, никогда в жизни не слышавший эту фамилию и уверенный, что речь идет о драке в соседней деревне во время престольного праздника.

От какого-то присутствовавшего доброхота слова эти стали известны в райотделе НКВД и легли в досье, заведенное на кузнеца. Через три года Серегин постановлением местной тройки получил десять лет с шифром, содержащим две страшные буквы «Т».

«Нехорошей» считалась также одна из самых распространенных статей — «ПШ», подозрение в шпионаже. Впрочем, людей с этой статьей было столько, что она стала почти бытовой, тем более что множество специалистов носило подобное клеймо. «ПШ» имели все, когда-либо жившие за границей, или имевшие родственников за границей, или знакомые с людьми, жившими за границей... Вообще, поскольку само понятие «подозрение» исключало какую бы ни было необходимость что-нибудь доказывать, подозреваемыми в шпионаже становились часто люди, никакого отношения к загранице не имевшие: ремесленники в маленьких городах, учителя иностранных языков, дворники, не угодившие чем-то своим тайным шефам...

Более определенной и ясной была «женская» статья: «ЧСИР» — член семьи изменника Родины. В отличие от всех других статей она официально узаконивала возможность ареста и осуждения за заключению людей, неповинных даже согласно нашей юстиции. Закон исходил из того, что у нас в стране существует институт заложников. Каждый должен был знать, что, оставаясь за границей или вообще будучи обвиненным в совершенном неопределенном и недоказуемом, именуемом «изменой Родине», он предаст на «поток и разграбление» своих близких, родных: жену, мать, отца, детей. Все они могли быть осуждены как «ЧСИР». Это в том случае, если их не могли обвинить, что они не донесли на своего мужа, отца,— такое каралось по статье 58-12. Сначала все чесеиры были сосредоточены в огромном Темниковском лагере — без права переписки, без права работы по специальности. Они жили, не имея никаких сведений о судьбе мужей, родителей, детей. Те, кого арестовывали беременными или брали с грудными детьми, имели счастье держать ребенка около себя, остальные умирали от полного неведения и ужаса за своих маленьких детей. Только через два-три года чесеиры стали рассылать по общим лагерям, где они получили возможность переписки.

Не следует думать, что Особое совещание и Спецтройки действительно совещались, обсуждали или даже просто читали то, что они подписывали. Летом 1937 года, когда вокруг меня уже было вырублено множество близких мне людей, сам я выгнан с работы, я зашел в Московский уголовный розыск к моему двоюродному брату — заместителю начальника МУРа. Мерик Горохов был престелстным и добрым человеком. Много лет он работал в пограничной охране, затем неизвестными мне путями оказался заместителем знаменитого Вуля — начальника МУРа, грозы московских бандитов и воров. Мерик был тихий еврей с русыми волосами и нестеровскими синими глазами. Я сидел у него в кабинете, когда вошел его

секретарь, держа в руках огромную — в несколько сотен листов — кипу документов. Не прерывая разговора со мной, Мерик синим карандашом подписывал внизу каждый лист, рядом с другой какой-то подписью. Он не заглядывал в эти листы, а привычно подмахивал. Изредка он прерывался, чтобы потрясти уставшей рукой.

— Что это такое ты подписывал? — заинтересованно спросил я.

— Я, понимаешь, член тройки. А это постановление об изоляции уголовных, социально вредных элементов,— ответил мне Мерик.

Я потом их видел — этих севеистов. Добрую половину из них составляли люди, которые никаких преступлений не совершали давным-давно. Когда-то они были осуждены, отбыли заключение, потом, что называется, «завязали», превратились в примерных обывателей, женились или вышли замуж, обзавелись детьми, стали рабочими или служащими. Среди них были «перекованные» с Беломорканала и Дмитлага, освобожденные досрочно за ударный труд, награжденные почетными знаками и даже орденами. Все это не имело никакого значения, они были «изолированы» — как деликатно называлось осуждение на заключение в лагерях.

Вот так же подписывали постановления Особого совещания и всяческих троек другие деятели. На этих бумагах были подписи и грифы: «Согласовано», «Утверждаю» и пр. Но почти все они подписывались таким же образом, и единственный, кто реально решал участь этих людей, был тот сержант, лейтенант или капитан, кто составлял бумагу, под которой подписывались остальные.

Я немного отвлекся от своего рассказа. Мы, осужденные, уже почти перезнакомились и долго ждали, что с нами станут делать дальше. А дальше нас всех вывели, предвительно обыскав и построив по двое, повели по бесконечным коридорам. Перед нами открывались и закрывались тюремные двери, потом мы перешагнули еще через один порог и очутились в почти забытом царстве зелени. То был огромный двор, заросший травой необыкновенной и пронзительной зелени. В траве желтели одуванчики и лютики, росли тополя... Мы не видели травы с тех пор, как попали в тюрьму. Дворики, куда нас водили на пятнадцатиминутную прогулку, были залиты асфальтом, ни одна травинка не пробивалась там. А здесь, как нам казалось, буйствовала зелень! В глубине двора стояло мрачное, нелепой округлой формы кирпичное здание. Это была бывшая тюремная церковь, превращенная в этапную тюрьму. Нас завели внутрь, мы зашагали по широкой лестнице на второй этаж. Вертухаи открыли камеру, и нас, человек восемь, толкнули в раскрывшуюся дверь, за которой слышался несдерживаемый поток голосов.

Оглушенный, я стоял у двери, около огромных металлических параш. После нашей камеры эта казалась залом. Хотя большие церковные окна и были забраны «намордниками», но даже они не могли помешать литься потоком света. Вдоль стен шли двухэтажные нары, заполненные тесно прижатыми друг к другу людьми. Было заполнено и пространство под нарами, на полу — «под юрцами». Некоторые устроились просто в середине камеры, и через них привычно переступали люди. В отличие от следственной тюрьмы, здесь никто не говорил шепотом. Все говорили громко, да иначе и нельзя было: никто ничего бы не расслышал. В камере было несколько сотен человек, и все они вели себя совершенно свободно: кто спал, кто делал зарядку, кто гулял по камере, спокойно перешагивая через лежащих на полу, кто разговаривал, а кто даже и пел...

Никаких мест для нас не было в этой камере, нас никто не встречал, не принимал, не было в этапной камере и следа железного порядка и самоорганизации нашей двадцать девятой камеры! Я медленно обводил глазами нары, надеясь увидеть знакомое лицо. Не было ни одного. Нет, одно лицо безумно знакомое, привычное, многожды виденное на фотографиях, не похожее ни на одно из сотен других. На нижних нарах сидел, поджав ноги по-турецки, человек, необыкновенно напоминавший Анатоля Франса на знаменитых портретах и фотографиях. Аккуратная белая, слегка раздвоенная борода, длинный, лукаво изогнутый нос, кремовая шелковая пижама и черная академическая ермолка на ослепительно седой голове. Он читал книгу, перелистывая ее грациозным и широким жестом. Может быть, почувствовав мой пристальный взгляд, он оторвался от книги и внимательно на меня посмотрел. Потом он наклонил приветственно голову и столь же изысканным жестом подозвал меня. Я пошел.

— Молодой человек! Здесь имеется подобие места, и, если вы не возражаете против общества скучного старика, пожалуйста, устраивайтесь!

Столь же округлыми движениями он принял мои вещи, подвинулся, уступая мне место рядом, и, когда уселся, сказал:

— Ну, что ж, будем знакомиться. Михаил Сергеевич Рошаковский. С кем имею честь?

Вот так я целый месяц провел рядом с одним из самых оригинальных и интересных людей среди многих, узанных мною за тюремные и лагерные годы.

Недаром фамилия его мне показалась несколько знакомой. Потом я понял, что встречал ее в толстых иллюстрированных томах истории русско-японской войны, еще где-нибудь в тех бесчисленных книгах, которые я по молодости лет читал без всякого разбора, руководствуясь истиснутым и неуправляемым любопытством. Биография Рошаковского была необыкновенной даже в наше время, когда необыкновенных биографий не занимать...

Начинал Рошаковский весьма обычно для представителя старинной дворянской семьи, в которой несколько поколений были моряками. Окончил Морской корпус. Из других ему подобных выделился лишь тем, что учился на одном курсе с некоторыми великими князьями, в частности с теми Владимировичами, которые получили затем немалую известность. Дружил с ними, что, очевидно, сыграло потом некоторую роль в его дальнейшей жизни. В отличие от тех, кто выбрал службу в Кронштадте, поближе ко двору, попросил послать его на Дальний Восток, в Тихоокеанскую эскадру. Уехал в Порт-Артур и благодаря своим немалым способностям сделал быструю карьеру. К началу русско-японской войны Рошаковский командовал миноносцем «Стремительный». Миноносец вошел в историю войны как весьма редкий пример военной удачи. Когда русская эскадра делала попытку прорваться из блокированного японцами Порт-Артура, «Стремительный» оказался единственным кораблем эскадры, которому удалось вырваться из окружения японских судов. За миноносцем погналась почти вся японская эскадра. Более быстроходные японские миноносцы уже настигали «Стремительный», и Рошаковскому ничего не оставалось делать, как заскочить в лежащий на пути китайский порт Чифу. Китай держал нейтралитет в войне, и корабль должны были интернировать китайцы. Но японцы уже и тогда плывать хотели на китайский нейтралитет.

Еле переводивший дух русский эсминец бросил якорь в Чифу, а на горизонте показалась японская эскадра, плотным кольцом оцепившая русский ко-

рабль. К «Стремительному» подплыл японский катер, японский офицер поднялся на борт русского корабля и в самой оскорбительной форме предложил Рошаковскому немедленно сдаться в плен — кораблю и всему экипажу. Когда Рошаковский ответил японцу (разговор шел по-английски) на языке посетителей портовых ночных кабаков, что предложение это для русских неприемлемо, японец внезапно бросился на капитана «Стремительного» и вцепился кривыми, но крепкими зубами в его руку...

— Видите, голубчик, — Рошаковский протянул мне изуродованный палец, — из-за этой скотины я отказался танцевать на балах, не протягивать же дамам такую клешиню!

По приказу капитана матросы «Стремительного» с толком и не без удовольствия отлупили японца и бросили его в катер. Японский офицер поплыл к своим, обещая русским, что через полчаса все они будут кормить рыб на морском дне. Не приходилось сомневаться в реальности угрозы. За эти полчаса Рошаковский высадил всю команду на берег и — последний оставшись на борту — самолично открыл кингстоны. На глазах у японского флота «Стремительный» с несущимся андреевским флагом ушел на дно. Рошаковский на лодке добрался до берега, куда японцы не посмели все же сунуться. Матросы были интернированы, а сам Рошаковский — не без соизволения китайских властей — бежал в Америку.

Из Соединенных Штатов он приехал в Петербург. На мрачном фоне поражений и неудач подвиг капитана «Стремительного» был особенно впечатляющ. Рошаковского осыпали орденами и всякими милостями. Вот тогда-то, может быть, и не без помощи своих великокняжеских сокурсников, он познакомился и подружился с царем. Да, подружился, насколько это возможно было при безволе-коварно-изменчивом характере Николая II. Но Рошаковский не использовал случай сделать мгновенную придворную карьеру. Да вообще — это странным мне казалось! — он совершенно не был карьеристом.

Готовилась к отплытию эскадра адмирала Рожественского, и Рошаковский добился назначения в эскадру. Он пережил печально-знаменитое плавание от Петербурга до Цусимского пролива, был участником Цусимского боя, подобран японцами из воды с другими русскими моряками, оставшимися в живых, до конца войны прожил в японском плену.

В плену Рошаковский работал над подробнейшей запиской о причинах поражения русского флота и о необходимости коренной его реорганизации. Но когда после войны, возвратившись в Россию, он эту записку пустил по инстанциям, ему не помогла и дружба с царем. Записка застряла в канцеляриях Морского министерства, царский дядя — генерал-адмирал — был вне себя от ярости, и морская карьера Рошаковского быстро сломалась. Тогда он сделал решительный шаг и подал в отставку. По просьбе царя он стал дипломатом. Но не простым, а чисто династическим. Рошаковский представлял не столько Россию, сколько своего державного приятеля и только в тех странах, где государи были родственниками русского царя: в Дании, в Греции, в герцогстве Дармштадтском... Каждое лето Рошаковский проводил в Ливадии, в гостях у Николая.

Я верю словам Рошаковского, что он никогда не был придворным подлизалой и не использовал свои отношения с самодержцем ради карьеры и обогащения. Связи с царем он использовал только тогда, когда началась первая мировая война. В своей погибшей среди канцелярских бумаг записка Рошаковский утверждал, что самым главным флотом России должен стать совершенно новый флот — северный. Что необходимо использовать незамерзающие полярные

порты для снабжения России, необходимо проложить железную дорогу между Мурманском и Петербургом...

В 1914 году Рошаковский бросает дипломатическое ведомство и возвращается на военную службу. В нарушение всех правил чиновничества он получает звание контр-адмирала и назначение генерал-губернатором Кольского полуострова с почти неограниченными полномочиями.

Он был способным колониальным администратором — Рошаковский. Совсем таким, как почитаемые им коллеги из английских и нидерландских колоний. Мурманскую дорогу строили военнопленные, тысячи китайцев, привезенных из-за тридевять земель. Рошаковский не жалел ни людей, ни денег. А пока дорога строилась, он организовал доставку снарядов из Англии в новый порт Романов, откуда они перевозились до ближайшей станции на оленях.

Рошаковский до того был занят новым делом, что почти и не виделся со своим державным дружкой. Пока его обухом по голове не стукнули революция и отречение царя от престола. Рошаковский знал, что Михаил, которому царь передал свои спутавшиеся бразды, имеет способности к царствованию еще более скромные, чем Николай...

— Покойный наш государь был человеком изумительного воспитания, очень деликатный, хорошо знавший свое царское ремесло. Он знал, как и с кем разговаривать, да-да — превосходно это умел! Памяти был необыкновенной и понимания особенностей и деликатности разговора... С гусаром разговаривал иначе, чем с конногвардейцем, с семеновцем по-другому, чем с преображенцем... Мог говорить с любым профессором и с мужиком умел запросто разговаривать! А что еще требуется в конце концов от царя? Ну, от русского царя еще, конечно, требуется способность управлять державой. И государь мог бы это делать, если бы не его проклятая деликатность, неуверенный характер да эта огромная, ну огромнейшая же орава бездельников царской фамилии! Мало им всего, что имели, каждый еще лез в советники, руководители, в управляющие... А государь не имел сил и характера своего отца. И еще семья, такое тяжкое горе в семье!..

— Это вы про царицу?

— Ну, сударь мой, что же вы вслед за этими за репортёршиками будете гадости про нее говорить? Что она с Распутиным, что ли, спала? Государыня была глубоко несчастной женщиной... Понимаете, рождаются одни девочки, одни девочки... Престол русский уходит из семьи, прерывается прямое престолонаследие, она считает себя виноватой... И истеричка при этом — бегает по монастырям. Бьет поклонны, выпрашивает у бога наследника... А когда рождается наследник, выясняется, что он вроде и не жилец! Она не только Распутину, черту с рогами могла душу заложить, чтобы спасти сына!.. Вот так, батенька. А Михаил Александрович был милейший человек, но только в полку. И даже не в гвардейском, а лишь в армейском полку, где-нибудь в Калуге. И не выше подполковника. Для командования полком не годился — был застенчив, жалостлив, терпеть не мог придворных церемоний, адвокатишку какого-нибудь паршивого стеснялся, как барышня провинциальная кавалера... А ведь учили на царя! Учили без всякой такой пользы — бесполезное, батенька, было дело!

Рошаковский примчался в Петроград на другой же день после того, как Михаил — вслед за братом — отрекся от престола. И больше уже никаких иллюзий не строил.

— Развалилась империя. Да-с. Ну, эти субчики — министры, начальники департаментов, сенаторы — все они гроша ломаного не стоили. Без роду, без

племени, живут от казны, ни достоинства, ни чести — зависят только от службы, от карьеры. И ради нее на все готовы. Говорят и делают только то, что может понравиться государю, государыне, великим князьям. Да что там — государевой фамилии! Всякой сволочи хотят нравиться, если только это поможет им удержаться. Распутину — Распутину! Иллиодору — Иллиодору! Иоанну Кронштадтскому — и ему!.. О России — никто не думал! Ну, а коренные русаки, настоящая русская-то аристократия, они плавать хотели! Служить им — без надобностей, денег не нужно, да еще и унижаться не привыкли. И повыводились, конечно, многие. А эти, из купцов, так и вовсе ничегошеньки не поняли. Думали, что можно годами играть в парламент. Научился, болван, сухой херес пить за обедом и думает, что уже спикером стать может!

— Да вы марксист настоящий!

— Монархист я, батенька, а не марксист! Вашего этого Маркса и не читывал никогда и читать не буду. Все ждут умных советов от евреев! Каждый губернатор держал около себя умного еврея, советовался с ним, себе не верил, других русских считал глупее... Конечно, евреи — народ умный, огонь и воду прошел, так ведь если считать, что ум от страданий, то русские не глупее должны быть! А ваш Маркс — он у вас, как умный еврей при губернаторе... Да-с. Разваливается Россия. И каждый от нее урвать хочет, хоть чем-нибудь поживиться... Бардак я застал в Петрограде поистине вавилонский. Служить некому, да и незачем...

И Рошаковский немедленно покинул Россию. Он стал первым эмигрантом. Он прибыл в Стокгольм почти одновременно с группой политических эмигрантов, ехавших в Россию из Швейцарии, через воюющую Германию, в «пломбированном вагоне»... Рошаковский с его знаниями, энергией и репутацией довольно быстро нашел себе высокооплачиваемую работу в судостроительной фирме, казалось, что он навсегда отошел от какой бы то ни было политической деятельности.

Пока не началась гражданская война. Здесь он занял позицию настолько странную для человека его убеждений, что в этом к нему приезжали утверждаться делегаты от Колчака, от Деникина. Технический директор судостроительной фирмы начал выступать в печати, на собраниях, писать брошюры и страстные статьи, обращаться к русским офицерам в белых армиях. Рошаковский всех их убеждал, что победа «Белого дела» означает полное крушение России как суверенного и великого государства. Победа белогвардейцев означает, что Россия станет на десятки, если не сотни лет фактической колонией иностранцев. Что за победу в гражданской войне бывшие правящие классы заплатят страшной ценой расчленения империи и полной потерей независимости. И что есть лишь одна сила, способная сохранить единую и неделимую Россию, — большевики. Только победа большевиков может сохранить Российскую империю и воссоздать, да и расширить ее могущество.

Фирма уволила своего директора, вставшего в большевизм, имя его было проклято как имя изменника, в него стреляли белогвардейцы, а Рошаковский упрямо отбивался от всех нападков и заключал пари с теми представителями шведской аристократии, которым было смешно и весело продолжать дружить с этим взбесившимся русским.

В начале тридцатых годов овдовевший Рошаковский, совершенно одинокий, не имевший детей, дико страдавший от ностальгии, попросился на родину. В Москве его приняли с редким почтением. Он был назначен главным консультантом по военному судостроению, ему дали почти все, что могли дать: высо-

кое жалование, квартиру, пайки, машину... С ним беседовал Сталин, он часто бывал у Ворошилова. В 1937 году его натурально посадили, и, долго продержав в тюрьме без допросов, постановлением Особого совещания дали пять лет как «СОЭ» — «социально опасному элементу». В этом качестве я его и застал в этапной камере Бутырской тюрьмы.

Рощаковский был мне бесконечно интересен, настолько, что почти все время я проводил в разговорах с ним. Он стал для меня настоящим открытием. Впервые я понял, что значит быть «воспитанным человеком». Он ел деревянной ложкой тюремную баланду так красиво, что невозможно было отвести глаз. В дикой и омерзительной жизни огромной камеры, набитой людьми, которые тут же при всех едят невкусную пищу, отрыгивают, мучаются распирающими их газами, пользуются вонючей парашей, отравляют воздух зловонием немых, потных тел, в этой обстановке Рощаковский вел себя так, что ничего в нем не раздражало окружающих, не оскорбляло слуха, зрения. Он был прост, естествен в обращении с любым человеком, ни тени фамильярности, высокомерия, желания подладиться под собеседника или же чем-то его унижить, загнать в угол эрудицией, опытом.

Это было просто удивительно! Он — убежденный монархист, националист, а следовательно, и антисемит. Я же коммунист, интернационалист и еврей. Мы спорили почти все время. И выяснилось, что можно спорить с полностью инакововерующим, не раздражаясь, не впадая в ожесточение, с уважением друг к другу.

Но не воспитанность отличала его от всех людей, с которыми я встречался в тюрьме. Он был единственным, кто был счастлив. Да-да, совершенно счастлив и этого не скрывал.

Я знал людей, которые внешне тоже выражали свое удовольствие. Но это было никаким не счастьем, а самым обыкновенным злорадством. Таким, например, был Цедербаум — брат Мартова, высокий, неумный и недобрый человек. Он множество лет провел в ссылке и весьма развратился бездеятельной и привилегированной жизнью знатного ссыльного в относительно либеральные времена. Цедербаум с удовольствием вспоминал, как он жил ссыльным в каком-то областном или окружном городе — не помню, в каком. До революции он имел отношение к аппарату Второго Интернационала, его знали — вероятно, именно как брата Мартова — все деятели Второго Интернационала, которым повезло больше, нежели их русским коллегам. В день его рождения к особняку, где жил ссыльный, подкатывали одна за другой машины с начальниками местного ГПУ. Каждый привозил огромный торт, поздравлял своего подопечного и вручал телеграмму от одного из премьер-министров «дружественных» стран. Тогда многие европейские премьер-министры были социалистами — во Франции, Бельгии, Швеции, Норвегии, еще где-то... Пышными и многозначительными словами они поздравляли своего друга, и тень их правительственного величия падала на Цедербаума, который начинал себя чувствовать почти премьером.

Конечно, все это идиотское благополучие в 1937 году лопнуло, Цедербаума посадили и привезли в Москву. Но он так ничего не понял и был убежден, что и дальше будет жить в привилегированной ссылке в ожидании лучших дней. Он не подозревал, что его ждет каторжный труд в лагере или голод тюремной камеры, а под конец — пуля в затылок при очередной «ликвидации» по присланному из Москвы спискам. Пока что он упивался радостным чувством мести, злорадства. Демонстрируя, что его — старого тюрем-

ного сидельца — ничего не смущает, он непрерывно ходил по камере и мурлыкал под нос французские песенки. Иногда он останавливался перед каким-нибудь совершенно убитым и раздавленным человеком, внимательно в него всматривался и сочувственно спрашивал:

— Что с вами, коллега? Что случилось? На вас смотреть просто страшно! Что произошло?... А-а-а! Не понял сразу. Вас посадили в тюрьму! Вот что, оказывается, вас огорчает, поражает, удивляет, убивает! А когда это вы делали с другими, то вас это не огорчало, не поражало, не удивляло, не убивало... Других, значит, можно, даже нужно! А вот вас, оказывается, нельзя! Ох-хо-хо!.. Нет, голубчик, про все это уже давным-давно было написано: и в Библии, и в элементарном учебнике истории... Просто вы никогда ничему не учились. Ну, поучитесь, коллега, может, и поумнеете...

Рощаковский совершенно не злорадствовал, ему не было присуще чувство мести, он был счастлив тем, что, по его убеждению, наконец-то дождался того, во что страстно верил.

— Да, вы молоды, вам этого не понять: пройти через такие муки разгрома всего дорогого, жить в страданиях, веря в воскрешение этого дорогого, — и дожидаться! Бог надо мною смилостивился, дал мне к концу моей жизни увидеть настоящее счастье!

— Какое же?

— А хотя бы вот эту тюрьму. Я дождался того, что увидел тюрьмы, набитые коммунистами, этими — как их? — коминтерновцами, евреями, всеми политиками, которые так и не понимают, что же с ними происходит. Вот поглядите на них, милейший Лев Эммануилович, — крупные посты занимали в государстве. По-нашему, по-старому директора департаментов, товарищи министров, члены государственного совета... Ну, при нас такие хоть политикой не занимались, а ведь эти всю жизнь только политикой и занимались... И все равно ничегошеньки не понимают! Ни того, что с Россией происходит, ни того, что с ними происходит. Все думают, дурни, что ошибка какая-то случилась. А я не политик, я просто думающий русский человек — все время ждал этого и надеялся на него, на великого человека, наконец-то ниспосланного нашей многострадальной родине...

— Ну, объясните мне, одному из дураков, что же происходит?

— Происходит, батенька, сызнова, как когда-то после Смутного времени, становление великого русского национального государства с его великими национальными задачами.

— Это какими же?

— А это — превращение России в самое могучее, диктующее другим народам свою волю государство! Это воссоединение России в ее старых границах, это присоединение Галиции, это захват Балкан, это решение вопроса о Дарданеллах и выход России в Средиземное море, это укрепление России на Ближнем Востоке, это наше проникновение в сердце Европы — в Богемию и Моравию, в Чехию и Словакию. наш выход на Венгерскую равнину... Объединить, железом и кровью объединить всех славян в сверхмогучее государство — вот исконная и великая задача, которую не сумели выполнить Романовы и что суждено сделать другим, более великим людям...

— Ну, вот уже и мадьяр включили в славянское государство! Так они славян терпеть не могут... У румын, кроме православия, что общего со славянами? А народы Средней Азии, они что, тоже входят в славянский союз?

— Ну, батенька, сартам, киргизам, башкирам —

всем им суждено быть нашей колонией всегда и до конца веков! Да и вообще государство — это не благотворительное заведение! Вам, евреям, уже давно забывшим о собственном государстве, этого не понять! Вы заняты вещами благородными и красивыми: философией, искусством, социальными там теориями... А государство — оно может быть только национальным, и делается такое государство не поэтами и музыкантами, а холодными, железными людьми... Ах, как я был бы счастлив: дожить бы, когда этот великий, нет — величайший человек! — поймет полностью свою задачу, станет основателем новой русской династии — Иосифом Первым!..

— Так он же не русский. И никакой не славянин...

— Ну и что? Во всех государствах основателями новых и прочных династий были чужаки. В Англии — Ганноверы, в Швеции — Бернадоты, в России — Гольштейн-Готторпы... Это не имеет никакого значения! Слушайте, а дети у него есть? Сыновья?

...Я вспомнил Яшу Джугашвили, его фанатическую скромность, одержимую честность и рыцарственность, его нелюбовь к отцу, отцовскому коварству...

— Я хорошо знаю человека, которого вы пророчите в цесаревичи. Нет, из него царя не сделать!..

— Ну и что! Убьет его. Как это сделал Иван, как сделал Петр. А младшего сына воспитает, чтобы был царем! А нет младшего — родит, возьмет на воспитание; человек, который основывает династию, всегда подготовит себе преемников!

— В одном своем фельетоне Михаил Кольцов писал о чем-то, что это так же невозможно, как невозможно себе представить Сталина во фраке или мундире с генеральскими погонами...

— Дурак ваш этот фельетонщик! Кольцов — еврей, наверное, и не понимает государственного таланта. А Сталин — он еще будет ходить в эполетах фельдмаршальских, и вокруг него свита в генеральских погонах, и трястись перед ним начнут так, как перед Петром не тряслись, и Николай Павлович окажется по сравнению с ним либералишкой жалким.

— Значит, будут у нас и звания — тайный советник, действительный статский — и мундиры с шитьем?

— Обязательно будут. И звания — ну, может, как-нибудь иначе зваться станут, — и мундиры с шитьем, и всякие другие штуки и побрякушки, без чего никогда не обходятся в настоящем государстве.

— И классы?

— Это какие классы? Ах, сословия! Ну конечно, будут. Будет сословие государственных чиновников, сословие ученых, и рабочие будут, и крестьяне... Будет и аристократия своя, из которой станут выходить те, кто управляет государством, поставляют вышших чиновников, дипломатов...

— Наследственная аристократия?

— Голубчик, перестаньте притворяться дурачком и задавать мне глупейшие вопросы! Конечно, как и положено, элита будет производить элиту, чиновники — чиновников, инженеры — инженеров, рабочие — рабочих, крестьяне — крестьян... Дети министров рабочими не пойдут, да и профессорские дочки не станут выходить замуж за ваших колхозников... И перегородки сословные в России новой будут выше и крепче, чем в старой. Потому что покончат, батенька, с этой свободой плевать государству в лицо, с этой расхлябанностью интеллигентской, со всем этим наследием некрасовским. «Выдь на Волгу!..» Подумаешь! Этого некрасовского мужика скрутят в бараний рог, он и пикнуть не посмеет, к земле будет прикреплен и работать станет не за совесть, а за страх! И рабочий будет работать так же. Пока не поймет, что на нем верхом выехали, — так за совесть, а когда поймет, так

за страх... Страху на Руси хватит — я вам точно говорю!.. Ишь, «Николай Кровавый»!.. Это же сказать такое про покойного государя — человека тихого, деликатного, из которого настоящего самодержца не могло никогда быть! Вот новый наш государь — этот покажет всем, какой должна быть власть в государстве! Конечно, на первых порах — пережмет, да, пережмет... Потому что, — Рошаковский нагнулся к моему уху, — всех своих друзей бывших, всех своих товарищей, всех перебить должен!.. А это — это как лавина: убивать будут кого надобно и кого не надобно, в России всегда есть кого убивать. И есть кому убивать!..

Очень мне стало интересно в России. Интересно, странно сначала. Отвык, знаете, от России, от русского духа. А приехал, осмотрелся и увидел, что духа этого много. Знаете, там, в Швеции, мне казалось, что со старым — и хорошим, и плохим — в России ну если не покончено, так все же почти покончено. Я читал книги про большевиков, много читал, писателей ваших читал — Пильняка, Gladкова, еще каких-то... Мне даже казалось, что новый русский человек чем-то с западным схож становится. Целовой, расчетливый, все взвешивающий, все умеющий... Оказывается, ничего подобного! Правда, встречал я и таких, кого любой крупный хозяин возьмет в управляющие и большие деньги станет ему платить. Но на поверку — или еврей, или же старый эмигрант, служил у Крупина, у Эриксона... А русские — они, пожалуй, остались такие же, и еще много пройдет времени и много крови будет пролито, пока новый Петр из них выбьет старомосковскую дурь, лень, мягкотелость.

Военные, генералы ваши — они талантливы! Это да! Не меньше, чем наполеоновские маршалы. Встречался я с Тухачевским, с Муклевичем — умные были, очень способные люди. Жаль, жаль, что их постреляли. Чтобы новых вырастить, всегда нужна новая и большая война. А война — она ведь не только героев родит, но и дерьма всякого достаточно. Жалко мне, что пока не увидел я в нынешних русских одного важного качества — чувства достоинства, что ли. В старой России оно было. И было что давать этому чувству. Во-первых, дворянство. Пусть ты самый задрипанный и бедный дворянин, но дворянин! Твое достоинство охраняют законы, царские указы. Тебе никто не может тыкать, никто тебя не смеет материть, никто тебя пороть не может, пока ты не лишен дворянства по суду. Старший офицер не может оскорбить младшего — на дуэль вызовет! В армии, а особенно в гвардии, есть чувство корпоративности, все следят, чтобы никто не посмел нарушить права дворянина. Знаете эту историю с государем Александром Третьим, когда он еще наследником был? Под горячую руку, на параде, где он командовал, выматерил одного поручика. Тот ему письмо: дескать, так как я наследника престола на дуэль вызвать не могу, то требую, чтобы вы письменно извинились передо мною. Если к такому-то часу не получу извинения — покончу самоубийством. Ну, как известно, Александр был царь умный и толковый, но грубоватый человек. Не извинился. И офицер этот, конечно, застрелился. Так Александр Николаевич заставил сына идти за гробом этого офицера, которого хоронила вся гвардия, пешком через весь Петербург! В вашей партии этого корпоративного духа нет и не может быть, она управляется сверху, и правильно, для того она и существует.

...А у не дворян — власть и сила денег. Если у тебя голова варит, если ты богат — тебя никто оскорбить не посмеет! К тому же в России, как и во всем мире, государственная служба давала великие преимущества. Какой-нибудь сын дьячка, что выучился на доктора, обнаружил способность хорошо людей ре-

зять — он через двадцать пять лет становился профессором, получал полный пенсион действительного статского или тайного, а то и действительного тайного. Он, этот дьячков сын, уже и высокопревосходительство, у него уже и ленты, и звезды орденские, и никто у него их отнять не может, и получил он их не выслуживаясь, а служа... Вот так-то. А у вас, батенька, я почуял наверху такое холуйство, какое у нас было только в уездной полиции. И то: у человека ни звания, ни денег, сегодня ты министр, а завтра тебя выгонят, кем станешь? Пыжатыся, а понимают свою полную зависимость от вышестоящего. Это правильно, пока ломаетесь старое, пока кончаетесь со всеми привычками, выработанными, когда все были партийными товарищами; а потом надобно или дворянство восстанавливать, или же как на Западе, где человеку достоинство даст свобода выражения своей личности. Но для нас, русских, это, пожалуй, не подходит. Россия — страна, где должна быть настоящая монархия, не английская, не шведская, а русская, самодержавная. Да-да, батенька, не смотрите на меня как на ископаемое! Это когда-нибудь, через сто — двести лет, мы сможем позволить себе роскошь завести свободное государство. А теперь, теперь только самодержавие! У вас срок небольшой, вы человек еще молодой, вы увидите такое самодержавие, какого на Руси не было со времен Петра! Да что там Петра! При Петре не было поездов, самолетов, телефона, телеграфа. Там самодержавие умерялось пространствами, патриархальностью. А вот теперешнее самодержавие будет таким, какого в истории никогда не было! И даст это прибыль нашему государству необыкновенную. Ну, и убытки народу тоже порядочные... Не без этого.

...Марков, Хвостов, союзники эти — они у меня всегда вызывали стыд и отвращение. Это, конечно, были подонки и хамы. А то, что государь им покровительствовал, так это от слабости характера и от одиочества. Одни из него сосут деньги и ордена, другие открыто презирают, третьи ненавидят и думают только, как бы его убить... А ведь и он человек, и ему хочется, чтобы хоть кто-то его любил, портреты его носил...

Черта оседлости, процентная норма для евреев — это все были пережитки дикости, неумения управлять. Вместо того чтобы распустить тетиву, лук все время держали согнутым. Вот он и распрямился. Я евреев почитаю людьми не менее почтенными, чем любые другие. Скорее наоборот: очень умны, способны, надежны; как администратор, всегда предпочитал иметь дело с евреями. Но когда я сейчас приехал в Россию, я себя почувствовал индусом, который после долгого отсутствия вернулся в Индию. И в Индии этой роль англичан выполняли евреи. Я понимаю: естественно, они делали революцию, они и плодами ее хотят пользоваться. Но евреи не материал для создания русского государства. Вы нация не государственная, да вы просто не понимаете самодовлеющей ценности государства! И вам в новом русском государстве опять придется уйти на старое место. Жаль мне вас, батенька, но куда не денешься!

Да-да, будет государственный антисемитизм. И снова будет процентная норма в университетах, и снова перестанут принимать евреев в ведомство иностранных дел, в полицию, в жандармерию, выключат их из государственной элиты... Ну, не обязательно черта оседлости, теперь это трудненько восстановить, да и не требуется. А если потребуются, то не будет как раньше, когда евреям предоставили для проживания пятнадцать самых лучших, самых южных и плодородных губерний! Теперь, когда захочет, загонит он евреев к черту на куличики, за можай, в самую тундру, тайгу! И никто не пикнет! Влас Дорошевич не наплю-

ет за это в морду в каком-нибудь фельетоне!.. Понимаете, дело ведь не в пользу для государства! Ну, как же вы не понимаете? Для государства, для нации в целом исключение нескольких миллионов самых талантливых, образованных людей из управления, производства, науки принесет огромные убытки. Но когда создастся национальное государство, когда нужно повести за собой народ — необходим лозунг всем понятный, всем ясный, ну, вот как ваш этот знаменитый: «Грабь награбленное!». В цивилизованной Германии малокультурный и малоцивилизованный Гитлер пришел к власти, сказав: «Германия для немцев!». И пожалуйста — от цивилизованной, интеллигентной, философской Германии пух только полетел, одни рожки да ножки остались! И у нас выкинут этот лозунг: «Россия для русских!». Неминуемо, неизбежно! А за этим лозунгом пойдут все, для кого евреи конкуренты! Пойдут чиновники, профессура, журналисты, литераторы... Пойдут продавцы, приказчики, дантисты, врачи... Дело, конечно, некрасивое, и совестью покривить придется... Так ведь дело привычное! Когда выгодно, то благородные слова для этого найдутся! Ничто так не возбуждает национальную или революционную совесть, как выгода! Вот вы небось с ужасом смотрите на меня — старого циника? А какой же я циник? Я просто старый и разумный человек. Да-да...

Однажды в Ливадии разговорился с Петром Аркадьевичем Столыпиным. Очень был умен и знал, что хочет делать — для государственного человека это почти самое главное! Но был он попорчен — как будто его моль поела! — своим губернаторством прошлым. Узок был, батенька. На Россию смотрел как на губернаторство, только большое. А это совсем, совсем другое дело! И опять же был слишком связан со своей средой. Земельный вопрос решал по-куриному, тихонько, будто у императорской России века впереди. А впереди-то не века — несколько лет. Пошел бы на принудительное отчуждение за большой выкуп земли у помещиков, да и отдал мужикам — и сто — двести лет Россия никакой бы революции не знала и не боялась! У Ллойд Джорджа хватило же ума и решимости. Своей земли не было, у родичей не было, смотрел вперед и думал о пользе государства, а не сословия. Наши дворяне, да и капиталисты, проглядели они Россию из-за собственной жадности и глупости! Хорошо еще большевики нашлись, а не то — конец был бы русскому государству!

— А как вы к сменовеховцам относитесь? Вы читали этот сборник — «Смена вех»?

— Знаю, знаю, что вы хотите сказать! Читал я, сударь, эти сочинения, и газету их «Накануне» выписывал, да и разговаривал с некоторыми, когда по делам фирмы в Берлин ездил. Конечно, это у них разумная мысль — что большевики повернут к национальному государству, как только самые толковые из них поймут, что мировая революция — сказка для недоразвитых голов. И понимают они, что без самодержавия не обойтись. Но и тут русский интеллигент не может не взлелеять своей интеллигентской мечты: и чтобы русское государство было, да на западный манер — с партиями и парламентом... И чтобы самодержавие управляло Россией, но вполне цивилизованно и с оглядкой на газетчиков в Лондоне и Париже... А одной задницей сидеть на троне и парламентской скамье невозможно! Вот этого им не понять было! Но народ не глупый, нет, и многие из них приспособились, конечно, как этот Толстой, писатель. Или профессор Тарле. Но из них никаких государственных деятелей не вышло и выйти не могло. Кончилось тем, что просто-напросто пошли в холуи. Да и незадолго...

Как жилось, спрашиваете? Интересно, конечно, но

тоскливо. Отвык от российских порядков. От грязных сортиров, неподметенного коридора, от плохо помытых и холодных тарелок, от невкусного харча... Понимаю, пустяки это, но с тех пор, как приехал в Россию, ни разу вкусно не поел! Негде!

— Ну как негде? Неужто в московских ресторанах нельзя вкусно поесть? В «Метрополе»? В «Национале»?

— Ох, что же мне вам объяснять — невозможно это, батенька, потому что вы в своей жизни никогда вкусно не ели. Вы не понимаете, как ели у «Дона», у «Кюба», даже в «Московской» или у Тестова! Только в нескольких парижских ресторанах можно было так поесть! У государя так не кормили! А ваши эти рестораны со старыми названиями — харчевни простые, и некому там изготовить вкусное! Быстро, ах, быстро забывается старое! Вот пошел я в Художественный, посмотрел «Анну Каренину»... Ну, не выдержал! Воспользовался тем, что когда-то в Петербурге знаком был с Немировичем, прихожу к нему за кулисы и говорю: «Ну, Владимир Иванович, эти не знают, не видели, а вы-то бывали и на высочайших приемах, насмотрелись: как же допустить такое можете?! Каренин одет в мундир для большого приема, а треуголка у него для малого!».

Знаете, это свойство нас, русских, быстро забывать! И злишься, а ведь оно великое, ну прямо благотворительное качество! Сами испытаете! Лет через пятнадцать никто вам верить не будет, когда станете рассказывать о том, что было до тридцати седьмого! Ну что казни! Казни забудутся так же быстро, как и другое. Русский человек — самый сильный, самый пластичный, он все может! Вот пришел ко мне Новиков-Прибой, принес роман «Цусиму»! Залюбовался им: простой баталер, а ведь какую толстую книгу, целый роман, батенька, написал!

— Так «Цусима» все же не баталером написана, а писателем...

— Что?! А вы этот роман читали? Я прочел, с интересом прочел. Не писателем он написан, а баталером! Как он был, Новиков, баталером так баталером и остался, и роман его интересен только тем, что из него можно понять, как баталер смотрит на великие события и судьбы человеческие... Как ду-у-урака смотрит! Я с ним долго разговаривал, водку с ним пил. Пообтерся, свет посмотрел, в писатели ваши вышел, богатым стал, известным... А в глазах страх да этакая суетливость угодническая... Вы меня, старого, извините, батенька, но у всех у вас в глазах страх да угодничество. У последнего английского матроса не встретите этого...

— Не понимаю я вас... Вы сожалеете о страхе и угодничестве в глазах русских людей. А сами мечтаете о государстве, основанном на страхе, несправедливости, неравенстве, на полурабской жизни одних и величии других. А не думаете вы, что вместо величия будет обыкновенное свинство?

— Все вижу, все, батенька, вижу! Все убытки вижу! И вам, евреям, достанется, и русский человек еще хлебнет лиха! И ненавидеть Россию будут, и бояться ее будут — только никто и никогда ее не станет презирать, как это делали немцы при государе! Пройдут годы и годы, повыбьют и перемерут поколения, а великая Россия выпрямится, подомнет под себя другие, малые страны, и тогда исчезнет угодничество из глаз русских людей. Вы никогда не видели лицо англичанина, когда он приезжает в какой-нибудь Сингапур, в Индию, в Аравию?.. Вот такими будут лица и у русских! — Рощаковский даже привстал на нарах. Его покинуло обычное спокойствие, черная шапочка сбилась на бок, он уже походил не на французского академика, а скорее на неудачливого пророка из попов-расстриг.

Мне нужно было закончить разговор, я мог раскрытаться и нарушить наш негласный джентльменский регламент спора. Рощаковский это тоже понял. Он обаятельно улыбнулся, поправил шапочку, махнул маленькой сухой рукой и сказал про свою горячность матросскими, дико непристойными словами, которые у него звучали почти светски.

Наступил час ужина, в камеру внесли большие баки с чечевичной размазней, и мы перешли к своим обычным, простым камерным делам. Впервые и неожиданно мне стало жалко этого старика. Одинокого, совершенно одинокого в этой камере, в этой тюрьме, в этом городе и этой стране. Я здесь со своими, а он с кем?

...Почему же он так одинок, так отгорожен от всех какой-то невидимой, но непреодолимой стеной? Почему он, русский националист, счастливый тем, что осуществляется его мечта, так бесприютен в огромной камере, где столько русских людей, с кем его должно роднить великое — по его убеждению — чувство сонациональности? И почему единственным своим собеседником, ставшим ему здесь наиболее близким, он избрал еврея и коммуниста, по возрасту годного ему в младшие сыновья?.. И вообще, может ли эта категория людей, бывших хозяевами России, утратить свое ощущение неравенства с другими, могут ли они стать членами другого сообщества без чувства отвращения к нему, без сожаления об утраченном?..

Камера готовилась ко сну. Уже отужинали, уже окончились вечерние и, может быть, поэтому особенно тихие рассказы о когда-то прочитанных книгах, когда-то состоявшихся встречах. Существовало негласное, но строго соблюдаемое правило: о том, что происходит, о нашей будущей судьбе спорили только днем. Только днем жители камеры со всеми деталями — страшными и смешными — рассказывали о допросах, о своих следователях. Вечера же всегда были отданы тому, что наш староста Грибков называл «литературно-художественной частью»... Уже прошла вечерняя поверка; на нарах перестилалась одежда, служившая матрасами; уже из разных концов камеры слышались первые храпы; а я лежал на спине, смотрел на привычные и надоевшие грязные разводы досок верхних нар и все продолжал думать об этих людях.

А знал я до Рощаковского таких? У нас, в «Молодой гвардии», работал хромой художник Голицын. Был довольно простым парнем, рисовал не бог весть как, охотно подхалтуривал, любил иллюстрировать приключенческие книжки и весело оправдывался, когда его изобличали в том, что одни и те же рисунки он дает к самым разным рассказам самых разных авторов. Не было в нем ничего величественного, ничего ущербного, и я удивился, когда узнал, что Вася Голицын — самый настоящий князь, из «тех Голицыных»! И вдруг я вспомнил, что знал еще одного — не молодого и беспечного художника, а человека, принадлежавшего к сановному окружению царя, человека, известного историкам, интересного и не совсем обычного...

Я оглянулся на своего соседа. Рощаковский не спал. Как всегда, он аккуратно, ладно устроил свое ложе из толстого демисезонного пальто, в изголовье положил рюкзак, улелся поудобнее и, ожидая сна, задумчиво расчесывал пальцами франсовскую бородку.

— А Джунковского вы знали?

— Владимира Федоровича? Ну, как же! Самый был красивый свитский генерал! И к тому же вроде свояк государю... Открыто жил с великой княгиней Елизаветой Федоровной — сестрой государыни. Стал ее

любовником еще при жизни мужа — великого князя Сергея Александровича, а потом, когда Каляев князя бомбой того... и вовсе перестал стесняться. И, знаете, их никто — даже при дворе! — никто не осуждал... Этот царский дядя был совершенно редкостной скотиной! Хам, педераст, жил с дворцовыми гренадерами, бил по щекам полицейских. Государь покойный Александр Александрович очень любил своих братьев, но этого презирал и стыдился просто. Хотел его сослать подальше, в Ташкент, но там уже жил один проворовавший родственничек, да и неудобно — родной брат русского императора! Из Петербурга все же выставил — послал в Москву генерал-губернатором. А для приличия женили. Привезли из Дармштадта старшую дочь великого герцога. Я хорошо знал ее отца и брата — послом русским был там. Мелкие и бедные герцогихи, Вильгельм с ними со всеми обращался, как русский купец с приказчиками. Ну и такая удача! Одна дочь за наследника русской империи вышла, вторая стала женой брата императора. Конечно, знали, что за птица императорский брат, кому девочку отдают, так ведь разве принимают это во внимание при династических браках!

И вот молоденькая принцесса, романтическое создание, выросшая на Шиллере, Клейсте, попадает к этакому страшилищу! Ну, она сначала искала утешение в божественном. Только-только крестилась, стала такой ревностной православной, что даже привычные москвичи поражались. На всех заутренях, обеднях, всенощных... ездит по монастырям, службу на коленях целиком может простоять... Но к тому же приходится выполнять и придворную работу: приемы, обеды — не кто-нибудь ведь, а великая княгиня, тетка царя, сестра царицы! И молодость есть молодость, а рядом, рядом первый красавец Москвы — адъютант Сергея Александровича — полковник Джунковский. Красив был, красив и, знаете, благородной красотой красив был. И вел себя всегда как-то рыцарственно. Карьеры поэтому не сделал, хотя уж кому бы и делать, как не ему! Был генералом свиты Его Величества, московским губернатором, товарищем министра внутренних дел, командовал отдельным корпусом жандармов... А во время войны с большим трудом дивизию выпросил. И дальше командира дивизии так и не пошел! Елизавета Федоровна была тихоня-тихоня, а своего красавца толкала вперед, толкала, но уж больно странно вел себя Владимир Федорович! Хотя и молодцом, но не государственно! Понимает, батенька, принимает жандармскую службу, становится во главе ну как гебеу вашего и вдруг узнает, что какой-то депутат Государственной думы у них тайным агентом работает. Звонит он Родзянко и говорит ему, что вот, дескать, Михаил Владимирович, один мой тайный агент из охранки пробрался к вам в Думу депутатом. Так неудобно это, знаете, какой ни на есть, а парламент. Вызовите этого субчика и скажите, чтобы тихо и благородно подал в отставку. А этот агент был у большевиков чуть ли не первым человеком! Представляете, как взвыло Охранное отделение!

...Да, эта история с Малиновским мне была известна даже больше и лучше, чем Рошачовскому. Охранке выпала редкостная удача — ее сотрудник стал членом Центрального Комитета большевиков, одним из ближайших помощников Ленина, депутатом Думы. Его парламентская неприкосновенность пришлась как нельзя кстати охранке: можно было брать всех большевиков вокруг Малиновского, а самого провокатора не трогать. И вот все это рушится из-за странных, старомодных возрений шефа жандармов.

— А потом решает покончить с Распутиным — тот только-только прибрал к рукам Вырубову, а через нее и царицу. То ли Владимир Федорович на свое незакон-

ное родство с царской семьей понадеялся, то ли в своей Москве привык действовать запросто и без особых церемоний, но приказывает он своим агентам Распутина схватить да и выслать по месту прежнего соизволения — в Сибирь. Хо-хо! Ну и скандалчик получился в столице! Тут государыня уже на свою сестру и внимания не обратила. По приказу государя Джунковского уволили, велели ему выехать из Петербурга в свое крымское имение и без высочайшего соизволения оттуда не выезжать. Только когда война началась, еле допросился, чтобы на службу вернули.

— А вы после возвращения не слышали, что с ним, где он?

— Нет, не имел удовольствия больше с ним встречаться, никогда не слышал ни в России, ни за границей. Если уцелел в этой междурусской войне, живет, наверное, в эмиграции. А может, и умер — немолодой уже должен быть... Вы, батенька, что так заинтересовались Владимиром Федоровичем?

— Я знал его... Вернее, встречался с ним.

Наш долгий тихий разговор уже закончился, Рошачовский уснул — как всегда мгновенно, свернувшись калачиком и положив под щеку правую руку. Он и спал-то элегантно: тихо, спокойно, не беспокоя окружающих ни храпом, ни сопением, ни страдальческими длинными вздохами. А я долго не мог заснуть, я вспоминал свою встречу с Джунковским и все пытался поставить его рядом с Рошачовским, сравнить их, понять, почему они такие несхожие.

Это происходило всего десять лет назад, в 1928 году. Мне было двадцать, я только что провел вожатым свой первый пионерский месяц. Я молод, здоров, счастлив, удачлив, каждое утро — праздник, каждый новый день — интереснее и лучше предыдущего. Мой старший брат отдыхал в Крыму вместе с Варей Григорьевой — не то женой, не то невестой и, что мне тогда казалось более важным, секретарем нашей комсомольской ячейки. Мы договорились, что после лагеря я приеду к ним в Крым. Первый раз в жизни ехал на юг, первый раз в жизни, после Инкермана, подвезжая к Севастополю, увидел из окна вагона озерки воды между ржавыми пакгаузами — море!.. А потом мы бродили по Севастополю, трамваем поехали в Балаклаву и там сговорились с каким-то рыбаком, чтобы он нас морем отвез в Батилиман, где брат с женой жили.

Мы выгребли из тихой балаклавской бухты, прошли мимо высоких скал, на которых громоздились руины генуэзской крепости, и вышли в серо-синее и неспокойное открытое море. Рыбак поставил косой парус, лодка накренилась и резво понеслась мимо высоких отвесных скал Фиолента, мимо кудрявой зелени лесов, песчаных отмелей заливчиков.

Батилиман был совершенно редкостным для Крыма местом. Когда-то, в незапамятные геологические времена, половина высокой горы Кушкая обвалилась — так аккуратненько, будто гору ножом разрезали. Обрушившиеся скалы покрылись можжевельным лесом, непроходимыми зарослями ежевики. Море намыло огромные песчаные пляжи, разделенные накренившимися, но еще не упавшими скалами. И вот в этом пустынном месте, куда не успели попасть строители доходных дач, несколько писателей и художников соорудили себе дачи. Их было, кажется, семь — Короленко, Чирикова, художника Билибина... Дачи были самые простые, большей частью деревянные, небольшие. Исклечение составляла только дача Павла Николаевича Милюкова, двухэтажная, построенная из камня, с парадной лестницей, залой и библиотекой. В зале сейчас размещалась маленькая столовая, где раз в день кормили два-три десятка ку-

портников, приезжавших в Батилиман. Завтракать и ужинать надо было чем бог пошлет. А бог посылал немного. Из Батилимана до ближайшей татарской деревушки Хайты вела узкая конная тропа через горы, через перевал, называвшийся Турецким. Из Хайт можно было на повозке добраться до Байдар, где продавалось съестное. Но мы не унывали. Утром готовили какао на костре под скалой, днем собирали крабов, которых под камнями находили бесчисленное множество, и варили их в большом ведре. Прибой иногда забивал под скалы довольно крупных зеленух, и тогда мы обжирались рыбой. Нашей упорной борьбе за пропитание очень помогал приходящий старик крестьянин. Он являлся в наш маленький поселок почти каждый день — с большой корзиной, в которой лежали помидоры, баклажаны, бутылки с молодым вином, домашний сыр, маленькие вкусные хлебцы... Старик был высок, красив, очень живописен со своей развевающейся большой седой бородой, с живыми черными глазами под белыми густыми бровями. Носил он холщовые штаны, длинную посконную рубаху, на ногах — самодельные кожаные постолы. Продукты, которыми он торговал, были всегда свежими, недорогими. Старик нам нравился: не жаден, спокоен и обходителен.

Как и положено в двадцать лет, я был очень занят курортными развлечениями и размышлениями об одном человеке, оставшемся в Москве, и мало обращал внимания на тех, кто мне здесь попадался. И я даже не сразу удивился тому, что однажды застал нашего крестьянина-поставщика в пустой столовой. Он стоял возле книжного шкафа и читал какую-то книгу. Только потом я удивился своей ненаблюдательности. В библиотеке Милюкова давно уже были украдены все без исключения русские книги. Остались лишь иностранные, в основном английские, — их никто и никогда не трогал, они спокойно пылились в шкафах красного дерева, с деревянными бюстиками античных мудрецов.

Однажды мы компанией человек семь-восемь пошли на прогулку в горы у залива Ласпи. Мелкие и низкие горы заросли густым можжевельным лесом, очень скоро мы сбились с малозаметной тропы, а затем заблудились самым банальным образом: крутились вокруг одних и тех же горушек, устали, как черти, а главное, потеряли представление о том, где у нас море... Когда в нашей компании среди женщин началась нормальная паника, я нашел какую-то тропинку, и мы решили пойти по ней: должна же она нас куда-нибудь привести? И действительно, мы довольно быстро пришли к небольшому куску земли, расчищенному от зарослей. На краю бахчи, огорода и небольшого виноградника стояла белая хатка. Высокий старик, подвязывавший виноградные лозы, обернулся, и мы с радостью узнали в нем нашего кормильца. И он нам обрадовался, когда мы — уже со смехом — рассказали, как заблудились в можжевельном лесу.

Старик даже не спросил нас, голодны ли мы. Он предложил помыть руки, сесть за большой стол под окнами дома и сказал, что его сестра нас покормит. Из хатки вышла высокая и очень красивая — несмотря на возраст, седину и простоту одежды — женщина. Она быстро накрыла стол грубой, но белой скатертью, принесла глиняные миски с баклажанной икрой, простоквашей, домашней колбасой. Хозяин притащил довольно большую бутылку холодного домашнего вина и разлил по стаканам. Потом присел к краю стола и с удовольствием смотрел, как мы, повеселевшие и оживившиеся, насыщались им, перебывая друг друга, обсуждали наши приключения. Он изредка вставал, чтобы подлить вина, подложить колбасы и хлеба. Было очевидно, что гости у него — явление редкое и что мы ему приятны. И нам всем он был мил, и не

мне одному, наверное, показалось странным, что мы раньше даже не поинтересовались, как его зовут.

— Как ваше имя и отчество? — спросил я его.

— Владимир Федорович.

— А по фамилии как? — дополнила меня дотошная Варя.

— Джунковский.

— Вы случайно не были московским генерал-губернатором? — мгновенно спросил я, оправдывая свою курортную репутацию эрудита и остроумца.

Старик посмотрел на меня спокойно, внимательно, почти улыбаясь.

— Ну, если вы, молодой человек, столь осведомлены, то должны знать, что я им был действительно почти случайно...

Пожалуй, кроме меня и брата, в нашей молодой компании никто никогда не слышал эту фамилию. Но для всех нас встреча с живым генерал-губернатором была равносильна тому, как если бы мы встретились здесь, в тысячелетнем можжевельном лесу, с неандертальцем. Мы все повскакали с мест и окружили нашего хозяина. Сидя на лавке, он прихлебывал из стакана красное вино и спокойно рассказывал.

...Революцию он встретил на фронте. Прибывший туда комиссар Временного правительства, очевидно, знавший про него больше, чем мы, предложил ему уйти в отставку в связи с его отношениями с семьей бывшего царя. Джунковский уехал в Крым, где у него было небольшое имение. Там он философски наблюдал за всеми бурными событиями, потрясавшими Россию. Он сразу же и бесповоротно выключил себя из всякой политической борьбы. Когда в Крыму находилась белогвардейцы, категорически отказался от какого бы то ни было участия в «Белом движении» и ни разу не выехал из своего имения в Симферополь, Ялту или Севастополь. При Советской власти безропотно перебрался из барского дома в сторожку и спокойно смотрел, как в имении хозяйничают его бывшие работники и раненые матросы, присланные туда на отдых. Никто Джунковского не трогал, даже Землячка, которая была секретарем Крымского РКП(б), и та обошла его своим вниманием. Он никому не был нужен, а следовательно, и никому не был интересен.

Когда Советская власть в Крыму укрепилась, Джунковский считал неудобным оставаться в своем бывшем имении, где его с сестрой, как он сказал, «кормили по привычке». Он нанялся смотрителем на маяк Сарыч. Мы хорошо знали этот маленький маяк, стоявший на маленьком мысу, на краю залива Ласпи, совсем неподалеку от Тесселей. Возле маяка был крошечный, сложенный из камней домик для того единственного человека, который назывался «смотрителем» и который должен был каждую ночь зажигать неуклюжий старинный керосиновый фонарь маяка. Джунковский поселился со своей сестрой, фрейлиной государыни, в этом домике и жил в нем благополучно до первой чистки в своей новой советской карьере.

В 1924 году Джунковского «вычистили» с работы как бывшего царского сановника. Было очевидно, что ни на какую службу его не возьмут. Тогда он решил стать крестьянином. Арендновал кусок заброшенной земли в середине крымского заповедника, разбил огород и восстановил одичавший виноградник. Джунковский не торопился, он работал сам, не спеша. Да и спешить ему было незачем. За долгое южное лето он заготавливал себе на зиму немудреные крестьянские продукты. Излишки продавал в Батилимане или Тесселях, на вырученные деньги покупал простую одежду, немного книг. Зимой редко выходил из дома, вокруг которого была темнота. Гудел ветер в лесу, глухо внизу ревели море. Потом начиналась весна, а с нею и работа, нечастые встречи с людьми.

— ...Вы, конечно, вправе мне и не верить, — закончил свой рассказ Джунковский, — но я считаю, что мне очень повезло в старости. Как и для большинства людей моего возраста, активная и настоящая жизнь окончилась уже давно. Нет ничего глупее попыток ее искусственно продолжать. Есть только один способ достойно заканчивать жизнь: стараться быть здоровым, чтобы можно было никому не быть в тягость и иметь возможность спокойно размышлять обо всем хорошем и злом, умном и глупом, что ты совершил в прошлой жизни. Многие мои бывшие коллеги к тому глупому и недоброму, что они сделали до революции, немало прибавили. А думать об этом — выполнять программу естественного конца жизни — им некогда: нужно держаться на поверхности, вернее, барахтаться... Мне лучше. Мы с сестрой ни от кого не зависим, только от себя, от своего труда. Мы независимы в своем мышлении, привычках, слабостях, и бывает ли на свете лучшая старость? Поверьте мне, друзья, я по своим обязанностям знал многих стариков, которые в прошлом были известны, облечены властью... Я наносил им визиты, навещал, когда они заболели, провожал их в последний путь. Все они были уже глубоко несчастными людьми, мучившимися от немощи, болезней, удрученными тем, что лишились власти, к которой привыкли, тяжело страдавшими от недостаточного внимания государя... Какие же мы счастливые!

— А вы не... — начал кто-то из наших задавать ему вопрос.

— Нет, не жалею! — перебил его Джунковский. — Ни о каких утратах не жалею! Старики не должны жалеть о прошлом, они все уже взяли от жизни — и хорошее, и плохое. Пусть молодые сами строят свою жизнь. И не надо им мешать, не надо навязывать им свои взгляды, вкусы, симпатии. Ну зачем это?! Не нам, а им жить — пускай сами решают! Я так считаю, что после сорока лет человек обязан подчинять свои взгляды молодым, а после пятидесяти он вообще не имеет права заниматься никакой политикой...

Еще несколько раз я встречал — уже как старого знакомого — Джунковского в Батилимане. Торопясь купить у него продукты, я с ним почти не разговаривал, считая, что у меня в запасе если не вечность, то, во всяком случае, достаточно времени, чтобы порасспросить бывшего шефа жандармов о разных интересных мне штуках... Но вскоре же я уехал в Москву, новые и более для меня важные впечатления отодвинули встречу с Джунковским на задворки памяти. И я о нем вспомнил вот сейчас, лежа на нарах этапной камеры рядом с человеком, который знал Владимира Федоровича Джунковского совсем другим... Как по-разному кончают свою жизнь эти люди, познавшие власть, близость к ее вершине! И если я доживу до старости, к кому я буду ближе: к Джунковскому или Рошаковскому?...

Уже второй месяц мы сидели в этапной камере Бутырской тюрьмы. В этом огромном и шумном тюремном общежитии не было ужаса страшного и таинственного ожидания, все время сопровождающего тебя в следственной камере. Но не было и надежды, которая всегда живет рядом с ужасом. Было невероятное стремление к тому, чтобы уйти из тюрьмы, попасть в то неизвестное, что именуется «лагерем». Умом, конечно, мы понимали всю справедливость того тюремного мудреца, который в сортире чем-то острым написал на стенке: «Не грусти, входящий, и не радуйся, уходящий. Будь терпелив, ничему не удивляйся и жди худшего». Но так хотелось другого, пусть это другое и будет худшим! Когда нас выводили

на прогулку, я ходил по внутреннему медленному кругу, смотрел на вечернее небо, на котором уже зажигались первые послелетние звезды, и бормотал слова Багрицкого:

...Пускай голодным я стою у кухонь,
Вдыхая запах пиришества чужого,
Пускай истреплется моя одежда,
И сапоги о камни разобьются,
И песни разучусь я сочинять...
Что из того? Мне хочется иного...

И вот это, иное, наступило так же неотвратимо и неожиданно, как и тогда, несколько недель назад в двадцать девятой камере. Только мы успели позавтракать, потом разобратся на своем месте, вытереть тряпочкой ложку, спрятать остатки хлеба, и вдруг по камере пронеслось: «Этап! этап!..»

В наступившей тишине стало отчетливо слышно, как мимо дверей нашей камеры нестройно и тревожно топаят десятки, сотни ног. Гулко хлопали двери, и вся бывшая церковь наполнилась шумом движения, сдерживаемых голосов, зычных команд. Уже открылась кормушка, и вертухай, грозно осмотрев камеру, не сказал, а крикнул:

— Всем приготовиться с вещами! Ничего не оставлять!

И сразу камера превратилась в муравейник. Такой же внешне не организованный, копошащийся, мечущийся. А на самом деле, торопливый и целесообразный. Все подбирается, складывается: отдельно белье, одежда, продукты... Ничего нельзя связывать и увязывать: все равно разбросают на шмоне. Но нас уже приучили готовиться к шмону, чтобы выйти из него быстрее и с наименьшими потерями.

В этой суматохе я на какое-то время забыл о Рошаковском. Потом вспомнил и бросился в нему:

— Дайте я вам помогу!

— Благодарствую, Лев Эммануилович. Я ведь моряк, нас в корпусе учили...

И действительно, когда это он успел аккуратно уложить все свои вещи в прочный заграничный туристский рюкзак, в маленький, но емкий саквояж отличной мягкой кожи! Он переоделся во что-то прочное, элегантно, не пострадавшее от прожарок, от обысков, перехода из камеры в камеру...

Вот уже открывается дверь, и мы видим кусок коридора, полный вертухаев. Только не наших, тюремных, почти домашних, без оружия, в мягких сапогах. Эти, чужие, опоясаны портупеями, на них кобуры и сумки, у них торопливый, сухой, непреклонный вид — этапный конвой. Вологодский. (Нас все опытные арестанты предупреждали, что самый страшный, злой конвой из вологодцев.)

— Р-р-р-разобраться по алфавиту!

— Вот мы и тут будем рядом, милейший Лев Эммануилович!

Рошаковский стоит рядом со мной — спокойный, невозмутимый.

Начинается долгая-долгая процедура. Арестант подходит к двери и быстро отвечает на быстрые вопросы: «Инициалы полностью, год рождения, статья, срок?»

Потом он пропадает за дверью, куда-то по конвейеру. Наконец наша буква. Я «Ра», я раньше... Меня выносят в тюремный коридор, в сторону, где шмонают, перебрасывают, переводят, сортируют. Пока меня тянут за рукав, я уголком глаза слежу за дверью, сейчас из нее появится Рошаковский...

Но я вижу, как, придерживая руками набитые барахлом кальсоны, заменяющие ему тюремный сидор, выходит из камеры сумрачный профессор Рытов, а за ним уже Сахаров, Стенин. И уже около меня Гриша Филипповский, и захлопывается дверь камеры, все здесь, вся наша этапная камера. Кроме Рошаков-

ского... Его не вызвали, он остался один в этой огромной пустой камере, наполненной жалкими, смятыми следами жизни и судеб, которые так спокойно бросал в пасть своему молоху — государству его маленький, худенький пророк. Тогда, в суматохе этапа, этапного ожидания, этапного напряжения я быстро забыл Рощаковского. Через многие и многие годы моя память все чаще возвращалась к этому человеку, к спорам с ним. От тех споров у меня уже не осталось злости, желания убедить, переубедить. Были люди поумнее, и поумнее, и почеловечнее бывшего друга покойного нашего государя, и те попадались на этот же крючок — ничуть не менее страшный и злоедающий, нежели все подобные крючки.

Никогда больше я не слышал о Рощаковском. Ему могло повезти, он мог живьем добраться до места, попасть сразу же в слабкоманду, потом стать дневальным в бараке. И несколько лет до своего конца прожить относительно спокойно в полутемноте и вони барака, днем отдыхая от шума, криков, храпа, мата нарядчиков и бригадиров, хруста раздавливаемых вшей, стонов умирающих...

Не растерял ли он своего ощущения счастья? Хватило ли у него философского стоицизма, чтобы не утратить его перед оборотной и необратимой стороной своего идеала?

Принц

—... А ты кнацаешь этого принца! — удивленно сказал мне старший нарядчик Махиничев и поглядел вслед доходяге, которому я дал щепотку махорки на самокрутку.

— Какого принца? Вот этого? Почему ты его принцем зовешь?

— Так он и есть принц! У него это в формуляре написано. Только он черный принц. Но тихий из себя. Доплыл, как лебедь... Не вылезит из слабосилки.

На этого зека я обратил внимание давно. Он был восточник. Таких — выходцев из Ирана, стран Ближнего Востока — у нас было немало. На непривычном и страшном для них Севере они гибли быстро, почти неотвратимо. Стационар и слабосильная команда были заполнены ими. Сейчас, в начале торопливого северного лета, они, как перезимовавшие мухи, с подъема до отбоя сидели, греясь на еще негорячем солнце.

Но арестант, которого я «кнацал», то есть которому я покровительствовал, был особый, выделялся из них. Как и все, он одевался в остатки своей одежды, в тряпье. Пользы они лагерю не приносили, и казенной одежды им почти не давали. У «принца» было оливковое лицо, очень выразительные и грустные глаза. На вид — лет сорок, не больше.

Меня он привлек одним свойством: он никогда и ни у кого не просил покурить. Табак был самым дефицитным, самым драгоценным в лагере. Ценился больше пайки, больше любых шмоток. Не считалось зазорным, увидя кого-нибудь курящим, сказать ему: «Покурим?» И только самая последняя лагерная сволочь могла в этом случае ответить: «С начальником на разводе...» Никто свою самокрутку не докуривал — отдавал другим. Лагерные шакалы зорко следили за тем, кто закуривал, ходили следом и ныли: «Оставь десять...», «Дай на дымок...». Это значило: оставить последнюю затяжку. Впрочем, истосковавшемуся по табаку заключенному хватало и одной затяжки. Он бережно брал обслонявленный крошечный остаток цигарки, насаживал на острую деревянную щепочку,

а потом глубоко, изо всех сил своих сморщившихся легких затягивался — до самого конца, пока в мокрой газетной бумажке тлела последняя крошка махорки. Сладкая, одурманивающая волна обволакивала его, он бледнел еще больше, ноги подкашивались, он должен был тут же присесть, чтобы не упасть. Ни до этого, ни позже не видел я подобного действия самой обычной махорочной затяжки. Я это испытывал и на себе.

Заключенный, которого Махиничев назвал «принцом», никогда и ни у кого не просил покурить. О том, что ему сильно хочется курить, можно было догадываться по тому, какими глазами он провожал куривших, как глубоко и тайком — будто он его воровал — втягивал табачный дым, если кто-нибудь рядом курил. Тяжело смотреть на голодного человека. Но глядеть на страдания человека, томящегося по табаку, тоже нелегко. И когда я начал получать посылки из дома, то стал давать странно деликатному арестанту закрутку махорки, а то и спичечную коробку табака. И — это было уж действительно странно! — мне стоило труда уговорить его принять мой дар. Он был интеллигентен, прилично разговаривал по-русски, однажды, не сумев подобрать нужного русского слова, спросил, не разговариваю ли я по-английски... Я принимал его не то за коминтерновца, не то за богатого коммерсанта, не то за агента «Интеллидженс сервис»... Но у нас не принято спрашивать о биографии человека, о том, что его привело в тюрьму. И когда он ко мне несколько привык, беседы наши носили вполне безликий и светский характер.

...Но принц!!! Тут уже я ничего не мог сделать со своей неугасимой любознательностью! Однажды мы присели на лавочке покурить, и я осторожно стал его «раскалывать». Для этого и не потребовалось больших усилий. Очевидно, он испытывал ко мне симпатию, может, у него была потребность поделиться с кем-нибудь историей своей жизни.

Действительно, она была необыкновенной; история того, как очутился он в коми-зырянских лесах, выделялась своей необычностью даже на фоне всего необычайного, что тогда происходило со всеми нами.

...И в самом деле он был принц! Самый настоящий, доподлинный принц. Конечно, не из Бурбонов, Гогенцоллернов, Ганноверов. Он был афганский принц. Двоюродный брат знаменитого афганского короля Аманулла-Хана. Я хорошо помнил этого афганского «Петра Великого», помнил даже его внешность. Он был первым королем, который приехал в Советскую страну во время своего путешествия по Европе. Для московских комсомольцев живой король был невероятной экзотикой, и мы не стеснялись приходить к роскошному особняку на Софийской набережной — тому, где сейчас английское посольство, чтобы посмотреть, как из ворот дворца выезжает «ролл-ройс» с королем и королевой.

Известно, что Аманулла-Хан почти петровской рукой стал ограничивать власть крупных феодалов и реакционного духовенства, завел западные порядки, заигрывал с крохотной группой афганской интеллигенции. Своих родственников он послал учиться за границу, и мой знакомый по Первому лагерному пункту окончил один из самых привилегированных колледжей в Оксфорде. После чего приехал на родину, женился и проживал в Герате, где у него были главные поместья и те самые восточные дворцы, про которые мы читали в мировой литературе.

Он там и находился, когда в Афганистане началось восстание под руководством Бацаи-Сакао. Восстание, кажется, было инспирировано англичанами, в нем участвовали некоторые наиболее отсталые племена,

возбуждаемые духовенством, и на первых порах составившие имели большой успех. Бацаи-Сакао занял всю центральную часть страны, включая и ее столицу Кабул. Поскольку от всех членов царствующего дома аккурратно резал, то они драпали. Кто куда. Большинство бежало в Индию. Убежала туда и семья принца, находившаяся тогда в Кабуле.

Мой соллагерник не присоединился к ним, потому что центр страны был уже захвачен. Бежать он мог только в соседнюю, близкую от Герата Советскую Россию. У нас принца из династии, с которой мы заигрывали, приняли со всем почетом. Его отвезли в Ташкент, отвели прекрасный особняк, полный слуг, и стал принц вести свою почти обычную жизнь принца из восточной сказки. Тем более что, как у всякого несказочного принца, был у него текущий счет в одном из европейских банков.

Так бы ему жить да жить, спокойно ожидая дальнейшего развития событий, не вмешайся в эту жизнь главный элемент любой сказки — любовь. Принц влюбился. Предметом его вспыхнувшей страсти была очень красивая русская женщина — жена какого-то бухгалтера. Даже в условиях почти социалистической действительности принц всегда может отбить жену у бухгалтера. Он ее и отбил. Бухгалтерша бросила своего обиденного мужа, перешла в особняк принца и тоже стала вести сказочную жизнь.

Охваченный испеляющей любовью, принц почти не следил за тем, что происходило у него на родине. А там вся заваруха шла к концу. Под напором событий Аманулла-Хан был вынужден отречься от престола, на престол вступил суровый НаDIR-Хан — дядя Аманулла и ташкентского любовника. Новый король отменил некоторые реформы своего неразумного племянника, договорился с духовенством и феодалами, что-то обещал англичанам, после чего быстро и вполне по-восточному разделался с повстанцами, повесил Бацаи-Сакао и начал все приводить в порядок. Бежавшие принцы и принцессы стали возвращаться в свои слегка пограбленные дворцы.

Должен был вернуться в Афганистан и мой знакомый. Должен был, но не мог. Он не мог забрать с собой любимую бухгалтершу: у него на родине жена, дети... А расстаться с любовью у него не было сил! И он ждал, тянул, тянул... А ждать становилось все труднее и труднее. Афганские газеты писали о нем как о примере невероятного развращения нравов: бросил жену, детей, живет с неверной в большевистской стране. Новый и суровый властелин Афганистана категорически приказал принцу кончать свою затянувшуюся любовную историю и возвращаться к скучной принцевской жизни. Предупреждения следовали за предупреждениями.

И тогда принц сделал то, что обычно делают только сказочные принцы: он решил остаться в Ташкенте и до конца своих дней в качестве частного лица жить с любимой... Но вскоре ему пришлось убедиться, что это возможно только в сказках. Разгневанный дядя провел через парламент закон о лишении обезумевшего от любви племянника всех привилегий члена царской фамилии и даже афганского гражданства. И, что было еще существеннее, наложил секвестр на счета принца в западных банках.

Расплата за любовь наступила мгновенно и носила отнюдь не сказочный характер. Принца вышибли из сказочного особняка, его любимая немедленно вернулась к терпеливо дожидавшемуся бухгалтеру. А принца, растерявшегося от горя и нищеты, вскорости арестовали, дали восемь лет «за незаконный переход границы» и отправили к нам в лагерь. «И сказок больше нет...» — как поется в какой-то песенке у Вертинского.

...Мы долго сидели на завалинке возле старой бани, выкурив почти всю мою дневную табачную норму. Принц, очевидно, взволновался, рассказывая случайному собеседнику о своем жизненном крушении. Смуглое его лицо, покрытое грязью и несмывающейся копотью лагерных костров, стало бледнее обычного. Он замолчал на полуслове и вдруг, заметив, как я посмотрел на него — грязного, жалкого, в опорках, в обрывках английского демисезонного пальто, подпоясанного веревкой, — сказал:

— Я понимаю ваши мысли и ценю деликатность, с которой вы эту мысль не высказываете вслух. Но со всей искренностью, на которую мне дает право мое положение и приближающийся конец моей жизни, я хочу вам сказать: нет, я ни о чем не жалею! Я был так счастлив с этой женщиной, так необыкновенно, невероятно счастлив, что не могу считать слишком чрезмерной цену, которую я за эту любовь заплатил... Такому счастью нет достойной цены!

Мое знакомство с принцем происходило жарким и тревожным летом сорок первого года. Мы лихорадочно следили за войной на Западе, на Балканах, мы чертили карты военных действий, спорили о том, как будут они дальше развиваться. Но даже в это время, во время этих споров и разговоров у меня из головы не выходил рассказ принца, банальная, трагическая и трогательная история его любви. И все мне хотелось еще что-то узнать у него, расспросить: что же было в этой ташкентской женщине, возбуждавшей такую невероятную, такую благодарную любовь?

Мне не удалось это сделать. Начавшаяся война смыла со всеми вопросами и делами и это тоже. Вместе с самим героем романтической и трагической сказки. В первые же дни войны иностранных подданных забрали со всех лагунков и сконцентрировали на подкомандировке какого-то далекого лагеря. От нас ушел туда большой этап. В нем был и мой принц.

Умер ли он там или же выжил, был ли репатрирован на родину, прощен своим кузеном, вступившим на престол?.. Может быть, и до сих пор живет он в своих гератских дворцах — старый, седой, окруженный детьми и внуками, затаивший в душе свою незаконченную, оборванную любовь? А может быть, и забывший ее под натиском новых впечатлений или новой любви?

Но я никогда не забуду этой истории и часто ее рассказываю друзьям. С удивлением, восхищением и искренним уважением к этому чувству. Все-таки сказки есть!

Кузнецкий мост, 24

Стрела крана резко поворачивается, и тяжелый чугунный шар ударяется о стену дома. С грохотом рушатся оконные переплеты, в зияющие проемы видны внутренние стены комнат со следами от портретов на выцветших обоях. Обычное для Москвы зрелище.

Я стою на противоположной стороне улицы, смотрю, и внутри меня что-то рушится, рушится с треском и отчаянием, как стены этого дома. И мне кажется, что не пыль закрывает разрушаемый дом, а слезы застыли мне глаза. Наверное, я испытывал бы нечто подобное, видя, как вот такая машина уничтожает мое родовое гнездо на Ордынке, дом, с которым были связаны все радости и горести моего отрочества, моей юности, почти всей моей жизни. Но ведь не этот родной дом рушат! Разрушают проклятый, ненавистный и страшный дом, где если и веселились, то только в незапамятные времена, когда его хозяином был князь Голицын или когда жили в нем художники и скульпторы, и Пушкин ходил в гости к Карлу Брюлову, вернувшемуся из Италии...

Многие десятилетия в этом доме только плакали. Здесь было пролито столько слез, что если бы они все сохранялись, потоками сбегая вниз к Неглинке, то дом этот стоял бы на берегу соленого озера. Да, конечно, в округе были дома и пострашнее. На моей памяти это учреждение — обычно про него говорили «это» или «оно» — разрасталось по соседним улицам и переулкам, оно заглотало многоэтажный универмаг и девятиэтажный жилой дом; и постепенно на всех окнах домов этого района появились одинаковые шелковые занавески, и подолгу вечерами окна светились уютным адским светом. Были среди этих домов такие, мимо которых и ходить-то было страшно. В этих домах пытали и убивали. Но там не было слез. Там могли кричать и кричали от боли, от ужаса, от страха...

Но там не плакали. Во всяком случае, я не помню, и мне об этом не рассказывали. Плакали здесь, в этом доме. На Кузнецком мосту, 24. Здесь помещалась «Приемная». Приемная ОГПУ, НКВД, НКГБ... Названия менялись, существо оставалось прежним. И до самого последнего дня, перед тем, как ударить по дому чужонной бабой, висела на нем табличка и аккумуляторное, золотом по черному, на десятилетия, на века сделанное объявление: «Прием граждан круглосуточно»...

А ведь когда-то я ходил в этот дом, совершенно не задумываясь о том, каким он ко мне обернется. Это было, вероятно, году в двадцать пятом. На Кузнецком, 24, помещались «Курсы Берлица», где по какой-то системе, придуманной неизвестным нам, еще довоенным Берлицем, быстро научали иностранным языкам.

Меня понесло на эти курсы потому, что мой двоюродный брат в это время был в Китае начальником Политуправления у Чан Кайши. Я страстно мечтал делать революцию в Китае, кузен обещал забрать меня с этой целью к себе при условии, что я выучу французский язык. Почему французский, бог знает! Конечно, я ему поверил и устремился сюда, на Кузнецкий мост.

Старый трехэтажный дом. «Приемной» на первом этаже еще нет. Она появится после, вероятно, году в тридцать пятом или тридцать шестом.

Я быстро взбегал по лестнице на третий этаж. Лестница никогда не бывала пустой. Потом уже, много-много лет спустя, я вспоминаю, что, кроме меня и мне подобных — веселых, беспечных, часто элегантных, почти всегда молодых, — по этой лестнице поднимались и другие люди: пожилые или молодые, одетые хорошо или плохо, но все с печатой горя на лице, все — неулыбающиеся, озабоченные.

Мы вместе входили или взбегали по лестнице и расходились: одни направо — на курсы Берлица, другие — налево. Дверь налево почти всегда была открыта, поэтому я не сразу заметил маленькую вывеску на ней: «Политический Красный Крест». В проеме двери виднелся длинный коридор, всегда набитый людьми. Как странно! Никогда в ту пору я не задумывался ни об этой вывеске, ни об этих людях. Я бежал на свои идиотские курсы, где красивая молодая женщина с указкой в руках по-французски объясняла нам развешанные на стенах красочные рисунки: это красивый деревенский дом; это девочка играет в волаи. И подобную чепуху. На курсах запрещалось употреблять какие бы то ни было русские слова. Несколькими месяцами я учился узнавать, как по-французски называются разные мне ненужные предметы, и однажды на концерте в Колонном зале услышал в ложе разговор двух дам. Они говорили по-французски, и я вдруг потрясенно осознал, что понимаю, о чем они говорят! Это было невероятное ощущение! Впрочем, оно меня не подвигнуло продолжать обучение после того, как мой

кузен вместе с другими советскими советниками бежал из Китая от переворота, устроенного Чан Кайши. Я утратил всякий интерес к курсам Берлица, перестал ходить на Кузнецкий и быстро забыл о двери налево, напротив курсов.

Я узнал об этом помещении и людях, его посещавших, много позже, из рассказов моей жены Рики. Вот она уж там побывала! Много, много лет она ходила в это странное, ни на что не похожее, ни в каких справочниках не упоминаемое учреждение. Чужеродное всей нашей системе до такой степени, что после войны в Ставрополе, в Сибири, да и в самой Москве почтенные майоры и полковники отказывались верить рассказам Рики о том, что совершенно легально почти два десятка лет существовал кающийся нам теперь совершенно немыслимым «Политический Красный Крест».

Не только я, но и профессиональные охранители ничего про него не знали. И для них это было нечто нереальное, мифическое! Для них, но не для Рики, не для многих сотен людей, подобных ей. Она приходила сюда два десятилетия: девочкой, девушкой, молодой женщиной. Приходила каждый раз, чтобы узнать, из какой тюрьмы в какую перевели ее отца; сколько ему в очередной раз дали и что — тюрьму или ссылку — и куда; когда бывают свидания, передачи; она получала здесь продукты и деньги для того, чтобы поехать в Суздаль или другой тюремный город, повезти туда передачу...

Когда-нибудь историки обязательно займутся изучением этого удивительного учреждения, как и личностью удивительного человека, его создавшего и отдававшего ему все свои немалые силы и немалые, неизвестно откуда взявшиеся возможности. Одним именем Горького нельзя объяснить, каким образом Екатерине Павловне Пешковой удалось получить необыкновенное право легально помогать политическим заключенным и их родственникам; право выяснять, кто где находится, кого куда этапировали...

Коридор разделял четыре небольших комнаты. В самой маленькой из них — два стола. За одним — Екатерина Павловна Пешкова, за другим — ее бесшумный помощник Винавер. В другой комнате что-то вроде бухгалтерии. Самая большая комната почти всегда забита людьми — ожидающими. И еще одна большая комната, заставленная ящиками с продуктами, бельем, одеждой. И совершенно непонятно: кто были эти люди, которые сидели за столами в этих комнатах, погруженные целыми днями в чужие беды? А может быть, и в свои?

Сюда обращались родственники эсеров, меньшевиков, анархистов; родственники людей из «партий», «союзов» и «групп», созданных, придуманных в доме неподалеку, за углом направо.

Здесь выслушивали женщин, стариков и детей, здесь их утешали, успокаивали, записывали адреса, чтобы наверняка скоро сообщить, где находится их отец, муж, жена, мать, брат, сын... Когда можно получить свидание, когда принимают передачи, когда — если нет для этого средств — можно прийти на Кузнецкий, 24, и взять продукты, белье, одежду для этапа на Север или необозримый Восток.

Откуда брались эти продукты, эта одежда, эти совсем не малые деньги? Они приходили главным образом из-за границы. От АРА, американской администрации помощи, от социал-демократических партий и учреждений, от разных благотворительных обществ, от богатых людей. А может, и совсем не богатых, может, и от почти бедных. Неизвестно, как собирались эти деньги и как они шли сюда. Знала об этом, вероятно, только сама Екатерина Павловна. Каждый день, отсидев часы приема на Кузнецком, она садилась в мотоциклет с коляской и отправлялась в тюрьмы,

на таможную, на склады. А еще чаще шла пешком — сюда же, совсем близко, совсем рядом — и договаривалась с людьми из этого дома о помещении одного в тюремную больницу, о том, чтобы другого заключенного перевести в тюрьму, более близкую к Москве, — у него мать-старуха, и ей трудно ездить на свидание на Север, на Урал. Она договаривалась о пополнении тюремных библиотек, устройстве для арестантов концертов, праздничных вечеров.

Как сказки, как невероятно волшебные сказки, я слушал рассказы Рики о том, что, когда тяжело заболела ее мать, по просьбе Екатерины Павловны ее отца выпустили из Бутырок на свободу «под честное слово», и он находился на воле до выздоровления своей жены. Я слушал о новогоднем вечере, устроенном в Бутырках для политических заключенных, о концерте в Бутырках, на котором пел Шаляпин перед своим отъездом за границу.

И так длилось до самого тридцать седьмого года, до того дня, когда Екатерина Павловна бессильно сказала Рике: «Все. Больше ничего не могу. Теперь остается только низ, только первый этаж». Но для Рики и ей подобных и низ не остался. И она, и почти все такие, как она, ушли в те тюрьмы, куда они ходили на свидания. «Политический Красный Крест» и все проблемы, которыми он занимался, были ликвидированы по старому, верному, испытанному способу. По которому Энвер-паша разрешал «армянскую проблему», а Гитлер — «еврейскую». В ссылках были арестованы все те, которых опекала Екатерина Павловна Пешкова, собраны в тюрьмы, а затем расстреляны. Были арестованы и, очевидно, расстреляны и Винавер, и те безвестные мужчины и женщины, которые работали в «Политическом Красном Кресте». Оставили на воле жить, мучиться и умирать только Екатерину Павловну. Она унесла с собой в могилу разгадку этой тайны: кто, когда, каким образом и почему разрешил ей легально поддерживать тот статус «политического заключенного», само понятие которого потом стало чем-то противозаконным, отрицаемым, почти преступным.

И вот пришли годы, когда то, что Екатерина Павловна называла «низом», стало расти вверх. «Низ» проглотил курсы Берлица, и «Политический Красный Крест», и соседние небольшие дома, в которых ютились какие-то никому не ведомые конторы.

Когда ночью уводили, то оставляли только единственные координаты: Кузнецкий мост, 24. И если исчезал человек среди бела дня или темной ночью и обезумевшие родственники звонили по всем страшным телефонам, то самая последняя инстанция — «дежурный по городу» спрашивал: «В милиции были? В «Скорую» обращались?» — и, выслушав утвердительные ответы, удовлетворенно говорил: «Тогда идите на Кузнецкий мост, 24». И этот ответ был самым страшным, самым безысходным. Возвращались из больниц, могли возвратиться даже из милиции. Оттуда, куда посылал «дежурный по городу», никто еще не возвращался. Большинство и не вернулось.

Вот тогда мне и было сполна заплачено за отсутствие интереса к помещению напротив курсов Берлица.

В саму «Приемную» мне тогда ни разу не пришлось попасть. Туда пускали не всех. Только вызываемых, только с какими-то особыми заявлениями, ну и, конечно, тех, для которых приемная была открыта круглосуточно. А я ходил во двор, за железные ворота. Сколько же раз я туда ходил! Один ходил, и с мамой, и с Оксаной.

«На миру и смерть красна». Безусловно, есть в этом какая-то доля правды. Но не думаю, чтобы тем, кого гнали к Бабыему Яру, было легче оттого, что их

тысячи... Двор на Кузнецком был всегда, с самого утра, полон людей. Мужчины, женщины, дети. Больше всего женщин. Совсем старых и совсем молодых. И все молчат. Или разговаривают почему-то шепотом. Хотя единственный вертухай стоит только у калитки и, наслаждаясь собственной суровостью, смотрит на тех, кто еще позавчера, вчера принадлежал к касте «начальников». Теперь они другие, ах, какие же они другие!

Очередь вьется по двору, огибает какое-то строение, снова вытягивается и выходит к «финишной прямой» — к окошку в стене. Там, в окошке, дают справки. Справки эти необыкновенно кратки. В ответ на заикающийся, заплаканный голос: «Вот у меня сегодня ночью почему-то пришли и арестовали...» (это новички, значит...), — следует окрик: «Фамилия, имя, отчество». Потом окошко захлопывается и через минуту-две снова открывается. Ответов было всего четыре: «Арестован, под следствием», «Следствие продолжается», «Следствие закончено, ждите сообщения», «Обращайтесь в справочную Военной коллегии».

Никаких других ответов не было. Однажды впереди меня стояла женщина, на вопрос из окошка ответившая: «Ясенский Бруно Яковлевич». Она пыталась спросить еще что-то, но ей крикнули: «Узнаете, все узнаете потом!» И действительно мы узнавали. И эта женщина, и я, и остальные потом попадали в другие здания этого проклятого квартала и могли узнать о судьбе своих близких более приближенно к реальности. Очередь на Кузнецком была лишь началом хождения по иным дворам, к иным окошкам. Здесь никогда не сообщали, где, в какой тюрьме сидит арестованный. Чтобы узнать это, надо было ездить по тюрьмам: в Бутырки, Таганку, Лефортово, Матросскую Тишину, на Новинский бульвар. И там стоять в длинных очередях, чтобы передать десять рублей — единственно разрешенная форма передачи. Десять рублей, которые обезличенно, без сообщения, от кого, зачислялись на «текущий счет» арестованного. В этих окошках, куда надо было подавать заполненный бланк и деньги, или брали (и это означало, что он здесь), или же отвечали: «У нас нету!» И тогда надо было ехать на другой конец города, в следующую тюрьму, и там пробовать передать деньги. И как счастливы бывали те, у кого деньги брали! Значит, он тут, вот совсем недалеко, за этими стенами...

Нет, передачи — даже такие, десятирублевые — великое дело! Я это понимаю, я насобачился на передачах в тюрьмах Москвы, Ставрополя, Георгиевска. Передача протягивает какую-то нить к пропавшему родному человеку, она означает, что он жив, что есть надежда его увидеть. И как бывает страшно, когда тебе возвращают бланк и десятку и говорят: «Выбыл». Все. Куда, когда, на сколько? Они тебе это не скажут. И на Кузнецком, 24, нет уже Екатерины Павловны, которая все узнает, все расскажет, поможет... Теперь надо ждать. Ходить в прокуратуру и там ждать или же сидеть дома и ждать месяцами, а то и годами, когда вдруг придет к тебе письмо с обратным адресом: «Почтовый ящик №...». А еще чаще ждать, ждать и не дожидаться. Никому не сообщали о судьбе тех, кто умер от пыток в следственном кабинете, в тюремной камере или тюремной больнице, в теплушке или на пересылках длинного и страшного этапа. Они все канули в неизвестность, чтобы через двадцать лет эта неизвестность обернулась лживой бумажкой, где все — и дата, и причина — все было лживо. Кроме одного: умер.

Но какими же мы тогда все были неграмотными, как легко нас было обмануть, как легко мы поддавались на эту ложь! Из всех ответов, получаемых

в окошке во дворе дома на Кузнецком мосту, самый страшный был, конечно, ответ: «Справочная Военной коллегии». Эта справочная располагалась совсем неподалеку. Пройти Лубянскую площадь — и сразу в начале Никольской стоит небольшой кирпичный дом Военной коллегии Верховного суда. Вот там, в окошке «Справочной», давали ясный, прямой и всегда одинаковый ответ: «Десять лет отдаленных лагерей без права переписки». Других «мер наказания» этот суд не знал. Такой ответ мы получали, спрашивая и о Глебе Ивановиче, и об Иване Михайловиче; такие точно ответы получало в этом кирпичном доме множество наших знакомых и друзей. И — удивительно! — мы радовались этому! Ну, хорошо, десять лет — много, конечно, но это же все условно, сколько будет перемен, все еще может обойтись, во всем еще разберутся. А что без права переписки — так это понятно: собрали в одном месте всех старых большевиков, всех бывших наркомов, чекистов — пока, до поры до времени им не разрешают писать. Потом разрешат! И в длинные вечера в нашем последнем доме в Гранатном переулке мы бесконечно обсуждали, где могут находиться эти лагеря, какие там условия жизни — черт знает, что мы только не говорили! И успокаивали себя этими предположениями и даже занимались старым интеллигентским гаданием: раскрывали том Блока и загадывали порядок строки, в этой строке давало темное толкование нашим надеждам. И только раз вздрогнули от холода, когда Оксана раскрыла Блока и на многожды открываемом месте прочитала: «...И только высоко, у Царских Врат, причастный Тайнам, — плакал ребенок о том, что никто не придет назад».

Лишь много лет спустя я понял, что Оксана была убеждена в этом: никто не придет назад. Как не пришла она сама.

А ведь о том, что случилось, о том, что не придут они назад, можно было догадаться и по разным другим приметам, признакам. В какой-то своей очередной речуге о врагах народа Сталин требовал ужесточить расправу над ними и выразил недоумение, почему не применяется такая мера, как конфискация. Вышинский сделал. Теперь приговоры о расстреле дополнялись строчкой: «С конфискацией всего имущества». Тогда, осенью и зимой тридцать седьмого года, в Москве открылось множество странных магазинов. Странных потому, что даже вывески на них: «Распродажа случайных вещей» — были написаны на полотне, наспех. Эти магазины появлялись на местах книжных, канцелярских, промтоварных магазинов. Они были заполнены старой мебелью, потертыми коврами, подержанной или даже новой одеждой, разрозненными сервизами, предметами антиквариата, картинами...

Это были остатки того, что забрали, просто награбили энкавэдэшники. Некоторые из них получали готовые квартиры, со всем, что в них было: мебелью, книгами, бельем, одеждой, всем, включая зубные щетки и засохшие куски мыла в умывальнике. А другие на каких-то базах, куда свозили все это добро, выбирали себе по вкусу. И, конечно, по ценам. Которые повыше — снимали сливки: картины, дорогие ковры, антиквариат, книги в красивых переплетах... Которые чином поменьше, удовлетворялись не баккара, а простым хрусталем; не саксонским фарфором, а морозовским; они больше напирали на отрезы, на богатые шубы... А уж то, что никто не хотел себе забирать, свозилось в эту «Распродажу случайных вещей».

Осенью тридцать седьмого года я проходил по Сретенке мимо одного такого магазина, и что-то меня толкнуло зайти туда. И, войдя, сразу же в глубине магазина я увидел наш диван... Длинный неуклюжий

диван, обитый потертой тисненой кожей, со львами, вырезанными из черного дерева, по краям. Он стоял в столовой, множество раз я спал на нем, когда еще был на Спиридоновке гостем и оставался ночевать после долгого застолья, долгого ночного разговора. А рядом с диваном в магазине расположилась мебель из кабинета Ивана Михайловича: огромный письменный стол, высокие неудобные стулья, мастодонтовские кресла — остатки какой-то крупночинной петербургской квартиры, доставшей секретарю Севзапбюро ЦК РКП (б) Москвину и затем Софьей Александровной перевезенной в Москву. Теперь эта обстановка завершила свой закономерный круг на узкой московской улице, во временном магазине награбленных вещей.

И хотя я тогда еще ничего не знал, но понял: это и есть конец. В бумажках о смерти и о реабилитации Ивана Михайловича указываются разные и все неверные даты его смерти, но теперь-то я знаю, что в этих магазинах продавались вещи уже убитых. Их убивали в тот же самый день или даже час, когда им прочитывали: «...с конфискацией всего имущества». Те, кто творил это, были не только убийцами, но и мародерами. И, как всякие убийцы, грабители и мародеры, они все свои дела обделывали в глубокой тайне, скрывая убийство за «без права переписки», грабеж за «распродажей случайных вещей». Прошло почти полвека, но наследники грабителей, а может, и еще сами грабители и убийцы живут среди этих картин и ковров, едят с этой посуды... Ну, фиг с ними! Надо же расплачиваться за весь этот долгий путь познания, начавшийся со двора дома 24 по Кузнецкому мосту...

А я побывал еще раз в этом доме. И не во дворе, а там, внутри, за кремовыми занавесками...

Это было ровно через двадцать лет, летом пятидесят седьмого года. В кабинете Дома детской книги, где я работал, зазвонил телефон, и очень ласковый и мягкий голос представился: старший следователь Комитета государственной безопасности майор такой-то... И: «Не могли бы вы, Лев Эммануилович, в ближайшее время выбрать часик, чтобы зайти к нам?..»

Я предпочел не откладывать подобное свидание и через два часа входил в приемную. Она была тихая, спокойная, даже чем-то уютная. Несколько человек ожидало кого-то, сидя на удобных стульях. Мне ожидать долго не пришлось. Из каких-то внутренних дверей появился в приемной молодой еще и очень интеллигентного вида человек в форме майора, подошел ко мне, представился и сказал, что мой пропуск у него и мы можем идти.

И мы пошли. Туда. В тот самый дом. Майор сам предъявил мой пропуск часовому, усадил меня в лифт, поднял на какой-то этаж, открыл ключом свой кабинет, пропустил меня вперед и усадил в кресло у самого письменного стола. Я оглянулся: да, табуретка была. Прикованная около двери к полу, свежепокрашенная и вполне готовая для арестантских задов. Но я теперь сижу не на ней, сижу в креслах.

Майор тут же начал разговор:

— Хочу сразу сказать, почему мы просили вас приехать. Я оформляю дело по реабилитации товарища Селянина. Он был арестован только потому, что незаконно арестовали и расстреляли его отца — старого большевика, и погиб в лагере, будучи совершенно ни в чем не виновным.

...Игорь Селянин. Мой старый товарищ по работе в Центральном Бюро юных пионеров. Высокий, некрасивый и обаятельный в своей некрасивости парень. Веселый выдумщик, верный товарищ...

— И хотя мне незачем изучать его дело, которого-то и не было, но формально для реабилитации требуются показания двух коммунистов, которые его знали. У меня тут была по этому вопросу Анна Андреевна Северьянова, и она мне назвала вас как знавшего товарища Селянина.

...Значит, Нюра Северьянова вспомнила меня. А кто ей сказал, что я вернулся? Я Нюру не видел с тех самых времен...

Интересно сидеть вот так, в этом кабинете! Я встал и подошел к окну. Окно выходило во двор, и там я увидел знакомое пятиэтажное здание с зарешеченными окнами, с намордниками. «Внутрянка».

— Что это вы осматриваете, Лев Эммануилович?

— Очень мне знакомый дом.

— Почему знакомый?

— Я в нем сидел.

— Как, и вы? Боже, какой ужас! Что вам только не пришлось пережить!

И полилась его длинная, взволнованная речь. Да, он наслышан об ужасах и беззакониях, которые тут творились в те страшные годы. Из старых сотрудников никого не осталось, ни одного человека, но, он и его товарищи знают об этих фактах навсегда исчезнувшего произвола.

Я стоял у окна и, глядя на «внутрянку», рассказывал о том, каким хорошим, идейным, идеологически выдержанным, морально устойчивым и беззаветно преданным был Игорь Селянин. Майор быстро исписывал листы допроса. Потом сказал:

— Ну, вот и все. Пожалуйста, подпишите.

И тут я глупо спросил:

— Где подписывать?

Майор посмотрел на меня и вдруг начал хохотать. Он хохотал совершенно искренне, он сразу утратил свой деловой вид и приобрел черты человечности.

— Почему вы смеетесь?

— Боже мой, боже мой, как устроен человек, как быстро он, оказывается, способен забыть! Вы столько раз подписывали показания и уже забыли, что их надо подписывать в конце каждого листа...

Ох, дьявол! Как же в самом деле я мог такое забыть! Мне стало стыдно, и этот стыд не проходил, пока майор любезно прощался со мной, провожал до лифта.

Стыд терзает меня и теперь каждый раз, когда я вспоминаю хохот этого майора. Неужели он так и остался в уверенности, что все проходит, все забывается? Как сказано в поговорке: «Тело заплывчиво, память забывчива». И я помог ему увериться в этой неправде!

Забывает только тот, кто хочет забыть. Я ничего не забыл. И не хочу забывать. И поэтому, наверно, испытал какое-то отчаяние, когда видел, как рушат этот дом, вместивший столько горя, столько слез. Я не хочу, чтобы он исчезал. В нем наши жизни, наша память.



Борис
КЛИМЫЧЕВ

Остановка Каахка

Ну что название это значит? —

Глядел я аксакалу в рот.

Он пояснил: «Когда не плачет,

Когда — совсем наоборот!»

А после я узнал: сквозь время

До нас предание дошло:

Здесь жило небольшое племя,

Здесь был оазис, все цвело.

Поскольку в племени все люди

С зари трудились до зари,

Кусочком лакомым на блюде

Оазис видели цари.

Завоевать сады и пашни,

И рундуки, и родники!

У земледельцев нет ни башни,

Ни рва, кругом одни пески.

Не башнями и не валами

Оазис люди свой спасли,

Но, как забором, зеркалами

Они селенье обнесли.

То были зеркала кривые,

Лишь подходили к ним войска,

Отряды их передовые

Валились с седел: «Ха-ха-ха!»

Стерпеть не мог любой молчальник,

И хохотал любой упырь,

А главный их военачальник

От смеха лопнул, как пузырь!

Ах, Каахка, ты, словно эхо

Времен далеких, Каахка!

Пример разящей силы смеха,

Он зло разит во все века.

Командировка

Тевриз лежит в снегах зимой.

Название села престранно, —

От роз в нем что-то, от шафрана,

От дальней Персии самой.

Светает. Воеет вьюга. Тьма.

Пешочком, как поется в песне,

Бреду к селению Утьма.

Устал. Попуток нет, хоть тресни!

Изба. Стучу. «Как звать? Борис?

Садись, поешь — уха, грибочки.

А как пойдешь назад, в Тевриз,

Снесешь письмишко нашей дочке...»

Насчет искусств

Пусть изумляют нас таланты, —
Блистают опера, балет,
И диксиленды, и джаз-банды
Живут себе пусть много лет.

Искрятся цирк пусть и эстрада,
Людей усталых веселят,
Пусть даже те поют ребята,
Что так вопят и так гремят.

Малюет пусть и тот, кто чувство
По-модернистски переврет.
И лишь военное искусство
Пусть постепенно отомрет.

☆☆☆

В подвалах и на чердаках
Писал я неспроста:
Должна быть глубина в стихах,
Должна быть — высота.

г. Томск



Михаил
ГАВРЮШИН

*Дебют в
ЮНОСТИ*

Мартовский снег

Он словно сотни лет лежал,
такой же, как сегодня.
И времени ему не жаль —
на то и прошлогодний.

Прилип нахальной сединой
к деревьям и фронтонам.
Кто этот март назвал весной?
Весна... на смех воронам.

Снег не страдает «быть... не быть»,
лежит себе, не тает.
И нам его не растопить —
дыханий не хватает.

Нам память общая тесна,
так что же нам осталось?
Лишь эта ранняя весна,
похожая на старость?

Дырявая постель зимы
не служит нам ночлегом...
Как две вороны, кружим мы
над прошлогодним снегом.

Мания преследования

Душа в потемках пятый угол ищет,
фехтуют фары, свет на мне скрестив,
ристалище для них мое жилище,
как для меня забытый детектив.

Там лист дрожал на придорожной кроне
последним неукраденным рублем.
И светофоры наливались кровью,
когда курил убийца за рулем.

Колечки дыма с небом обручали
девичьи души, легкие, как сон.
Убийца в демонической печали
давил десницей грозной на клаксон.

Скрываясь от чудовищной погони
он шар земной на сутки обогнал,
но воплями мучительных агоний
кровоотчил отчаянный сигнал.

Он мчался в ночь, и рушились колоссы,
и холодный мрак несчастного знобил,
и женщины бросались под колеса,
и он их, грешных, до смерти любил...

Возвращение

Терем, мой терем с корявым крыльцом,
В прах неприветные окна потупил.
Что ж ты, как вражий острог, неприступен
Под золоченым истлевшим венцом.

Нешто не видишь, я бос и раздет.
В дряхлом кармане ядреная фига.
Та, что носили и прадед, и дед
С горькой эпохи монгольского ига.

Сколько извел я мечей и лаптей,
Скольким снопам завязал пуповину,
Сколь размотал непролазных путей,
Сколько я душ загубил неповинных.

Не оскудело мое ремесло,
Не растерялось под промыслом божьим,
А вокруг тебя все былшем поросло.
Гулким безвременьем и бездорожьем.

Скрипнула в топи осклизлая гать,
Сжал я кукушечьи яйца в ладони...
Будет о сыне-то притчи слагать!
Время пришло о блудном доме.

Вечеринка в Останкине

Знобила песня, пятки жгла
на вечеринке той вчерашней.
На диске прыгала игла,
а за окном светилась башня.

Мы в рок-конвульсиях, а ей
вселять в антенны бодрость духа —
тотем, восставший меж огней
во славу зрения и слуха.

Я в танце был и был таков,
пещерный вопль цивилизаций
лишал нас тяжести подков,
утерянных на счастье в танце.

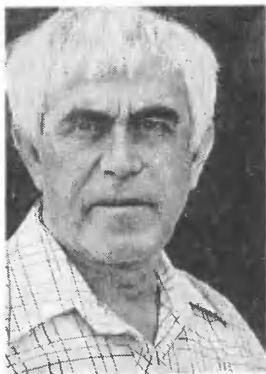
Ну танец был! Посторонись!
Сварог так не плясал на пашне.
Мы поднимали руки ввысь,
а все ж никак не выше башни.

Экран оконченных программ
и небо утреннее — сизы.
Гуд бай, май френдс, трам-тара-рам.
(В углу разбитый телевизор.)

А путь к бессмертию души —
пляши, покуда хватит мочи.
Спокойной ночи, малыши.
На целый день спокойной ночи.

Кладбище немецких военнопленных

От антрацита лопались вагоны,
искристой пылью усыпая веси,
где вздыбились над полем терриконы,
распарывая брюхо поднебесья.
Урчал бульдозер, как пустой желудок,
кресты и чуни сравнивая с прахом.
И горбилась бригада незабудок,
овеянная первородным страхом.
— Скажи-ка, дядя,— хлопцы горевали,
где нам искать оружие вермахта?
— Да здесь они не очень воевали...
а больше восстанавливали шахты.
Бульдозер с ревом рвал земное сало,
последним залпом вспучились зарницы.
И кладбище навеки исчезало,
кося на запад влажные глазницы.



ЭМИЛЬ
ЯНВАРЕВ

Последний кадр фильма

«Печки-лавочки»

Памяти В. М. Шукшина

Чуб взлохмаченный, ноги босые,
настороженный взгляд...
А вокруг вечереет Россия,
тени бросил закат.
Поле вспахано. Ширь без предела.
Значит, дело с концом!
Почему же поджарое тело
как налито свинцом?
И помалу душа иачинает
колобродить в тоске,
и зажат крохотуля чинарик
в натруженной руке.
Это с каждым бывает такое!
Никому отродясь
не давала Россия покоя
и, наверно, не даст.
Нам не хлеба единого надо
и бокала пивца:
если лада — то высшего лада,
если правды — чтоб вся!
Потому нас по свету мотает,
заводных бедолаг,
потому нас догадка мытарит,
что живем, да не так.
Потому средь сомнительных истин,
легковейных, как дым,
мы одну — нерушимую! — нищем
и зубами скрипим.

Жить бы так:
не слукавив ни разу!
Гордо голову несть,
чтоб сказать под конец эту фразу:
«Все, ребята, конец».

☆☆☆

На станции, богом забытой,
еще и не встретя войну,
целует солдат неубитый
свою молодую жену.

Нечаянный случай — не боле:
два поезда рядом стоят.
За рельсами —
хлебное поле,
над полем —
беспечный закат.

Смеется она, не дается,
рукой упирается в грудь
и плачет.

И снова смеется,
чтоб смехом себя обмануть...

Этюд 42-го года

Как отчаянно-легко
ты решила, мать,
на парное молоко
свой платок
сменять!

Нынче гарусная нить
нам не ко двору...

Вымеяешь — буду жить,
если нет —
умру.

☆☆☆

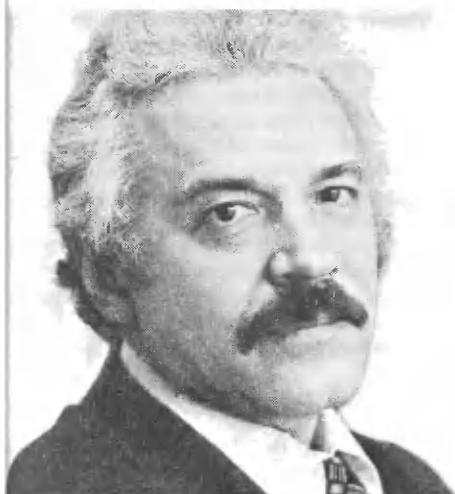
В прошлом друзья, как один, хороши!
Там, за годами, — ни лжи, ни рогатин.
Небо отвесно.
Простор неогляден.
Все вызывает оттуда:
— Пиши!

В той тишине — идиллический пруд.
Детство. Деревня. Вода из колодца.
Прошное

краске и слову
сдается,
а современность в атаке берет.
В прошлом — чего же, там все улеглось.
Здесь
ничего еще толком неясно.
Но потому-то оно и прекрасно,
это сплошное
небось да авось!

☆☆☆

Как трудно писать о себе,
да так, чтоб не врать ни на йоту,
высматривать в личной судьбе,
что знать интересно народу.
Тут можно такого наплесть!
Смолчать, приукрасить, прибавить...
Но есть самоценная честь:
бесстрашно — как было — оставить.
Как было!
И помнить одно —
негладко, а все-таки честно.
Не столько народу оно,
как, может, тебе интересно.
г. Николаев



Юрий
ПОРОЙКОВ

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Рассказ

Милиционер, стоявший тем утром у здания горкома, находился в растерянности: следовало бы спуститься вниз и спросить у долговязого, жилистого парня в серой курточке, чего это он тут маячит, но его внимание отвлекала дорога. На часах восемь двадцать девять, а значит, вот-вот подойдет машина первого секретаря...

Никто, конечно, не требовал встречать здесь, у подъезда, высокое начальство, но так сложилось давно, что дежуривший на площади милиционер подтягивался к восьми тридцати к высоким двустворчатым дверям с тяжелыми медными ручками, отдавал честь выходящему из машины первому секретарю и, получив в ответ вежливый кивок или теплую улыбку, медленно и независимо, с чувством хорошо исполненного долга возвращался назад, к входу в сквер, откуда просматривались и площадь, и примыкающие к ней улицы.

Кося взглядом на подозрительную личность, он подобрался, то есть втянул в себя живот и сжал пальцы, чтобы молодежато вскинуть и расправить у козырька, как полагается: черная «Волга» с мигалкой на крыше была уже близко.

Громов тоже увидел ее, облегченно вздохнув, — машина подкатила к горкому не снизу, а прошла верхом и остановилась прямо напротив двери. И, уже не волнуясь, он стоял и смотрел, как выходит из машины полный, грузный мужчина и, кивнув выткнувшемуся перед ним милиционеру, мгновенно исчез за дверью, кем-то распахнутую перед ним...

Громов усмехнулся и пошел от лестницы в сторону сквера. Там он достал из кармана незапечатанный конверт, вытащил из него вчетверо сложенный листок и, не читая, аккуратно разорвал на несколько мелких частей и выбросил в урну. Потом повертел в руках конверт и бросил туда же.

А усмехался он над исчезнувшим сейчас несостоявшимся действием. «А вы, молодой человек, кого ждете, не меня ли случайно?» — спросил бы человек, приехавший на машине. «Вас, — бодро ответил бы ему Громов. — У меня к вам записка от капитана Ермошина. Приказал обязательно вручить». «Слышал, слышал об этом замечательном командире! — воскликнул бы секретарь горкома. — Он жив, здоров? Ну, чего же мы стоим на улице?» И они бы пошли в кабинет и поговорили бы о капитане Ермошине и о том, что следует делать Громову в незнакомом городе...

Записку, а точнее, рекомендательное письмо, Ермошин написал по собственной инициативе и вручил Громову на вокзале, куда приехал его проводить вместе с женой Ниной Александровной.

Такой чести, конечно, удостоивался далеко не каждый демобилизованный сержант не только их части, но, может быть, и всего военного округа, и потому Громов очень стеснялся.

«Газеты-то взял с собой?» — беспокоился Ермошин.

«Так точно!» — отвечал Громов по-уставному, хотя взял на память всего одну, а остальные девять экземпляров оставил в прикроватной тумбочке в госпитале. И соврал, не желая обижать капитана, который заезжал за этими номерами в редакцию и потом привез ему в большом белом конверте. В газете был напечатан портрет Громова и рассказывалось о его мужественном поступке при задержании нарушителя.

Ермошин дважды поправлял на груди сержанта новенький орден Красной Звезды и наказывал, чтобы он, Громов, сразу же по приезде отписал ему, как и что.

...В тамбуре Громов подумал и быстро снял с кителя орден. Он к нему еще не привык и не хотел привлекать внимания. Но, оказывается, из окна за ним наблюдали, и, когда он вошел в купе, лысоватый,

с толстыми влажными губами мужчина посмотрел на его грудь и воскликнул:

«Да ты вроде орден свой потерял!»

«Я не потерял», — сказал Громов и покраснел, словно его в чем-то уличили нехорошем.

«Снял, что ли? — поднял рыжеватые брови мужчина. — Ну, ты даешь! Другой бы грудь вперед — вот, мол, я каков!»

«А я не другой!» — едва не ответил он, но вовремя сдержался, увидев, какими глазами смотрит на него девочка лет четырнадцати, которую он не сразу и заметил.

«Носи, носи! Зря такие ордена не дают!» — продолжал мужчина.

«А за что вам дали орден?» — спросила девочка.

И Громов коротко сказал за что: вместе с капитаном Ермошиным они задержали нарушителя, а вышло все совершенно случайно, потому что они возвращались с совещания, когда нарушитель вдруг выскочил прямо на дорогу, чуть ли не под колеса машины...

«Во пошли шпионы, а?! — обратился мужчина к хмурому дядечке с наклепленным на переносицу пластырем. — Сами в руки лезут, как зайцы!»

«А где ты таких зайцев видал? — спросил тот, кривя рот. — Мура это все, игры одни! Шарахнет бомбой атомной по башке, вот тебе и полный абзац! Одна большая дырка на всех, как в сортире!»

Мужчина яростно с ним заспорил, а Громов вышел в коридор и стал смотреть в окно, за которым уныло тянулась серо-желтая, с редкими кустарниками, степь. Потом вышла девочка, он потеснился, и они долго смотрели вместе на ту же степь, словно поезд не бежал по рельсам, а стоял на месте.

Девочка была хорошенькая и молчаливая. Но они совсем не скучали, довольные тем, что никто им здесь не мешал.

«Вам страшно было?» — спросила она, подняв на него огромные темные глаза с длинными ресницами.

«Я ничего не понял», — признался он, не желая ее обманывать. — Все очень быстро случилось...

«Все равно должно быть страшно!» — сказала она убежденно, как будто тоже пережила нечто подобное и делилась с ним впечатлениями...

И ему вдруг стало грустно оттого, что этой умненькой девочке всего четырнадцать лет и они скоро расстанутся навсегда.

Он уходил от горкома и урны, в которой остались обрывки письма капитана Ермошина. Конечно, он ругал себя за то, что проявил слабость, решив воспользоваться письмом. Ну, и что — знакомый город? Здесь живут такие же люди. А он, хотя и советовали госпитальные врачи с полгода побереечь плечо и поработать на легковушке, все-таки шофер второго класса и механик, с такими профессиями в наше время не пропадешь нигде!

Он шел по каким-то старым улочкам, где деревянные дома сменялись высокими серыми заборами, а над ними, закрывая солнце, низко свисали ветки яблонь, вишен, акаций, черноплодной рябины, потом вдруг силосно пошла сирень. Возле одного из домов, оглянувшись, Громов провел ладонью по тяжелым, мокрым, мохнатым кистям, и на лицо посыпались прохладные капли — он слизнул их с губ и понюхал ладонь: пахло детством и счастьем, как несколько лет назад, когда он школьником искал цветки с пятью лепестками, чтобы съесть их на счастье перед экзаменами в школе.

2

Может, и не попал бы никогда Громов в этот город, если бы не получил от брата Бориса грустное письмо, полное намеков на возникшие осложнения в семье: он

женился вскоре после ухода Громова в армию, и с его женой Надей они знакомы не были.

Прочитав внимательно письмо, он догадался, о чем, собственно, идет речь: брат предупреждал его о недовольстве жены тем, что обещанная ему на заводе квартира снова улыбнулась, — вопрос отложен до следующего года. И Громов понял, что жить по возвращении из армии будет негде: после смерти родителей им с братом осталась на двоих двенадцатиметровая комнатка в коммунальной квартире. В ней и жили сейчас Борис, Надя и годовалый сын их Коля.

Было, конечно, над чем поломать голову. И тут в роли искusstителя выступил сосед по койке в хирургическом отделении госпиталя Миша Глызин — юркий, болтливый хитрован с желтыми кошачьими глазами. Подошел как-то к кровати Громова и, улыбаясь, протянул ему письмецо от некоей Лены Микишиной и ее фотографию: худенькая, глазастенная, с мечтательным выражением на лице и косой через плечо.

«Хочешь переписываться? — спросил жарким шепотом Глызин. — Смотри, какая краля! Из моего города, между прочим».

«Сам-то чего? — насторожился Громов, боясь розыгрыша.

«А я уже переписываюсь давно. С другой, — хохотнул Глызин. — У меня все на мази».

«А как к тебе это письмо попало?»

«Вот она, моя то есть, и прислала. Тоже, говорит, хочет переписываться с кем-нибудь. Только чтоб с отличником боевой и политической подготовки. Чтоб все без обмана было. А ты у нас не просто отличник — герой! Я ей, между прочим, о тебе рассказывал, вот, видеть, и заинтересовалась».

«Да ну тебя!» — смутился Громов.

«Верное дело, что ты?! — продолжал уговаривать Глызин. — Ты прочитай письмецо-то, сам увидишь!»

Громов прочитал, и письмо ему понравилось. А еще больше — сама она: снимал, видимо, хороший мастер, а снимок, который был вложен в конверт, уже перефотографированный.

«А почему бы и нет?» — мелькнуло у него.

Женщин Громов не знал и опыта общения с ними не имел никакого, если, конечно, не считать сорокалетней медсестры из соседнего корпуса, с которой каким-то странным образом оказался вдруг наедине в глухом уголке госпитального парка...

Она равнодушно, не закрывая глаз, подставляла пахнущие луком мягкие, вялые губы и ежилась от прохладного ветерка.

Громов понял, что никакой радости от поцелуев она не испытывает, и обиженно отстранился, но руку с ее плеча не снял.

Она и внимания не обратила, сказала, глядя на свои ноги в старых туфлях-лодочках с ободранными носками:

«Спать охота, прямо сил нет! Каждый день не высыпаясь — то пацан болеет, то мужик пьяный заваливается, куда уехать бы подальше, не знаешь?»

Он пожал плечами.

«Домой идти тоже неохота — маета одна...»

И, помолчав, взглянула на Громова вопросительно:

«Пошли, что ли?»

«Куда?» — спросил он, удивляясь.

«Вот же везет мне последнее время, скажи! — засмеялась она, обнажая бледно-розовые десны. — Раньше не спрашивали, знали, и куда, и зачем, а теперь мне самой объяснять надо... Или ты до утра здесь целоваться надумал? Так мне это ни к чему. Стара я для поцелуев, спать хочется».

Она с сожалением еще раз посмотрела на Громова, легко стряхнула с плеч его руку, которой он пытался ее согреть, и потянулась, откровенно и бесстыдно выпячивая большую грудь:

«Пойду я, а то и в самом деле завтра просплю...»
И ушла, оставив Громова одного на сразу похолодевшей скамейке.

Встречаясь после, он прятал глаза и заливался румянцем по уши, а она улыбалась лениво и равнодушно, словно ничего уже и не помнила.

И после еще долго сохранялось в ладонях Громова ощущение живого тепла от легких прикосновений к ее плечам и переполняло ночами сердце радостью и раскаянием.

«Переспал бы — и вся бы любовь прошла! — смеялся приятель. — С ней, наверное, если кто и не спал, так это ты!»

«А твое какое собачье дело!» — вскинулся Громов.

Он понимал, что никогда не сможет говорить об этих вещах так же просто и легко, как другие.

...После долгих сомнений и колебаний Громов написал письмо Лене Микишиной, и пришедший недели через две ответ убедил его в том, что он не ошибся.

И он поехал в родные места с почти готовым уже решением...

3

...Он смотрел на комнату, в которой родился, вырос, где умерли отец и мать, откуда он спустя год ушел в армию, — и не узнавал.

Такие знакомые, такие родные запахи — ими, казалось, все здесь было насквозь пропитано — сменились другими, непривычными и чужими, ощущаемые, как нечто безобразное, просто как вонь, хотя разумом Громов и понимал, что никакой вони здесь быть не должно. Просто исчезли старые вещи — ни железной родительской кровати, ни их с Борькой раскладывающегося на ночь дивана, ни его, Громова, самодельной этажерки с книгами, — ничего! Стояли новенький полированный шифоньер, стол-книжка, используемый как тумбочка, тахта с небранной постелью; поперек комнаты, из угла в угол, на провисшей веревке сушились колготки и трусики. Это от них исходил пугающий Громова и незнакомый ему запах. Под красивой, но пыльной люстрой, на которую для затемнения набросили и небрежно закрепили булавками зеленую косынку, блистала свежим лаком детская кровать на колесиках...

И все это — в каком-то странном, несоединимом зрительном сочетании, словно кто-то взял и специально навалил здесь вещи, уменьшив и без того небольшое пространство комнаты.

Громов уже догадался — кто, и главное — зачем, ему было стыдно и обидно за брата, который только и сделал, что отодвинул детскую кровать и шифоньерку, да поднял крышку стола.

Надя, подав руку Громову и едва взглянув на него, сердито упрекнула Бориса, что он заранее не предупредил о приезде брата и потому у нее ужин не готов.

— Да мы с собой все прихватили, — сказал тот, чуть усмехаясь. — Зашли в кулинарию и купили кое-что.

— Знаю я это кое-что, — заметила Надя, разворачивая кульки. — Деньги на ветер только кидать!

Борис подмигнул Громову — мол, не обращай внимания, старина! — и, открыв дверцу шифоньера, стал доставать тарелки.

— Вы сами тут управляйтесь, — сказала Надя, оставив в покое кульки. — Там, на кухне, у меня Колыка на горшке сидит. Пыжится.

— Один? — удивился Борис.

— Танька смотрит, — ответила она и пояснила Громову: — Соседка, Татьяна Петровна. У нас тут попростому... Да вы ее, наверное, помните?

Он, конечно, помнил угрюмую, боком ходящую, словно воду ногой пробующую, пожилую женщину. Действительно, Танька...

— Пойду поздороваюсь, — сказал он Борису.

— Потом, — остановил тот его. — Лучше потом к ней зайдешь. Отдельно.

— Что, ссорятся?

— Не в этом дело, — нахмурился он, но пояснять не стал: вернулась с сыном на горшке Надя.

— Вот твой дядя! — показала она Громова без улыбки, и ребенок, как и мать, взглянул на него исподлобья похожими на ее бледно-голубыми глазами. Только не такими злыми.

— Ты оделась бы, что ли? — попросил Борис, но Надя, двинув тощими бедрами и раскружив подол старого мятого ситцевого халата, отрезала: — Не гость, брат приехал. Какая уж есть, пусть смотрит. Не нравлюсь, другую найди!

Борис пожал плечом и пододвинул к столу три маленьких белых табуретки.

— Давай, братан, садись! — сказал и сел первым, не дожидаясь.

Ужинали молча, обмениваясь отдельными репликами. Надя кормила из ложечки сына, и Громов иногда перехватывал ее настороженный, изучающий взгляд.

— Что думаете дальше делать? — спросила Надя у Громова, передавая сына Борису. Тот молча взял и усадил к себе на колени. Но она, освободившись, только сдвинула свои худые ноги, а халат не стала одергивать.

— Не знаю еще, — сказал Громов, почувствовав вдруг неодолимое желание возражать, спорить, врать — все, что угодно, но только чтобы поперек...

— А ты говорил — куда-то ехать он хочет? — толкнула она локтем мужа, тот сделал вид, что не слышал, занятый сыном.

И теплое чувство жалости к брату, такому сильному и беспомощному, разлилось в груди у Громова, подступив комом к горлу. «Ах, черт подери! — радостно и зло сказал он сам себе. — Я тебе сейчас устрою праздник души! Борька, он все понимает — мы с тобой одной крови — и ты, и я, как предупреждал Маугли о своем появлении на чужой территории невидимых в зарослях зверей».

— Поживу недельку-другую, потом решу! — он оглянулся на комнату, как бы примериваясь к ней.

— Где поживете? Здесь? — холодно поинтересовалась Надя.

— А где же еще? — спросил он так же холодно. — У меня другой квартиры нет.

— Ты слышишь, Борис? — обратилась она к мужу, и в голосе ее послышалось раздражение.

— Слышу, — откликнулся тот, не отвлекаясь от своих занятий.

— А чего же молчишь?

— Имеет право, — сказал он, делая козу сыну.

— Может, мы вдвоем на этом диване спать будем? — Она указала кивком головы себе за спину.

— Вот этот шифоньер выбросим, и я туда раскладушку поставлю! — сказал Громов серьезно. — Вместе нам спать будет тесно.

Что-то, видимо, в его тоне она уловила и поняла, что он ее разыгрывает. Умная все же женщина, что и говорить! Где ему было с ней тягаться?

— Ну, ладно, — сказала она, покусав бледную тонкую нижнюю губу. — Пока вытряхивайтесь на кухню, мне постели стелить надо.

И они пошли на кухню знакомым Громову и узнаваемым каждым своим гвоздем коридору.

— Вот так-то, братан! — сказал Борис виновато, открывая форточку. — Так-то вот.

Они закурили и долго молчали, глядя в темное, отражающее их лица стекло окна.

— Я завтра утром уезжаю, — сказал Громов.

— Да я понял, — отозвался Борис. — И она поняла. Только не сразу...

В двери толкнулась Надя с сыном, сидящим на горшке:

— На, поддержи, все равно лясы точите. Пусть попыжится! — И ушла, крутанув снова подолом халата вокруг ножек-ходулей.

Громов загасил сигарету, выбросил ее в форточку и помахал руками, разгоняя дым.

Борис усадил сына вместе с горшком на подоконник.

— Ну, пыжься, как мамка приказала! — сказал он сыну, придерживая его и горшок. — Сам-то здоров?

— Здоров, — ответил Громов. Он не писал ему о ранении и об ордене. И сейчас хотел сказать, но не успел. Снова возникла Надя.

— Вы что, обалдели?! — закричала она, отталкивая мужа, беря ребенка на руки и заглядывая в горшок одновременно. — Форточка открыта, надымили. А этот балбес опять ничего не сделал! Проси тебя не проси, как об стенку горох!

Продолжая ворчать, она побежала из кухни, сильно хлопнув дверью.

— Когда-нибудь я ее убью, — спокойно сказал Борис. — Кабы не сын...

Сына он сильно любил — это Громов видел по его глазам — не сейчас, когда в них появился яростный огонек, а тогда, за ужином, и минуту назад, на кухне.

Громов промолчал. Да и что он мог сказать старшему брату, которым привык гордиться и которого всегда и все любили. Кроме Нади. Жены. «За что же она его так унижает? — думал Громов. — Может, знает, что уйдет все равно. Рано или поздно. И мстит заранее? Или хочет сломать, уверенная в том, что нигуда от сына не денется? Бьет по самому больному, больному, и при нем, его младшем брате, а он — терпит. И все понимает...»

Они оба с братом с детства были привязчивыми, и это, наверное, передала им мать — усталая, большая, добрая женщина, угасшая на третий день после смерти мужа, которого боготворила. И он к ней относился так же: за все годы жизни не слышали они грубого, резкого слова, ни одного упрека, хотя он — сильный, здоровый человек — до последнего часа работал, а она полжизни пролежала в постели.

Нет, не поняли бы они ни Бориса, ни его нынешнего жителя-бытия!

— Деньги тебе нужны? — спросил Борис. — Я могу подзанять у ребят.

Громов в деньгах нуждался, но занять мог и сам: у брата и без заема хватало проблем!

— Деньги есть, — сказал он. — А мои шмотки остались?

— Остаться-то остались, да что толку? Ни во что не влезешь. Я тебе свою куртку дам и брюки. Они мне уже маловаты, а тебе в самый раз. Я примеривал на глазок.

Он был и выше, и мощнее Громова, но выбирать не из чего: хотелось снять форму и надеть, наконец, нормальную одежду. И почувствовать себя другим.

— Ты уж извини... — проговорил Борис. Он знал, что брат уезжает в чужой город, и чувство вины перед ним его не покидало.

— Да брось ты, Борька, — обнял его за плечи Громов. — Там у меня есть к кому обратиться.

Он ему не успел многого рассказать о себе. Но сейчас было не то настроение. И он решил, что напишет подробно оттуда. Из города, куда утром уезжал начинать новую жизнь.

шифровке не поддавалось. Требовался опытный шофер. Слово «опытный» было подчеркнуто.

Не колеблясь, он толкнул дверь.

...Кадровик, лысоватый, потеющий мужчина с пухлым лицом и обиженным выражением глаз, попросил Громова заполнить листок по учету кадров и, прочитав, кисло заметил, что с таким стажем его и в такси не возмут. «Читал объявление? — спросил он обиженно, словно Громов, придя сюда, нанес ему, уставшему, затурканному делами человеку личное оскорбление. — И потом тебе еще прописка нужна». Но орден Красной Звезды, видимо, произвел впечатление на него, и, подумав, он ушел куда-то с бумагами Громова. Вернувшись через полчаса, взволнованно сообщил: «Сам хочет посмотреть! Но учти, он водителю для себя как невесту подбирает. Чтоб без сучка! И ты меня, пожалуйста, уж не подводи — стой и не дыши. Отвечай на вопросы четко, как перед генералом, понял? Он у нас своенравный».

В кабинет они попали сразу, но начальник, едва глянув на них, начал разговаривать по телефону.

Кадровик придерживал Громова в двух шагах от письменного стола и сам остался тут же, почтительно и виновато сгорбившись и прижав к бедру тоненькую папочку.

— Ну! Ну! Ну! — нетерпеливо вскрикивал начальник и раздраженно обгрызал с разных сторон спичку, сплевывая крохотные щепочки на сложенную коробочкой ладонь. Потом принялся ковырять в зубах, энергично орудуя спичкой, словно ломом.

Громову стало противно смотреть, и он перевел взгляд на широкое, почти в полстены окно: там, в облачной мути, слабо просвечивалось солнце, похожее на яйцо; проплыл на натянутых тросах бетонный блок — напротив шло строительство дома; на край наружного подоконника сел и начал отряхиваться воробей...

— Ну! Ну! Не телись! Не телись, говорю! Шутю я так, понял? Пока еще шутю, понял?

Начальник положил трубку и повернул к ним лицо — оно было бледное, недовольное и морщинистое.

— Ну? — спросил он, вытаскивая из коробки новую спичку и оглядывая ее подозрительно. — Это что ли, орденосец твой? Пацан совсем!

Кадровик быстренько подскочил к столу, перегнулся через кресло и ловко положил перед начальником тонкую папку — рука у него оказалась длинной и гибкой.

— Этот, этот, Петр Петрович! — заверил он, оглядываясь на Громова, словно еще раз убеждаясь в том, что того не подменили, пока он клал папку.

— Чего ты бумаги мне суешь? — рассердился начальник и дернул кончиком носа. — Ты мне словами скажи, кто и что!

Он выбросил спичку в корзину под столом и достал другую.

— Значит, так, Петр Петрович. — Кадровик потянулся снова через стол, взял папку и раскрыл ее перед собой, как ноты. — Рождения...

— По памяти не можешь, что ли, уже? — Начальник ковырнул спичкой в зубах, поморщился и начал удивленно рассматривать, крутя ее перед глазами.

Кадровик покраснел шеей и полез в карман за платком, который тут же, едва вынув, уронил.

Громов повернулся и пошел к двери...

Кадровик догнал его в коридоре.

— Ты чего? — спросил он, вытирая лысину и шею платком. — Ушел чего, спрашиваю?

— Противно! — не скрывая злости, сказал Громов. — Что я, лакей, что ли?

— Э, милый мой! — усмехнулся кадровик. — Не тебя он — меня воспитывал!

Громов передернул плечами и взглянул на кадрови-

У доски объявлений Громов постоял недолго — записал всего два адреса. Первым на пути оказалась солидная контора с длинным названием, которое рас-

ка с осуждением. Хорош! Пожилой, дети, наверное, уже взрослые, а ведет себя, как холуй, потеет от страха. Словно кролик перед удавом!

— Тебе хотел помочь,— угрюмо проговорил кадровик, глядя в сторону.— Ты не был в Афганистане? А у меня сын там погиб год назад. Его, как и тебя, орденом Красной Звезды наградили. Посмертно, правда... Вот и подумал: поехал бы он куда, а его кто-то вроде меня взял бы да и отшил — и молодой, и прописки нет, и без жилья, и опыта никакого... Дай, думаю, попытаюсь, чем черт не шутит, может, уговорю! Учреждение наше солидное, квартиру со временем можно получить: начальник своему шоферу всегда делает, если захочет! Ну, да ладно! Запиши вот телефончик. Сосед мой, начальник тоже, искал вроде шофера. Человек он добрый и с жильем может помочь, есть у него каналы... А вообще-то не рыпайся зря! Когда чего-то просишь, гордость дома оставляй. Начальники гордых не очень любят. Будь здоров, солдат!

5

Наскоро перекусив в пирожковой, Громов подошел было к телефону-автомату, но звонить раздумал: второй неудачи не хотелось, надо пока отложить и заняться чем-то другим. А почему бы не навестить Лену Микишину или по крайней мере не посмотреть дом, в котором она живет? Он собирался сделать это после того, как решит все свои проблемы, чтобы явиться к ней не озабоченным, как сейчас, а спокойным, уверенным и радостным. И потом как бы между прочим сообщить, что живет и работает в этом городе... Удивится, конечно, и может, даже упрекнет, что так долго не приходил и ничего о себе не сообщал.

Так он шел и мечтал, улыбаясь своим мыслям, пока не увидел, что находится уже на улице Пархоменко, где и был дом Лены Микишиной.

Громов бегом поднялся на третий этаж, нашел нужную дверь и нажал кнопку звонка. Ему долго не открывали, и он подумал, что никого нет, хотя заметил, как словно бы что-то мелькнуло в стекляшке дверного глазка. И вот звякнул ключ в замке — дверь открылась на длину цепочки.

— Вам кого? — спросил мужской старческий голос: того, кто спрашивал, в узкую щель было не видно.

— Лена Микишина здесь живет?

— Вы одни? — поинтересовался голос после небольшой паузы.

— Один,— удивляясь вопросу, сказал Громов и машинально оглянулся.

— Сейчас открою,— буркнул стоявший за дверью, закрывая ее плотно и снова открывая, уже без цепочки.

В плохо освещенной прихожей, заставленной к тому же какими-то ящиками, баулами, чемоданами, двумя разобранными велосипедами с маленькими колесами, Громов оказался перед коренастым, но широкоплечим и, видимо, сильным стариком с крупной гривастой головой. Его маленькие острые глаза под мощными седыми бровями смотрели на Громова насмешливо и выжидающе.

— А Лена дома? — спросил Громов.

— Как твоя фамилия-то? — Старик наклонил ухо в его сторону, прислушиваясь.

— Громов. Александр,— представился он.

— А-а,— протянул старик.— Не помню. Давно не писал, что ли?

— Давно.

— А почему не в форме?

— Демобилизовался,— ответил Громов и посмотрел поверх головы старика на двери, ведущие в комнаты: там было тихо.

— Отсюда или приезжий?

— Приезжий. Здесь недавно.

— А-а,— снова протянул старик и улыбнулся.— Значит, Лена тебе нужна. Микишина, да? Ну, проходи.

Он повернулся и неожиданно легко, подпрыгивая на носочках, двинулся по коридору к дальней двери. Громов пошел следом и остановился на пороге, пораженный увиденным.

В небольшой комнате с двумя одинаково застеленными кроватями одна из стен была почти наполовину заклеена фотографиями: разного формата, черно-белые и цветные, групповые и одиночные, но на всех — молодые парни в армейской или флотской форме, в фуражках, пилотках, беретах, бескозырках; блондины, шатены, брюнеты...

— Где ты тут? — спросил старик, доставая из кармана бархатного жилета футляр с очками.— Раз шатен, тут надо искать, здесь где-то...

Он чуть сдвинулся и, близко наклонясь к стене, стал смотреть фотографии через одно стекло, как через лупу.

Громов уже догадался, что все это значит, и во рту у него сразу стало горячо и сухо. Никакой Лены Микишиной не было и нет. Его ловко разыграли. И не просто разыграли — водили за нос три месяца. Как, наверное, и этих дурачков, приславших свои фотографии. Но от сознания, что ты не один, легче не было. Дурак — он и есть дурак, в компании или без нее. Хорошо еще — газету со своим портретом не послал, вот бы посмеялись тут!

— Не ищите,— сказал он, стараясь говорить спокойно.— Моей фотографии здесь нет.

— Перехитрил, значит, моих шалунишек? — улыбнулся старик, отрывая от стены взгляд.

— Перехитрил,— подтвердил тот.

— Ну, и ладно! — Старик поправил прядь волос над ухом и пожевал губы.— Не полностью, значит, крючочек-то заглотнул! А хорош крючочек, а? На Лену Микишину бо-ольшой улов был! Первое место среди наших артисток занимает.

— Каких артисток? — спросил Громов, снова удивляясь.

— Так Микишина-то — артистка. Нашего драматического театра. Прима, можно сказать. Вот мои шалунишки и пустили в ход ее карточку. Близняшки они, внучата-то, большие выдумщицы. По тринадцать лет, а смотри, каких молодцов отлавливают!

Старик картинно отвел в сторону стены руку. Он явно гордился своими внучатами и их успехами.

— А письма? — Вопрос соскочил с губ произвольно, потому что он ничего не хотел спрашивать больше.

— Письма? — переспросил старик и построжал.— Письма — это плоды моего вдохновения! Мой жизненный опыт, знание психологии людской, человеческих слабостей и интересов оказались незаменимыми в такого рода работе. И я хотел, чтобы все лучшее, что есть во мне, перешло к моим внучкам: пусть знают, как сложен мир, как хитры и подлы люди, что их ждет впереди! Нельзя верить словам! Ни одному слову нельзя верить! И они это, надеюсь, поняли, и теперь у них не будет уже никаких иллюзий.

Он победоносно взглянул на Громова и артистично мотнул головой, встряхивая седую гриву...

— Вам понравились мои письма? — застенчиво улыбаясь, спросил он, провожая, Громова.

— Вы молодец! — похвалил тот, уже поняв, что старик — сумасшедший или мерзавец.— Попробуйте писать анонимки, они у вас еще лучше получатся.

— Привет Лене Микишиной! — крикнул старик визгливо и захлопнул дверь.

...Эту первую ночь в чужом городе Громов коротал на вокзале, среди множества людей, дремлющих или спящих на старых желтых скамьях с высокими спинками.

Подходили и уходили куда-то в ночь поезда, в зале то появлялись, то исчезали шумные людские потоки, время от времени просыпался и невнятно бормотал что-то громкоговоритель, живущий, видимо, своей, отдельной от дежурной, жизнью, и Громов, устав думать обо всем, что случилось с ним за один этот бесконечно долгий день, незаметно уснул...

...Его разбудил среди ночи милиционер.

— Документы есть?

Милиционер был молоденький, но строгий и настоящий. Посапывая и косясь на Громова, протирающего слипающиеся глаза, он быстро и не очень внимательно просмотрел бумаги и спросил:

— Едешь куда?

— Нет, сплю, — ответил Громов. — Вернее, спал, пока не проснулся.

— Здесь спать не положено.

Громов посмотрел на спящих вокруг людей и пожал плечами:

— А этим можно?

— И этим нельзя.

— Так в чем же дело? — удивился Громов. — Пойдем разбудим?

— А ты остряк! — сказал милиционер и подвигал желваками.

— Я остряк, а тебе делать нечего, да? — усмехнулся Громов, раздражаясь. — Что за город за такой? И люди что за странные здесь живут?

— Вот сейчас мы разберемся, что ты за птица! Пошли! — приказал милиционер. — Там тебе и объясню, чем занимаюсь.

И они пошли — Громов впереди, милиционер сзади, в двух шагах, как положено при конвоировании.

На них смотрели просыпающиеся люди и перешептывались...

Точно так же полгода назад отходили они от горящего в кювете «газика» командира заставы.

Одной рукой капитан Ермошин поддерживал раненого Громова, в другой сжимал пистолет со спущенным предохранителем, а впереди, в двух шагах, шел, горбясь, со связанными руками задержанный ими нарушитель, который минуту назад выскочил откуда-то прямо под колеса и то ли от страха, то ли от неожиданности выстрелил, но попал не в них, а в машину. Потом у него случилась осечка, и за это короткое мгновение они успели выскочить из «газика», сразу задымившегося, оказаться в пяти метрах от нарушителя, уже поднимающего пистолет на Ермошина, и эту пулю Громов принял на себя, заслонив капитана...

Когда он очнулся, Ермошин давил коленом в спину задержанного, затягивая ременный узел на его руках, а чуть дальше, уткнувшись носом в кювет, всюю дымила новенькая, еще не до конца обкатанная машина.

— Живой? — спросил Ермошин, наклоняясь к нему.

От капитана жарко пахло потом и одеколоном, и Громова замутило. Ермошин вытащил из брюк край нижней рубахи, рванул кусок и, сложив его в узкую полоску, крепко стянул на плече концы.

— Встать сможешь? Надо подальше отойти, а то рванет бак...

— Смогу, — прошептал Громов и действительно с помощью капитана встал, покачиваясь, и потрогал ногами землю.

Земля покрутилась, но удержалась на месте, и они двинулись, и шли какое-то время, и слышали, как за поворотом дороги грохнул взорвавшийся бак, увидели черный завиток дыма, игриво взмывший над скалой, а потом и бегущий навстречу наряд...

— Чего же не сказал, что орден у тебя? — обиженно спросил милиционер, открывая перед Громовым дверь из дежурки.

— Документы плохо смотришь, сержант! — сказал сердито Громов. — Там все написано.

— У меня первое дежурство, — пробормотал тот смущенно.

— Могло бы стать и последним! — заметил Громов. — Если бы я бандитом оказался. Или без пистолета остался, это уж точно! А что ты ко мне прицепился?

— Так у тебя же не написано на лбу, что орден имеешь.

— А что я бандит или вор — написано?

Милиционер промолчал.

— Так куда ты теперь меня ведешь?

— Как приказали товарищ лейтенант, в гостиницу «Октябрьская». Интуристовская, между прочим, экстралюкс! Номер «люкс» для тебя уже заказан.

— Слушай! — смутился Громов. — А подешевле ничего нет? Понимаешь, у меня денег всего на неделю, и то, если в пирожковой питаться...

— Мы не можем разрешить такому человеку жить где попало! — нахмурился милиционер. — Только там, и только в номере «люкс»! Что мы скажем первому секретарю? Он завтра ровно в восемь тридцать будет ждать тебя у горкома. Только не наверху, а внизу, у лестницы. Ну там, где обычно выходит.

— Да не там он выходит! — сказал Громов и пронулся...

...Вокзал уже жил напряженной утренней жизнью. Сновали носильщики, катя перед собой тяжело нагруженные чемоданами тележки; шли в разных направлениях озабоченные люди; буфетчица несла на вытянутых руках большой поднос с чистыми стаканами; у газетного киоска выстраивалась очередь; деловито откашливался громкоговоритель; маленькая девочка, держа на коленях котенка, поила его молоком из пластмассового стаканчика; полная женщина пудрила нос, поглядывая в круглое зеркальце...

Все были чем-то заняты, куда-то готовились, чего-то ждали от дальней или недалекой дороги, начинающейся отсюда, с этого вот порога.

И Громов, думая о хорошем сне, в котором жизнь, шутя, свела начала и концы дня, вышел на привокзальную площадь.

Он смотрел на город, ловко взбирающийся по крутым склонам древнего холма, чтобы там, на просторе, бежать дальше, разворачивая во всю ширь проспекты и улицы, парки и скверы, новенькие шестнадцатизатражки и старые нешумные, в заборах и зелени, дома.

Город, вчера не принявший его и не оттолкнувший совсем. Еще не свой, но уже и не чужой, потому что города, как и людей, нельзя, наверное, понять с первого взгляда.

Громов оглянулся на здание вокзала, в котором в третьем зале, на шестой скамейке в пятом от буфета ряду оставался его хороший сон, и пошел быстрым шагом к трамвайной остановке, чтобы начать все сначала.

Он приехал сюда жить, и он был упрямым человеком.



Владимир
КОРОТКОВ

Холст

Я не любил восточных сказок
За пышный стиль, за дикий нрав,
За то, что, властелина сглазив,
Там воцарялся хищный раб.

Я больше верил в быт неяркий
И в справедливость мелочей.
Но все ж вошел в Музей подарков
В одну из тысячи ночей.

Еще недавно в жизни нищей
Была по карточкам еда.
А залыплы, как добычей
Перегруженные суда.

Взамен Ван-Гогов и Сезаннов,
Марке, Матиссов и Дега,
Что были высланы из залов
В подвал, подальше от греха,

Такие громоздились дива,
Так выставлялись напоказ,
Что зритель жался сиротливо
Средь навербованных богатств.

Но вдруг, от блеска одуревший,
Я вздрогнул и забыл про все:
Увидел чудом уцелевший
Холст молодого Пикассо.

То был не броско, не картинно
Написан как бы натошак
Не то чулан, не то квартира,
Мансарда, попросту чердак.

Железная торчала койка,
Но бедный быт не унижал,
И там в объятьях дерзко, долго
Мужчина женщину держал.

Лиц не было, но было ясно,
Что это вовсе не жена,
Но для него она прекрасна
И позарез ему нужна.

Я видел: он — ее забота,
Я знал: она — его судьба.
Такая в них была свобода,
Что я до слез жалел себя.

Парадно, хищно и надсадно
Музей подарками рябил,
А там, во Франции, в мансарде,
Мужчина женщину любил.

Он прижимал ее к рубаше,
И что поделать с ним могли
Все короли и падишахи,
Все усмирители земли?!

И я, двадцатилетний парень,
Нисколько не хватавший звезд,
Вдруг понял: этот холст опален,
Как всякий настоящий холст.

И стало горестно и грустно,
Просторно стало и светло,
И сопричастностью искусству
И гордостью меня прожгло.

Поэты

В задоре, а может, в запое,
С похмелья, с трезва — все одно,—
Но только в своем Гуляй-Поле
Обмолвился батька Махно:

«Актеры и девки охочи
Любому, кто сверху, служить...»
А знал атаман, между прочим,
Почем в лихолетии жить.

Едва ль не мальчишкой отведав
И кровь, и этап, и острог,
Он все же причислить поэтов
К актерам и девкам не смог.

Жестоким был Нестор Иванович,
А все ж понимал, голова:
Поэты не падают навзничь,
Не лают чужие слова.

Не менее чем Откровенье
Подай им — и вся недолга,
А там хоть хула, хоть забвенье,
Зато не презренье врага.

Слава Пьецух

В прогрессах и регрессах,
И в придурях Клио
Прозанк Слава Пьецух
Насвистан, как никто.

Ему знакомы тайны
Столетия за три
И скопом, и детально,
И как бы изнутри.

Любой сюжет учебный
Так переворочит,
Что, мысля, как Ключевский,
Как Зоценко, смешит.

И так поставит фразу,
Что кажется: она
И запросто и сразу,
И саморождена.

Пришла эпоха сюра,
А с чем ее встречать,
Не знает профессура,
Не ведает печать.

И Слава Пьецух трудно
Живет признанья без...
Хоть простота абсурда
Нужна нам позарез.

Большие батальоны

Бог на стороне
больших батальонов.
Вольтер

Они во всем едины,
Они неразделены,
Они непобедимы,
Большие батальоны.

Они идут, большие,
Всех шире и всех дальше,
Не сбившись, не сфальшивя —
У силы нету фальши.

Хоть сила немудрёна,
За нею власть и право.
Большие батальоны
Всевышнему по нраву.

И обретает имя
В их грохоте эпоха,
И хорошо быть с ними,
И против них быть плохо.

Но всю любовь и веру
Я отдал все ж не богу,
А горе-офицеру,
Который шел не в ногу.

Стих стиху

Был у Евтушенко
Стих — не самый лучший,
Но ему оценку
Дал мой личный случай.

На большие сроки
Изгнан из шеренги,
Полубил я строки
Жени Евтушенко.

Описал он просто,
Прямо, без утайки
Лихость, непокорство,
Стойкость ваньки-встаньки.

Жизнь была не нянька,
А скорей — лишенка,
Но грел душу «ванька-
Встанька» Евтушенко.

Потому что, грустный
И не выйдя рожей,
С этою игрушкой
Был я чем-то схожий...

Грусть

Шум и трескотня
Не влекли меня.
Минул, не звеня,
Звонкий возраст.
От немногих чувств
Приглянулась грусть.
Извинят мне пусть
Эту косность.

В шепоте души —
В грусти — нету лжи.
Но хоть не пиши —
Все не схватишь:
Вся приглушена,
Вся зыбка, нежия,
Видно, рождена
Лишь для клавиш.

Ни наедине,
Ни на людях мне
Неподвластна, не-
уловима.

Для «едва-едва» —
Мало мастерства,
И плывут слова
Мимо, мимо...

Дорога

Из прошлого в грядущее
Тоска меня вела
Такая проклятущая,
Как в город из села.

Подковки били весело,
Подметки ног не жгли,
Пейзажная поэзия
Мерещилась в пыли.

И, хохоча над будничным,
И молод, и спесив,
Я, переполнен будущим,
Из прошлого спешил.

Но путевая живопись
Убавилась в красе,
И молодость осыпалась,
Как роща вдоль шоссе.

И тут уж к пущей радости
Увидел по пути:
От зрелости до старости
Недалеко идти.

Эх, прежнее, дорожное,
Пехотное — ать-два!
И вроде что хорошего
Теперь сулит ходьба?

Одно лишь направление,
Другой нет стороны.
А все же, тем не менее,
Шагаем хоть бы хны.

Игра судьбы

Александр его удалил
В Кишинев, а потом в поместье,
Чем свободой одарил,
Уберег от уколов чести.

Мог в столице к полкам пристать.
И не выстрелил пусть ни разу,
Все равно писать-рисовать
Воспретили бы, как Тарасу.

И какая б стряслась беда
Для Россин — не думать лучше...
А когда б не пошел туда,
Исказнил бы себя, замучил.

...В Петропавловке жестко спать,
Если каешься без оглядки,
А в Михайловском тишь да гладь
И с опального взятки гладки.

Бывшее слово

Медленно, но упрямо
Время слова казнит.
Прежнее слово «дама»,
Что у тебя за вид?

Вроде бы не сегодня
Вышло ты на покой
И ни на что не годно,
Даже в роман плохой.

«Дамы и кавалеры» —
Сказано не про нас.
Фразе такой нет веры,
Жизнь — все же не таицкласс.

Странно звучало б: «Дамы!
Дамы и господа!»
Здесь от любви и драмы
Не отыскать следа.

Все они отзывались,
Сникли в живой стране,
Так что тоски-печали
Нету по старине.

Даму достала старость,
И недалек закат...
Вот она и осталась
Только в колоде карт.

В Подмосковье

А. Гастеву

Этот стих тебе с любовью,
Если только разрешишь...
Ты меня из Подмосковья
Перекидывал в Париж.

В той закускойной у пруда
И разбитого шоссе
Возникали, словно чудо,
Тюильри, Шанз-Элизе.

Для стакана выбрав место,
Как факир из рукава,
Ты выхватывал де Местра,
Энгра и Делакруа.

Словно впрямь в Пале-Рояле
Десять лет твоих прошли,
А не на лесоповале
На краю родной земли.

И, глаза устало сузив,
Помрачнев навеселе,
Ты расхваливал французов
За уверенность в себе,

За достоинство и гордость,
Непрощение врагу...
И смолкал, упрямо горбясь.
Словно взвешивал тоску.

Так стоял, как будто грезил,
Хмуро, медленно зверел,
И созвучно «Марсельезе»
На столе стакан звенел.

Поезда

Кафель, мрамор и море неона —
Красота! И такая тоска,
Что спохватишься вдруг удивленно:
Под землею Москва — не Москва.

Тут в жару подышишь в охотку,
И не холодно тут в холода,
Но бегут друг за другом вдогонку
Поезда, поезда, поезда.

В быстроте здесь одно утешенье,
А другого — ни в ком и ни в чем:
Городской холодок отчужденья
По туннелю свистит сквозняком.

Никого ведь не кормим, не поим
И, похоже, уже навсегда,
Но зато столько роем и строим,
Что бегут сплошняком поезда.

Рви отсюда напропалую,
Протрезвей и уже не держись
За подземную, полуслепую,
Очумелую эту не-жизнь.

За озерной, за далью лесною
Есть куда посчастливей места...
Но, однако, бегут под землею
Поезда, поезда, поезда.

Есенин

Слух пошел: «Второй Некрасов...»
Но брехня и чепуха:
Для статей и для рассказов
Этот не впрягал стиха.

Душу радовали кони,
И свиданки за селом,
И лукавые гармони,
И гармония во всем.

И хоть пил средь обормотов,
Но зато в работе всей
Нету стертых оборотов,
Тягомоти и соплей.

Что ему журналов травля?
Сын задавленных крестьян,
Барина из Ярославля
Победил по всем статьям.

Дар его был равен доле,
И стиху был равен пыл,
Знал он слово золотое
И сильнее себя любил.

Жизнь отдавши за удачу,
Миру, городу, селу
Загода шепнул: не плачу,
Не жалею, не зову...

В больнице

Старик ворчит. Он стар.
С того, небось, ворчит.
С того, что слаб, что сдал —
Ворчание, как щит.

Ворчание, как круг,
Чтоб не уйти на дно.
Ворчание, как друг,
И с ним оно давно.

На фронте, может, был,
А может, и сидел,
А нынче хвор и хил
И вовсе не у дел.

И ты к нему не лезь,
Хотя вы с ним равны,
И на свою болезнь
Гляди со стороны.

20

КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Взгляд со стороны

Разрешите представить себя: меня зовут Брижитт, мне 29 лет, я из Франции. занималась искусствоведением, потом учила русский язык и экономику в университете в ФРГ. После окончания учебы сбылась моя мечта: я поехала работать в СССР (как представитель бюро путешествий, через которое немецкие туристы приезжают в Советский Союз). Дело в том, что многие организационные дела, которые на Западе выполняются как бы автоматически, здесь вовсе не происходят сами собой. Следить за их выполнением — в этом и заключалась моя задача.

Когда кончался туристский сезон, я была свободна, занималась тем, что меня интересовало, знакомилась со многими советскими людьми. Ребенком вместе с родителями я жила в разных странах Европы; будучи студенткой, много путешествовала, но нигде меня так сердечно не принимали, как в России. Нигде нет таких простых отношений и такого сочувствия. Стоит позвонить или просто зайти — и ты уже сидишь в гостях. За чаем идут разговоры об искусстве, литературе, о наших странах, ходят анекдоты. Мне всегда было уютно и хорошо. Но все же эти четыре года я всегда оставалась иностранкой, как бы ни старалась говорить даже слэнгом, который мне ужасно нравится. С одной стороны, я чувствовала себя членом вашего общества: я ездила в метро, ходила в магазины, в кино, читала советские газеты, порою на своих туристов смотрела как на иностранцев, в общем, обрусела. И все-таки всегда: «Аааах, французенка!» — с интонацией, которая выдавала ассоциации с произведениями Бальзака.

Эта реакция, конечно, объясняется историческими причинами. Иностранцев уважают, но порою боются по понятным причинам контактировать с ними.

Людей определяют политическая система, климат и религия, но первоначально мы все одинаковы. Меня всегда трогает, когда мои туристы, приехавшие в Советский Союз с предрассудками, счастливо заявляют, что здесь такие же люди, как они сами. Самое лучшее доказательство возможностей взаимопонимания: постоянно кто-то из туристических

Виртус "Тоска"



В «20-й комнате» рисовал Михаил Златковский

групп влюбляется, многие поженились.

Я, конечно, тоже влюбилась, и история была сказочная, как в кино. Но будни раскрывают массу сложностей для западной женщины проблем. Вообще мне в России очень нравятся женщины, и, возможно, это будет атака против мужчин. Я не эмансипэ и не из тех экстремисток, которые ненавидят мужчин. Они, по-моему, не учитывают три вещи: 1) природа создала мужчин и женщин — значит, им надо найти общий язык; 2) ненависть мужчины по отношению к женщине и попытки подавить ее — это лишь страх перед женщиной; 3) именно отношения между мужчиной и женщиной делают нашу жизнь интересной и драматической напряженной.

Мне кажется, что у вас именно женщина держит всю страну: она работает, умудряется вести хозяйство и воспитывать детей; неудивительно, что она не может следить за собой, — или просто нет стимула? Меня всегда удивляло, как советские женщины начитанны, жизнелюбивы, как они, несмотря на огромный дефицит, умеют одеваться. Один французский коллега очень четко сформулировал мои мысли, представив советскую семью так: «Жена, один или двое детей, а третий ребенок — муж». Это неудивительно при таком воспитании мальчиков. Конечно, здесь чувствуется Восток, восточный патриархат, мальчик должен стать настоящим мужчиной, «который не плачет». И второе: если мужчина что-то и делает дома (вообще-то для этого есть жена!), то только для МАМЫ — единственной женщины на всю жизнь (и лучшей из всех). Здесь, по-моему, и лежит корень всех проблем. А называется он эдипов комплекс. Я встречала его в России во всех возможных вариантах. Мама святая, и никогда он не восстанет против нее, что означало бы стать взрослым. Итак, он остается незрелым, инфантильным и не может взять на себя ответственность за женщину и за семью, у него может быть любовница, но ни одной женщине он не дает равноправия, он а-ля папá: у мужчины мозг больше, значит, он умнее.

В разговорах женщины придают этой теме мало значения, есть, мол, более важные вопросы. Но перестройка показала: если хочешь чего-то достичь, сначала нужно менять психологию. И лишь изредка очень робко звучит в этих разговорах то, что для западной женщины давно уже стало нормой: замужество уже не имеет такого престижа, как в XIX веке. Можно жить вместе и без бумаги из загса, и женщина сознательно — подчеркиваю, сознательно! — живет одна, прежде чем дать такому папш возможность тиранить ее. Развод у нас — дело более сложное, и если у людей нет действительного намерения создать семью, то они просто и не женятся. Так этому шагу придется придать большее значение. Женщина становится другом, с которым муж все делит и обо всем говорит. Между прочим, и в вопросе де-

тей, и о том, как предохраниться от нежелательной беременности. Если бы русским мужчинам пришлось вытерпеть такие аборт, которые терпят их жены, то они только о предохранении и говорили бы и ежедневно помещали бы статьи об этом на первой странице «Правды».

Меня также всякий раз удивляет равнодушие, с которым 30—35-летние женщины видят себя в роли старых, для мужчин неинтересных женщин, в то время как на Западе именно в это время начинается прелестный возраст зрелой и настоящей женщины.

Часто мне задают вопрос: правда ли то, что пишут о вашей безработице. Да, это правда, но нужно кое-что добавить: мы отчисляем от нашей зарплаты (помимо налогов) 17% в кассу для медицинского обслуживания, пенсии и страховки безработицы. Из этой кассы безработному платят около 60% от предыдущей зарплаты в качестве пособия, пока он не найдет новую работу. Сама я после учебы сразу нашла работу — правда, не по специальности.

Многие женщины у нас не работают, я не знаю статистику, но «исключительно домашняя хозяйка» — распространенная профессия. Я считаю, это целесообразно — ведь воспитывать детей и вести домашнее хозяйство наряду с работой очень трудно. Во многом наша безработица — следствие того, что повысилась занятость женщин, которые пошли работать, чтобы на дополнительные деньги купить вторую машину, больше одежды и т. д. Но эти женщины меньше времени уделяют детям, которые целыми днями остаются одио. Отсюда — масса проблем, а проблемы молодежи везде одинаковы. В таких семьях действительно «нелегко быть молодым». Для многих женщин отказ от работы означал бы шаг назад в свободе, в развитии, хотя, очевидно, это зависит от характера человека. Моя мать, например, имела профессию и не работала, однако вовсе не тупела при этом; и я очень благодарна ей за то, что она всегда была со мной. Когда я впервые увидела в СССР женщину — шофера троллейбуса, я не верила своим глазам, не говоря уж о крановщицах и женщинах-строителях. Разве такие профессии дают женщине свободу и равноправие?

Мне кажется, свобода советской женщины скорее лежит в том, чтобы освободить ее от двойной нагрузки. Может быть, тогда и семьи стали бы прочнее и квартиры уютнее. Ведь уют — это вопрос скорее времени, фантазии и желания, чем размера квартиры и денег. Моя малюсенькая студенческая квартира под самой крышей была — несмотря на маленький бюджет — очень уютная. Недорогих тканей, из которых можно шить занавески и подушечки, в ГУМе навалом, кисти и краски я тоже видела в магазинах. Почему бы не раскрасить эти скучные, всюду одинаковые ванны яркими красками, а старый шкаф — розовыми цветочками? Далеко не каждый у нас может позволить себе антикварный се-

кретер или белый кожаный диван.

Когда я была в гостях у друзей, живущих в коммунальной квартире, меня всегда спрашивали: знаю ли я, что такое коммуналка. Они думали, что я буду шокирована, «узнав о таких условиях жизни». Конечно, здесь есть свои отрицательные стороны, но в общем-то идея коммунальной квартиры мне нравится, и на Западе молодые люди, особенно студенты, часто вместе снимают квартиру. У каждого своя комната, ванная и кухня общие. Это, во-первых, дешевле, во-вторых, общительнее, уютнее. Можно также снять комнату по объявлению в так называемом «жилищном обществе». Получится ли совместное проживание, зависит, как и везде, от самих участников.

Единственное, к чему я не смогла привыкнуть здесь, — это грубость. Со временем я поняла, что обратная сторона этой грубости — искренность; и я задала себе вопрос: что лучше — вежливость и скрытность или грубость и искренность? Бывало, что люди, отнесшиеся ко мне грубо, в другой раз были добрыми и помогали мне. Постепенно я перестала болезненно реагировать на такие вещи. Но к грубости в области обслуживания я так и не привыкла.

Два месяца мне довелось работать в Риге, и я, конечно, удивилась вежливости и внимательности, например, персонала гостиницы. Девушки — дежурные по этажу всегда были на месте, официанты быстро обслуживали и т. д. Я поинтересовалась их зарплатами. Оказалось, что они зарабатывают столько же, сколько их коллеги в Москве. Значит, дело не в деньгах. А в чем? Казалось бы, легче отвечать на вопрос вслух, нежели грубить и этим портить настроение другому человеку.

Хочу компенсировать мою атаку против мужчин, но на другом уровне. Я познакомилась с очень интересными и талантливыми мужчинами из области литературы, театра, кино, живописи, науки и была приятно удивлена тем, как скромно и приветливо общались со мной, дилетантом, зрителем, читателем, слушателем. Наши творцы искусства забыли, что именно мы, простые слушатели и т. д., нужны им для успеха, они к простому смертному не могут спуститься, испорчены деньгами и славой.

Но, к сожалению, здесь много талантливых людей, даже обладателей премий (некоторых из них приглашают для выступлений на Западе), возможности которых ограничивает номенклатурная структура. Мне кажется, что везде — и в творческих союзах, и в научных институтах и т. д. — одинаковая система: группа людей со средними способностями занимает функциональные посты, и всячески препятствует всему, что выходит за средние рамки, что талантливее их. Друг другу они помогают выпускать свои книги, фильмы, устраивать выставки, часто никому не нужные. Понятно, что возникает коррупция. В ходе перестройки, кажется, что-то изменилось, по край-

ней мере в Союзе кинематографистов.

После того, как я посмотрела «Покаяние», я, наверно, недели три переживала. Друзей и родителей, которые навещали меня в Москве, я посылала смотреть этот фильм, и они все поняли, хотя не знают русского языка, и плакали — ведь сюжет годится не только для СССР. Если раньше у нас почти никогда не показывали советские фильмы, то сейчас они идут даже по телевизору («Жестокий романс», «Сталкер», «Голубые горы»).

Вообще последний год Советский Союз был в моде — женщины носили одежду в русском стиле, надевали серьги с серпом и молотом, свитеры с вышитым Кремлем. У нас стали известны советские рок-группы, увеличился поток западных туристов, приезжающих в СССР. Это, конечно, типично для Запада — использовать благоприятную ситуацию, чтобы делать бизнес, но это также свидетельствует о благожелательном отношении к Советскому Союзу. Это также связано с появлением Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева, которому на Западе многие очень доверяют, а наши женщины уважают его не только как политика.

Вернемся к моему впечатлению от перестройки. Некоторые художники, картины которых годами скаплива-

лись в мастерских, со счастливым энергией рассказывали мне о своих первых выставках. На самом деле эти выставки сезона 1986—1987 годов были великолепны.

Конечно, на Западе гораздо проще издать книгу или выставить свои картины. Если издатель верит в то, что книга даст прибыль, он ее издаст, но писатель может и сам финансировать издание своей книги, а художник может заплатить владельцу галереи за выставку своих картин для продажи. Но это вовсе не гарантирует качества книг или картин, скорее наоборот: магазины, например, до потолка заполнены книгами, пластинками, альбомами порой такого уровня, что становится стыдно за людей, которые их покупают. Здесь мы подошли к разнице между СССР и Западом, которая для меня является фундаментальной: у нас все чем-то заполнено. Как только появляется свободное время, человек прыгает в машину, чтобы поехать в физкультурный центр, покататься на лыжах, в кино или в ресторан. Общество потребления значительно сократило время, которое человек проводит наедине с собой. К тому же нашу фантазию порядком подавляют средства массовой информации, которые показывают нам, какими мы должны быть, как должны одеваться, какую музыку слушать, что ку-

шать и т. д. Людей, созерцающих в одиночестве, мало. А в Советском Союзе, наоборот, недостаток возможностей времяпрепровождения заставляет человека больше размышлять, он читает, общается с друзьями, идет в театр, на выставки (нигде я не видела таких огромных очередей перед музеями). Русский интеллигент часто больше знает западную культуру, чем интеллигент западный. Мне иногда жаль, что русские ориентируются в чем-то на Запад и завидуют нашему высокому уровню жизни. А стоит ли ему на самом деле завидовать? Я, во всяком случае, очень благодарна судьбе, что смогла провести это время в Советском Союзе. И, конечно, было особенно захватывающе жить в центре событий перестройки, чувствовать, как постепенно огромный русский потенциал поднимается на поверхность в науке, в искусстве, в экономике, в рок-музыке, в моде... и как активно осваивается культурное наследие прошлого.

Скоро я уеду домой, и мне будет очень тяжело. Я оставляю здесь столько друзей! И я знаю, что у меня в крови тот же вирус, который есть у всех иностранцев, которые жили в СССР и полюбили эту страну; называется он «тоска».

Брижит ЦОЛЬДАС

Мода на отличие

«— Когда я надел один значок, никто не обратил внимания. Когда два — тоже. Но когда их стало восемь, даже десять...

— А зачем тебе так много?..»

Разноцветные цепи, шипы на браслетах, куриная лапка «пацифика», значки с надписями типа «Деньги — это мусор»... Все это стало настолько привычным, что даже не останавливает взгляд.

Однако примерно год назад в разнообразных «прикидах» появилось нечто «новое», затмившее по популярности даже значки любимейших рок-групп...

Московская школа № 358. Директор школы — Смирнов Вячеслав Нилович: «Я по натуре человек демократичный, просто так ничего запрещаю не стану. Когда у меня школьник носит хохолок на голове и объясняет, что это его металлическая символика, я ничего не имею против: пускай носит. Но вот я вижу ребят, которые рядом с комсомоль-

скими значками, где уже есть изображение Ленина, нацепили еще несколько... Я их спрашиваю: «Зачем вы это делаете?» В ответ — одно молчание. И тогда я прошу их снять значки, раз они сами не знают, зачем надели. Хотя я и не вижу в этом особой проблемы, просто мода».

Дима Шелковников: «Первый толчок дали, как это ни странно, люберы. Нет, их идеи нам совсем не нравятся. Но не только же люберам носить значки с Лениным. Да и повысился интерес к истории, политике и к личности Ленина тоже».

Миша Филимонов: «Может быть, дело в том, что сейчас, когда начали копаться в истории, В. И. Ленин оказался единственным идеалом, которому можно подражать».

Организатор внеклассной работы Мороз Н. В.: «Когда ребята надевают значки с изображением Ленина или с надписью «XXVII съезд КПСС», я беседую с ними, пытаюсь объяснить, что нацепить кучу знач-

ков — мало. Сначала надо подумать, о своем участии в перестройке».

Подход у школьной администрации такой: сначала дозреть, пойми, а потом носи или спорь. И это не случайно: ведь носят значки в основном сложные, «непослушные» ребята.

Лиля Агеева: «Идут по улице хорошо одетая девушка, юноша. На лацкане — значок. Строишь, какой — ага, Ленин, — и тоже надеваешь. Только прохожих это шокирует: такая модная девушка — с таким значком...»

Странно, правда: этому, казалось бы, радоваться надо, ведь надеть такой значок — уже поступок. Переход от цепей к ленинскому значку мог бы стать маленьким, но шагом, шагом от самых примитивных форм социальной активности к чему-то большему. Мог бы — при условии какого-то осмысления. Стоило бы собрать ребят и дать им возможность поговорить на эту тему. Однако, как и «благополучные», которые носят свои комсомольские значки, не задумываясь, «из послушания», так и «сложные», не задумываясь, свои ленинские — «из противоречия».

Есть в этом какой-то кураж: заставить учителя снимать с себя значки с Лениным...

«Скажи, для тебя это мода или знак принадлежности?» Борис: «Знак принадлежности в какой-то степени». «К кому?» «К...»

Может, к тем, кто «не снимает»?.. К какой-то таинственной группе, о которой ребята знают не больше,

чем сами учителя? И так приятно — выделиться, молчать с таинственным видом, когда тебя расспрашивают...

Глупо? Глупо!

Но протест не рождается на голом месте, он всегда против чего-то. В данном случае — против невозможности носить свою символику, против постановки вопроса: сначала дорасти, а потом...

Вопрос: «Почему лично вы против значков?»

Мороз Н. В.: «Во-первых, я считаю, что такое количество значков сразу — и бескультурье, и оскорбление личности вождя. А кроме того, существует Устав школы, где ясно сказано о единой школьной форме: разрешено носить только комсомольские или пионерские значки».

«Вы боретесь с этим явлением?»

«Смотря кто носит. Старших стараемся убедить, объясняем, что это

бескультурье. С младших, которые просто попуайничают, снимаем».

Радин Паша: «Если хотите мнение отдельного члена комитета комсомола: пусть носят. Мне кажется, ничьи убеждения от этого не пострадают. Если расспросить всех в отдельности, то почти все так думают, а если вместе, то почему-то все против...»

Нет, все-таки трудно понять сегодняшних старшеклассников. С необыкновенной скоростью они придумывают все новые формы проявления своей социальной активности, и взрослые просто не успевают за ними: как к этому относиться, как с этим бороться? А может, стоит просто поверить?..

Надя Ковалева: «Эта мода сейчас проходит. Во всех западных журналах мод только и видишь, что советскую атрибутику: «ускорение», «перестройка», «гласность». Наверняка такая мода будет

и у нас».

Ира Микишева: «У нас в классе уже есть один такой значок — самодельный — «Ускорение-YES». Пока не запрещают».

«Как вы относитесь к такому варианту символики?»

Мороз Н. В.: «Все зависит от того, кто носит, а то можно наломать дров. И вообще, зачем они нужны, эти значки?..

Дима Шелковников: «Знаете, как надоела эта однообразная школьная форма!.. А значок — самый простой знак отличия, к тому же символ».

...Дует свежий ветер, и хочется как-то поучаствовать, хотя бы поразмахивать руками. Ведь в том возрасте, когда можно говорить о каких-то знаниях, убеждениях, вкладе в развитие общества, носят уже не значки, а медали...

Виктория БАЛОН

Исповедь, а что же дальше?

Я ПРИШЛА в «20-ю комнату» полтора года назад. И первым моим «заданием» было разобраться с почтой. Безобидная эта фраза повергла меня тогда в шок. Письма в двадцатой комнате лежали на столах, стульях, шкафах, висели на стенках и летали по воздуху. В общем, довольно обычная история для популярного издания, которая отличалась одной-единственной вещью: совершенным доверием молодежи к «комнате», отношением к ней как к «службе доверия», молодежному клубу, центру. И «комната» старалась изо всех сил ответить своим друзьям, авторам писем, вниманием, участием, поддержкой, а главное — остротой и злободневностью публикаций, попыткой поставить «ребром» очень многие нелегальные вопросы.

Говорю о письмах вообще, чтобы выделить из них большую часть — ответы на двадцать вопросов, которые задала «20-я комната» своим ровесникам. Чем были для нас эти вопросы: рамой, в обрамлении которой мы хотели увидеть портрет своего поколения? Лучом, в свете которого стало бы ясным и отчетливым так любимое прессой «собирающее» лицо современного молодого человека? Или попыткой привлечь внимание к «вечным» вопросам человеческой жизни? Да, и кому адресовались эти вопросы, тоже вопрос — вам, нам, им, себе? Во всем этом, прочитав одну тысячу триста десять исповедей я и хочу разобраться.

«...Находишь ли в себе силы при любых обстоятельствах оставаться независимой личностью?..

Ты нашел человека, которому мо-

жешь рассказать все о себе? Или ты один?..

В какие минуты живешь по-настоящему? Что содержат в себе эти минуты, часы, дни?..

Мы обращаемся к тебе, юному нашему современнику, напиши о себе. Откровенно до беспредельности. Честно и прямо...

Как бы преобразил мир? Можешь приложить к письму свой проект, свои предложения. Ждем...»

Чуть-чуть цифр: из всей огромной почты «Исповеди» опубликовано тридцать писем. Главные темы: «Перестройка» и «Одиночество».

«Мои слова не слишком добры, но и не слишком злы: я констатирую факт...» Многие старательно залезли внутрь своего «я», как улитки в раковину, разучились претендовать на роль серьезнее статистов. (А потом все бегают и хватаются за голову: одиночество в семнадцать лет! пассивная молодежь!) По-моему, одиночество среди молодежи и ее кажущаяся пассивность не только тесно связаны друг с другом, но являются прямым следствием оторванности молодых людей от управления государством. По большому счету.

Вернемся к нашим исповедам. Огромное-преогромное Одиночество из писем оказалось похожим на склеенное из разных кусков зеркало — издали кажется целым, а подойдешь поближе — изображение разбивается на десятки капель. И лица уже не разглядеть.

1. «...Никто меня не понимает, и молча гибнуть я должна...»

Письма из этой серии (по количеству занимают одинаковое место

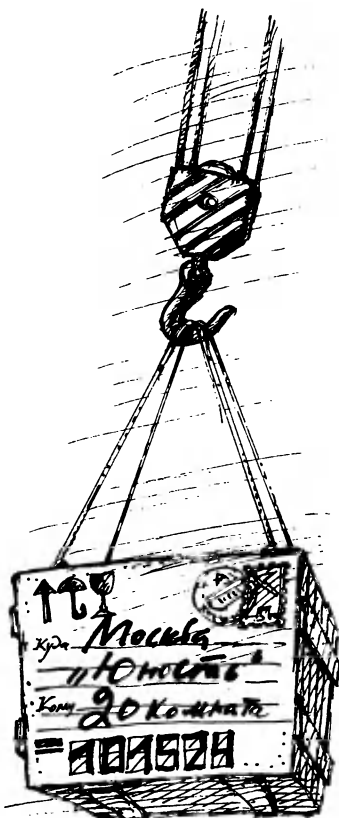
с письмами о несчастной любви) сводятся к: а) отчуждению с родителями; б) с друзьями; в) со школой.

Возраст авторов писем — 14—18 лет.

Суть дела: люди начинают думать. Самостоятельно. Еще чуть-чуть, еще немного, и поезд начнет набирать обороты: от механического мышления «по ГОСТу» — к своему собственному. Но пока все сводится к десятку восклицательных (вопросительных) знаков в строке.

2. Куда и зачем идти?

Возраст авторов — 16—22. Главный вопрос, проходящий лейтмотивом через письма: где он, этот путь к «себе»?



Тематика писем: а) «Как открыть зарытый талант?», б) «Все дороги ведут в вуз?», в) «Призвание и работа по специальности — две вещи совместимые?».

Каждое пятое письмо в «Исповеди» — на тему выбора жизненного пути, поисков своего призвания. Общие настроения: 1. Весьма мрачное. Ощущение себя бездарем, никчемным человеком, ненужным обществу. 2. Полной растерянности: после нескольких стычек с окружающим миром руки опущены. Для меня это самые страшные письма в почте. Абсолютное (в 70 случаях из 100) безверие в себя. «Чего хочешь? Не знаю... Чего не хочешь? Не знаю. Все равно. Помогите!..»

3. «... и любовь».

Возраст, ясно — «до... и старше». «Счастье молчит, горе кричит» — писем о счастливой любви — раз, два...и все. Несчастливая — во всех вариантах — безответном, обманутом, прошедшем... Не хочется иронизировать по поводу авторов этих писем (в основном женского пола), но одно скажу: самым убогим, бесцветным, холодным языком написаны письма о самом высоком и ярком человеческом чувстве, и это горько.

ВТОРАЯ, значительно меньшая по количеству писем часть «Исповеди» — от людей, которые неравнодушны к окружающей их жизни. Взгляд направлен не столько внутрь себя, сколько вне — на общество, наш образ жизни, на нас самих. Они не «зацикливаются» на собственных психологических страданиях, и если авторы первой части «Исповеди» я жалею (в лучшем смысле слова), то этих уважаю. За наличие позиции.

1. «Я не люблю...»

Авторы этих писем — молодые люди от 16 до 25 лет. Вопрос, за что бороться, рождается в процессе борьбы против явлений, которые

нельзя терпеть. В этой части — письма возмущенного рабочего, борющегося с заводской бюрократией; студентки из Киева, которую унижают глупые, домостроевские правила типа «женщина в брюках — это...», которых придерживается институтская администрация; письмо школьников 9-го класса, не желающих выпускать «по праздникам» так называемую «общешкольную газету», которая на самом деле не что иное, как яркий и пустой листок бумаги; еще одно письмо, от студентов, не желающих платить взносы «добровольным» обществам, в работе которых они не участвуют, и т. д.

Эпиграфом к этим письмам могла бы стать песня Высоцкого «Я не люблю».

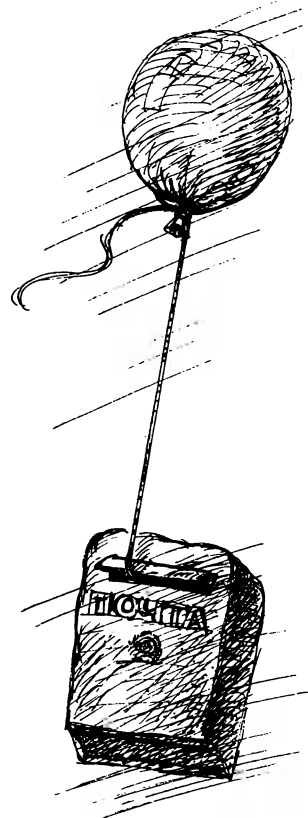
2. Хотя бы не мешайте!

Это письма от так называемой «творческой молодежи»: молодых прозаиков, поэтов, художников, актеров, режиссеров, музыкантов. Профессиональных и самодельных, начинающих и со стажем «пробивания себя». (Пишу «так называемой» только потому, что против ярлыков: «неформальная» молодежь, «творческая» молодежь, «рабочая» молодежь...) У них огромное количество проблем, и, рассказав, их необходимо решать. Чем можем — помогаем.

...Вот такие письма пришли в «20-ю комнату», и СПАСИБО всем, кто нам написал: за доверие, веру и любовь. Но в большинстве случаев оказывается, что людям не хватало элементарного общения, советов психологов или юристов, просто уверенности в себе. «20-я комната» при ее искреннем всепонимании не служба психологической помощи или бюро знакомств. Я не хочу сказать, что мы отказываем в помощи такого рода. Нет. Но! «20-я комната» — это Твоя возможность заявить о себе, анонсировать свои проекты социальных преобразований во всевозможном масштабе, это возмож-

ность поддержки Твоего Дела — того, которое Тебя волнует, того, за которое у Тебя болит душа, это шанс реализовать свои мечты. Продолжая параллель, кресло «20-й комнаты» может быть выражено как социальная помощь, социальная инициатива молодежи. Помни об этом, когда садишься за письменный стол, поднимаешь телефонную трубку или едешь к нам на метро.

Вероника МАРЧЕНКО.



Двенадцатая попытка

«Вы призываете иметь мечту как эталон целеустремленности? Вот реальность: моя ученица — Зейнаб Хачапуридзе — имеет мечту стать врачом и учиться в Москве. В 1976 году успешно окончила школу в Кутаиси, не попала в институт. Пошла работать санитаркой в психоневрологический интернат для престарелых и каждый год вновь поступала в институт, но безуспешно. Единственным способом преодоления «обстоятельств» для нее были все новые попытки поступать.

Восемь раз (или восемь лет!) не могла Зина поступить, хотя занималась и сама, и с преподавателем. Ус-

лышав, что преимущественное право поступления будут иметь медсестры, пошла учиться в медучилище, где мы и познакомились. Окончила училище с красным дипломом, однако и это не помогло. Трижды еще сдавала Зина экзамены в институт и, хотя в училище была одной из лучших учениц, в институт по-прежнему поступить не могла.

Итак, десять лет стажа, одиннадцать попыток стать студенткой, врачом. Согласитесь, что упорство и целеустремленность были проявлены Зиной исключительные. Отсюда следует, что в нашей действительности совсем не достаточно иметь большую

мечту и волю к ее достижению. Думаю, что глубоко порочна система отбора, которая с неумолимым постоянством отбрасывает убежденных и целеустремленных людей. Понятно, почему медицина наводнена случайными людьми и, следовательно, плохими специалистами.

Заканчивая, хочу спросить: «Как бороться с действительностью, может, у вас есть способы на вооружении? Каков моральный ущерб после таких побоев и можно ли обойтись без стрессов, унижений? Можно ли сохранять человеческое достоинство в подобных ситуациях?»

Была бы рада любой помощи Зине».

Ксения ХАЛИМОВА,
кандидат медицинских наук,
преподаватель медучилища № 13.

г. Москва.

Кража со взломом

Смотрим кино

По поводу одного фильма и не только его.

С фильмами о певцах нам почему-то не везет. Не помогают ни талант, ни популярность исполнителей песен и главных ролей. Пожалуй, основная беда таких фильмов — несоответствие, расхождение материала музыкального и кинематографического («Женщина, которая поет», «Душа», «Начни сначала» и т. д.). Недавно этот рядполнила снятая на «Ленфильме» картина «Взломщик». Интересна она в первую очередь тем, что затрагивает неприкасаемую до сих пор тему — любительский рок.

Довольно долгое время деятели, отвечавшие за культурную жизнь, руководствовались незамысловатым правилом: если какое-то явление нам не нравится, то оно попросту не существует. Этакий страусинный принцип: сейчас я закрою глаза, и вы все исчезнете. Короче, «чур меня». Чурались, в частности, музыки рок и самостоятельных рок-музыкантов.

Потом ситуация изменилась: «неформальное» рок-движение заметили, и им занялись. Временами начинает казаться, что лучше бы этого не случилось. Потому что сразу же встал вопрос: что делать? Что делать с теми, кто стрижется то слишком длинно, то слишком коротко, одежду носит то слишком широко, то слишком узкую, ведет себя то слишком миролюбиво, то слишком агрессивно. И песни поет такие же. Противники всего этого — и умные, и не очень — справедливо усмотрели в песнях главное зло, сумели понять, что это не эстрада, не просто песня, а идеология, вера и образ жизни. И как с этим быть? Именно этот вопрос не оставляет в покое авторов «Взломщика» на протяжении всего фильма.

Очевиден контрвопрос: а почему непременно и немедленно надо что-то делать? В стране дефицит на людей, умеющих мыслить и действовать неординарно. Почему же человек нестандартного вида и поведения должен неизбежно стать объектом целенаправленного воздействия?

Однако представим, что их нет. Все поколения нашего общества дружно, радостно и красиво трудятся, потом так же радостно, красиво и дружно отдыхают, поют зазорные

песенки. Все аккуратны, подтянуты, ведут себя этично, выглядят эстетично... Нам слишком долго внушали, что именно так дело и обстоит, а отклонения случайны и нетипичны. Именно поэтому многие испытывали состояние, близкое к шоку, и не на шутку испугались своих детей, когда было объявлено, что на самом деле все не так. О том, что происходит в действительности, каждый и раньше мог судить по личному опыту, но считал именно свой случай исключением. Теперь другая крайность — общие разговоры о потерянном поколении. Немедленная реакция — желание бороться, лечить, исправлять. Надо полагать, что именно такими настроениями вызван к жизни фильм «Взломщик» — история певца потерянного поколения Кости и его брата-пионера, совершившего ради брата-музыканта похищение синтезатора.

Первый просчет, который совершают авторы фильма вслед за своими рокерами, — это погоня за модой, акцент на экзотике молодежного движения. Каждое поколение — потерянное, пока не найдет себя, и до тех пор огромное значение придается внешним атрибутам поведения. Это не более чем сопутствующие симптомы, они если и отражают суть происходящего в молодежной среде, то косвенно, частично, с преломлением через инстинкт подражания и порядки в эталонной группе. Это лишь свидетельство процессов, распространившихся далеко за пределы авангардных группировок, но почти незаметных со стороны, поскольку основная часть молодежи ведет себя более-менее конвенционально (как положено).

Можно согласиться, что шокирующая одежда и песни — это вызов и протест, но зализывать симптомы — занятие, как известно, бесполезное. Борьба с внешними признаками — типично административный подход, неплохо показанный в фильме. Должна беспокоить та легкость, с которой этого человека могут задержать на улице и допытываться потом, почему он себе такое позволяет. Или — что уже совсем никуда не годится — просто сорвать те побрякушки, которыми тот себя увешал. От одного этого захочется в следующий раз нацепить что-нибудь еще более экстравагантное, чтобы уж совсем вывести из себя обывателя.

Пытается — не без успеха — эпатировать обывателя и фильм. Того обывателя, который — увидев он

«Взломщика» года три назад — вообще не понял бы, в какой стране и в какие времена происходит действие. Теперь он достаточно информирован, хотя и однобоко — знает только, что есть неформальные движения, отличающиеся пристрастием в основном к музыке непонятных направлений. Фильм также отталкивается от музыки. Музыкантов показывают (пропускают) партиями. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Сор показан убедительно. С разливанного моря музыкальной халтуры начинается фильм, им же (морем) и заканчивается. Это обрамление и фон, который призван оттенить талант главного героя и в то же время ненавязчиво указать его место на вершине пирамиды бездарей. Здесь и начинается кража — кража смысла того явления, о котором идет речь в фильме.

Социальный феномен рок-музыки — сложный, противоречивый, неоднозначный, но очень важный для понимания нашего современника в возрасте от 15 до 30 и старше — представляется как шабаш своего рода, тупиковое порождение времен застоя, мистическая форма пассивного протеста люмпенов.

Разрушить этот замысел было бы несложно — достаточно музыки группы «Алиса», которая звучит в фильме (солист и лидер группы Константин Кинчев играет главного героя). Достаточно было бы музыки и ясных слов о своем поколении. Слов, к которым не мешало бы прислушаться и другим поколениям:

**Мое поколение молчит по углам.
Мое поколение не смеет петь.
Мое поколение чувствует боль,
Но снова ставит себя под плеть.**



Но — странное дело — песни «Алисы» даны в фильме, так сказать, в гомеопатических дозах — чтобы только было понятно, что певец талантлив. И не более того. Звук приглушен предельно, слова неразборчивы, изображение такое мутное, будто съемки ведутся под водой. Вроде бы так воспроизводится натуральное, «всамделишное» звучание «Алисы» на концерте. Но даже с этой точки зрения неясная запись неоправданна. Слушатели знают слова наизусть, и поэтому даже неясный переданный динамиками текст воспринимается чисто и отчетливо. А в фильме ажиотаж публики кажется немотивированным, отчего и возникает ощущение шаша. Полноценная студийная запись дала бы «непосвященному» зрителю представление о роке, но разрушила бы конструкцию, возводимую режиссером.

Иллюзорно ощущение, что фильм почти не касалась рука режиссера. «Взломщик» поставлен точно и профессионально — в деталях. Удачные эпизоды, а их немало, в основном относятся к разряду режиссерских находок. Удачен образ Дома культуры как модели нашей «культурной жизни» в целом. Уязвима общая концепция. Имитация прямого кино не делает изображаемое более убедительным. Даже так называемый «Сайгон» (известное кафе), который в фильме называют именно так и даже показывают, не очень-то похож на себя самого. Рок-музыканты, не играющие, а просто демонстрирующие себя, скорее подчеркивают надуманность авторских построений. Даже водку, извините, пьют неубедительно. Особенно главный злодей — опереточный негодяй, который по случайному — надейся — совпадению напоминает нарядившегося металлистом черта. Не внушает дове-

рия и его прозвище — Хохмач. В лексиконе тех, о ком фильм, нет слова «хохма», поэтому неоткуда взяться и такому имени. Оно устарело так же, как и в целом сцены с участием Хохмача, решенные в традиционной манере подачи воровских «малин» и притонов 20-х или 40-х гг. Но это уже претензии к сюжету и сценарию.

Нет ничего предосудительного в том, что сюжет не имеет в фильме никакого значения. Мы видели и не такое. Но тогда каждый эпизод, механически пристегнутый к предыдущим и последующим, должен обладать собственной значимостью. Нас уже не надо озадачивать тем, легко ли быть молодым. Трудные судьбы молодых и немолодых, проходящие вереницей перед зрителем, поданы незастойливо, в лоб, с использованием всего арсенала накопленных кинематографом штампов. Слезливая мелодрама сплетается с уголовным сюжетом, но этот кентавр никак не соотносится с тем, что является смысловым стержнем фильма — самодеятельным роком. Кульминация совершается вне всякой логической связи с предшествующими эпизодами. Это крик героя: «Нас нельзя изменить, нас можно только уничтожить». Надрывная реплика адресована — кому бы вы думали? — брату-школьнику лет 11—12. Если это позиция героя, то зачем так обреченно кричать? Тогда надо спокойно констатировать: настоящего человека можно убить, но сломать невозможно. Едва ли это справедливо по отношению к рок-музыке. В том-то и дело, что тех, от чьего имени говорит герой, нельзя уничтожить. Как раз легче изменить (купить) каждого в отдельности — так, что он и сам этого не заметит. Каждый может сломаться. Но его место тут же занимают другие. Это трагедия для кого-то, но гарантия

преемственности и развития. Рок пока далек от вырождения и кризиса. Но откуда обреченность в фильме? Она нужна авторам для создания высокой трагедии о человеке, неспособном покинуть тонущий корабль. Отсюда — истерика. Отсюда же — нагнетание безысходности: ночные мотоциклисты, пьяницы, наркоманы, милиционеры, коммунальные интерьеры. (Хорошо еще, что нет сцен разврата. Да и остальные эпизоды из перечисленного ряда кажутся оборванными посередине. Создается впечатление, что фильм специально сделан так, чтобы выглядеть порезанным.) Но сотворить атмосферу уныния не удастся. Музыка и сами деятели рок-движения, несмотря на свой патологический внешний вид, как ни странно, вносят в фильм бодрое и здоровое начало. К тому же главные герои слишком уж хорошо играют. Вопреки беспомощности текстов.

Беспомощность идет от непонимания. В первую очередь непонимания смысла явления. Поэтому явление изображается как смысла не имеющее (неблагополучная семья — это повод пить, но не петь). То есть нам демонстрируется в модернизированном виде все тот же старый подход: не понимаю — значит не существует. И это нежелание признать, что действительно есть и куда не денутся в ближайшем будущем те вещи, которых не понимаешь, даже при самом объективном и доброжелательном подходе превращает сам фильм в ничто, в форму без содержания. Поневолле вспоминается эпизод «Взломщика», в котором проверяют футляры музыкальных инструментов, чтобы убедиться, что содержимое на месте. Если так проверить сам фильм «Взломщик», становится очевидной совершенная кража.

Андрей АНТОНЕНКО

Что там пишут?

Когда члены одной из команд КВН заявили, что будут бороться за то, чтобы их имена были внесены в «Книгу рекордов Гиннеса», стало понятно, что пора познакомить тех, кто о ней не слышал (а таких было большинство), с этим любопытным сборником.

Передо мной «Книга рекордов Гиннеса».

В предисловии Бенджамин Гиннесс, президент одной из крупнейших ирландских компаний «Гиннесс», пишет: «Люди в Ирландии, как и повсюду, всегда ведут споры о том, что больше всего, что длиннее всего, что самое тяжелое, горячее, холодное, самое мокрое, сильное и т. д., и для решения всех этих споров создание авторитетного справочника было просто необходимо; мы понимаем, конечно, сколько удовольствия находят люди в спо-



ре, но, с другой стороны, как обескураживает невозможность проверить правильность ответа».

Сборник издается на 14 языках мира, переиздается каждый год и пользуется большой популярностью.

Бенджамин Гиннесс утверждает, что книга рекордов по уровню распродажи может сравниться только с Библией.

Составители книги — братья-близнецы Норрис и Росс Макрайтеры — знакомят читателя с принци-

нами отбора рекордов, трудностями, с которыми приходится сталкиваться при составлении подобного сборника, и порядком рассмотрения заявок на мировые рекорды. Сборник состоит из 12 разделов, в числе которых: Человек, Животные и Растения, Природа, Наука, Искусство, Спорт и др.

Итак, «Гиннесс» утверждает, что:

Самым высоким человеком был американец Роберт Уодлоу (1918—1940 гг.), рост которого составлял 272,034 см. Его ботинки были 46,99 см длиной. Максимальный зафиксированный вес 222,7 кг.

Самого тяжелого человека породил штат Иллинойс. Роберт Эрл Хьюз (1926—1958 гг.). Максимальный зафиксированный вес его в год смерти составлял 484,89 кг при росте 184,75 см.

Рекорд по деторождению, по мнению составителей сборника, поставила наша соотечественница, первая жена крестьянина Московской губернии Федора Василета (наверное, все же Васильева), которая в середине XIX века умудрилась родить 69 детей (27 родов, 16 двойняшек, 7 тройняшек и 4 четверняшки). За эту замечательную деятельность она якобы даже была принята при дворе Александра II.

Рекорд по отцовству установил император Марокко Мулай Исмаил (1672—1727 гг.) по прозвищу «Кровопийца», который, как утверждают, стал отцом 548 сыновей и 340 дочерей. Количество жен многодетного отца не указано. Похоже, что в ближайшее время этот рекорд побит не будет.

Трудно побить рекорд французской актрисы мадемуазель Полэр и англичанки Этель Грейнджер, которые застегивали на своей талии ремешок длиной 33,02 см.

«Гиннесс» утверждает, что самый тяжелый мозг принадлежал И. С. Тургеневу и весил 2011,676 г (при том, что обычно мозг взрослого человека весит 1470 граммов).

Самые длинные волосы отращивал настоятель индийского монастыря Суами Паизарасанадхи — 792,48 см. Похоже, что хиппи, подвергающиеся различным нападкам из-за длинных волос, еще «ягодки».

А вот любопытный рекорд для тех, кто любит поговорить. Сборник утверждает: редкий человек сможет членораздельно разговаривать со скоростью 300 слов в минуту. Рекорды в этой области принадлежат, как правило, спортивным радиокомментаторам. Среди «простых» людей рекорд поставил американский президент Джон Кеннеди, который в декабре 1961 г. произнес речь со скоростью 327 слов в минуту.

Рекорд неподвижности был поставлен американской манекенщицей Мардиной Одэм, которая простояла без движения 5 часов 32 минуты (в книге сделана оговорка — без принуждения).

Многие не любят рано вставать. А те, кому это приходится делать, стараются лечь пораньше. Но существуют люди, которые пробуют во-

обще не ложиться. И вот что из этого выходит.

23-летний американец из Калифорнии не спал 288 часов и поставил официально зарегистрированный рекорд, используя в качестве стимулятора только кофе, но это удалось ему с большим трудом. Наверное, поэтому издатели с известной долей недоверия относятся к заявлениям испанца Медина (который родился в феврале 1900 г.) о том, что ему «раскотелось» спать в 1904 г., после чего заснуть ему так и не удалось.

По сведениям компетентного источника, на который ссылаются составители, жизнь привидения не превышает 400 лет, после чего они имеют тенденцию к вырождению. Но и это правило не осталось без исключения, которое в этот раз составляют духи римских солдат. Поступило 3 заявления о том, что они до сих пор (спустя 19 веков) иной раз маршируют по подвалам казначейства кафедрального собора в Йорке. К слову сказать, тот же источник утверждает, что Англия занимает первое место в мире по количеству привидений на квадратную милю, а значит, и на квадратный километр.

Бок о бок с этой информацией находится рекордное достижение 32-летнего американца Роберта Фостера, который пробыл под водой 13 минут 42,5 секунды. Перед погружением он в течение 30 минут усиленно дышал кислородом.

А вот информация, которая будет интересна любителям собаководства, которых становится все больше и больше. Тех, кто считает, что 300—400 рублей за щенка породистой собаки — это дорого, можно «утешить» фактом из сборника, что самая высокая цена, когда-либо предложенная за собаку, составляла 33000 долларов (1972 г.). Хозяйка 2-годовалой борзой, англичанка Юдит Терлоу, предложение отклонила.

Не будем останавливаться на рекордах, которые побили американские миллионеры, осыпая роскошью своих любимцев, и описывать меню, предлагаемое им в «собачьих» нью-йоркских ресторанах (тем более что о ряде блюд мы знаем только понаслышке), достаточно упомянуть факт, что еще в 1862 г. на похороны дворянки Лазаруса, принадлежавшей американцу Нортону, собралось около 10 000 человек. А вот про то, как доberman по кличке Соьер из Южной Америки преследовал вора по запаху 100 миль (160 км), сказать, наверное, стоит.

Любителям кошек небезынтересно будет узнать, что больше всего за это животное было предложено в 1967 г. мисс Элспет Селлар — 5 880 долларов. Однако англичанка не пожелала и за эти деньги расстаться со своим белым персидским котом.

Опять же американец доктор Уильям Гриер оставил по завещанию в 1963 г. все свое состояние, которое составляло 415000 долларов, двум своим кошкам. После смерти кошек через два года деньги перешли Университету Джорджа Вашингтона.

Самую большую цену за бутылку вина дали, конечно же, на аукционе.

Бутылка «Шато Осон» 1900 г. Сент-Эмильон обошлась покупателю в 7920 долларов. Емкость бутылки не указана, поэтому не исключено, что это не так уж дорого, как нам может показаться с первого взгляда.

Несколько рекордов из области искусства и литературы.

Самым плодовитым художником считается Пабло Пикассо, который за 78 лет написал, нарисовал и создал 13 500 картин и эскизов, 1 000 000 эстампов и гравюр, 340 000 иллюстраций к книгам и 300 скульптур и изделий из керамики. Его работы были оценены в целом в 690 000 000 долларов.

Самый старый в мире музей был построен в Англии в 1679 г. Это музей Ашмола в Оксфорде.

Самая большая картинаная галерея в мире находится в Зимнем дворце в Ленинграде. В ней выставлено около 3 000 000 произведений искусства и археологических находок. Впрочем, это мы должны знать и без «Гиннесса».

А вот такой факт, пожалуй, можно найти только в книге рекордов: в 1961 г. картина Абри Матисса (1869—1954 гг.) «Корабль» висела в Музее современного искусства в Нью-Йорке вверх ногами 47 дней. До того, как это было замечено, в музее побывало 1 160 000 посетителей.

Больше всего романов — 904 — на счету Катлин Лийдсей (Мэри Фолкнер, 1903—1973 гг.) из Южной Африки. Они были опубликованы под шестью псевдонимами (из них 2 мужских).

Эрл Стэнли Гарднер (1889—1970 гг.) работал быстрее всех известных писателей. Он диктовал до 10 000 слов в день и мог работать одновременно над 7 романами.

4-летняя Дороти Стэйт стала самой юной писательницей. Ее роман «Как начинался мир» был опубликован в 1962 г. издательством «Пантеон Букс», Нью-Йорк. Не понятно нашему читателю может быть то, что роман был издан в тот же год, что и написан. Может быть, врут?

Самая высокая оплата труда писателя — 15 долларов за слово — была предложена Э. Хемингуэю журналом «Спортс Иллюстрейтед» за статью о бое быков.

Самым неудачливым писателем считается Уильям Голд. За 18 лет работы в этом качестве он заработал всего лишь 50 центов.

Самый коммерчески оправданный роман написала писательница Жаклин Сьюзани. С марта 1966 по июнь 1973 г. было продано 15 800 000 «Долины Кукол» (честно признаться, мне кажется, что при желании этот рекорд можно легко побить, если, скажем, книгу А. Дюма «Три мушкетера» издать тиражом 25 млн. экз., ее можно будет распродать в нашей стране за 1 год или даже меньше. Впрочем, не говори «гоп...»).

Самой длинной поэмой в мире считается индийская «Махабхарата». Она была написана в период с 400 по 150 год до н. э. и насчитывает 220 000 строк (3 млн. слов).

Самый старый сохранившийся роаль был сделан в 1720 г. во Флорен-

ции итальянским мастером Бартоломео Кристофори. Сейчас он находится в Музее искусств в Нью-Йорке.

Самый древний национальный гимн — японский «Камигэйо». Он же — один из самых коротких. В нем всего 4 строчки. В гимне Бахрейна слов нет вообще.

К удовольствию поклонников ансамбля «Битлз», спешу сообщить, что рекорд Леннона и Маккартни по популярности не побит. 30 песен, написанные ими в период 1962—1970 гг., были распроданы тиражом более 1 млн. пластинок каждая.

Самую крупную сумму денег за актерскую работу заработал Марлон Брандо за исполнение главной роли в фильме «Крестный отец».

Он получил (без вычета налогов) 10 млн. долларов.

Несколько рекордов из области лингвистики.

Больше всего людей разговаривает, конечно же, на китайском языке. По той же причине самая распространенная фамилия в мире «Чанг». На втором месте английский язык.

Одним из самых сложных языков является язык североамериканских индейцев из племени чипеуа. Количество форм глагола в нем достигает 6000.

Согласно незаконченным и неопубликованным исследованиям, сэр Джон Боуринг (1792—1872 г.) мог читать на 200 языках и разговаривать на 100. Даже если эти цифры преувеличены вдвое, информация все равно остается достаточной для того, чтобы вогнать в краску тех, кто знает только 2 или 3 языка.

Больше всего букв — 72 (включая неиспользуемые) — в камбоджийском алфавите. В самом маленьком алфавите, используемом в центре острова Бугенвиль (юг Тихого океана), — 11 букв.

Оказывается, некоторые люди соревнуются за то, чтобы занимать последнее место в алфавитной телефонной книге. Сейчас «последним из последних» является Зачари 333Зра из Сан-Франциско. Он выбил пальму последниества из рук Зеки 333Зипта (Чикаго) (Z — последняя буква английского алфавита).

Существует, как выясняется, любопытный вид, пожалуй, спорта — ходьба задом наперед. В этом виде рекорд за 24 часа побил англичанин Алекс Джиэр, который в 1974 г. прошел таким образом дистанцию 93 км.

Джеймс и Мэри Грэйди в период 1964—1969 гг. женились друг на друге 27 раз. Таким образом они протестовали против существования развода. Таким же образом, кажется, можно было протестовать и против существования брака.

А вот несколько рекордов другого порядка.

Дольше всех простоял на одной ноге Алан Маки из Пенсильвании — 8 часов 5 минут. Для того чтобы рекорд был зарегистрирован, нельзя ставить одну ногу на другую и использовать какую-либо другую точку опоры.

Настоящим человеком-оркестром может считаться Вернер Херцель,

который во время своих выступлений использует 49 музыкальных инструментов. В их число входят: аккордеон, флейта, саксофон, ударные и т. д. Все инструменты закреплены либо спереди, либо за спиной. Для поддержания инструментов сзади (выступать приходится стоя) используется четырехколесная тележка.

На австралийском чемпионате по застиланию постелей в апреле 1975 г. австралийка Кати Пернинг, несмотря на жесткие условия, умудрилась это сделать за 39,4 сек. и этим поставить непревзойденный до сих пор рекорд.

В книгу рекордов попали и танцы, вернее, кто, когда и сколько по времени смог протанцевать тот или иной танец. Короче говоря, победители танцевальных марафонов. Из них самый экзотический танец — танец живота. Рекордсменка Дарлинг Фридман, выступающая под псевдонимом «Сирена», «танцевала животом» в течение 6 часов (с двумя 5-минутными перерывами).

Пятнадцать членов Международной ассоциации дзюдоистов во главе с Филом Милнером (3-й ДАН каратэ) разрушили 6-комнатный дом ранней викторианской эпохи в Йоркшире, Англия, головами, ногами и голыми руками за 6 часов. Замечательное достижение, не правда ли?

Рекорд по максимальному количеству рукопожатий в день поставил американский президент Теодор Рузвельт, который 1 января 1907 г., в день новогоднего приема в Белом доме, пожал 8513 рук. Другие рекорды, поставленные не общественными деятелями, замечают авторы сборника, значения не имеют, так как претенденты просто выстраивали круговые очереди из ограниченного количества людей и здоровались со всеми по несколько раз.

Доктор Брюс Доббс из Филадельфии установил очередной рекорд, поймав ртом виноградину на расстоянии 50,29 метра.

Калифорниец Роджер Гай Инглиш заявил, что за 8 часов «перечеловал» 3000 девушек. Своеобразный, хотя и довольно сомнительный рекорд. Наверное, поэтому составители сборника и написали «заявил», а не «поставил рекорд». Но если все-таки так и было, то интересно, через какое время у него восстановилось желание целоваться.

Больше всех — 24 км с гаком — сумел пройти с пустой бутылкой изпод молока на голове, ни разу не уронив ее, Уильям Чарльстон из Девонпорта.

Любители музыки — шестерка молодых, представляющих Ирландию (во главе с Джонни Лейдоном), разбили пианино за 2 минуты 26 секунд. Сложность задачи заключалась в том, что за это же время, согласно условиям, они просунули остатки благородного инструмента через кольцо диаметром 22,0 см. Какими вспомогательными средствами пользовались меломаны, не указано. А вот для того, чтобы разбить пианино в щепы голыми руками, специальному коллективу из трех человек

пришлось «поработать» в течение 14 минут.

Информация (для сравнения) о том, сколько нужно времени для того, чтобы сделать инструмент, в сборнике не приводится.

Хороший спортивный рекорд удалось поставить англичанину Кейту Харрауэю, который в 1974 г. выпустил 169 колец дыма только с одной затяжки. Вот еще один пример утилизации отходов производства в капиталистических странах!

Сколько можно просидеть на дереве? Оказывается, зарегистрировано и это. Американец из Калифорнии Майкл Зеленц (21 год) просидел на дереве багрянника 57 дней 20 часов и 53 минуты (с 22 апреля по 19 июня 1974 г.). С какой целью он это сделал? Наверное, чтобы прославиться, попав на страницы сборника «Гиннесса». Больше ничего не придумаешь.

Своеобразный рекорд поставила Марва Дрю (Айова, США). На простой машинке она с 1968 по 1974 гг. напечатала все цифры с 1 до 1 000 000. Для этого ей понадобилось 2473 страницы. Когда у нее спросили, зачем она это сделала, ответ был: «Я просто люблю печатать». Чего уж, действительно, не сделаешь из любви к делу!

Есть в книге «Гиннесса» и гастрономические рекорды. Кто больше всего съел, скажем, мороженого за короткий промежуток времени (в случае с мороженым это был Рональд Лойт (Массачусетс, США), который за 12 минут съел 3 кг 629 г).

Интересен и рекорд с блинчиками. 19-летний англичанин Марк Мишом съел 61 блинчик с маслом и сиропом за 7 минут (диаметр каждого блинчика — 15,24 см).

А вот рекорд жадности: Генриетта Хаулэнд Грин оставила наследство в 95 миллионов долларов. Когда ее сыну нужно было срочно лечить ногу, бесплатную больницу искали так долго, что ногу пришлось ампутировать. Она умерла от апоплексического удара, отстаивая достоинства обезжиренного молока. В жестяной коробочке миллионерша хранила 4 обмылка.

Для любителей спорта сообщим: самый крупный хоккейный счет был зарегистрирован в матче Канада — Дания в 1947 г. Канадская команда выиграла со счетом 47:0.

Короче говоря, всех любопытных фактов за один раз не перечислишь. А ведь Гиннесс еще выпускает целые книги по разделам, например: «Музыка. Факты и рекорды» и др.

*Книгу «Гиннесса» листал
В. БРАЖНИКОВ*



Большое компьютерное купание с элементом катастрофы.



В. Маяковский. Бронза.



Возвращение.

**ЖИВОПИСЬ И МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА
ГРУППЫ «СИНТЕЗ»
г. Новороссийск**

А вы встречали чудовище?



Ф. Кафка. Бронза.



А. Платонов. Алюминий.



Полдень.



Происхождение жизни.
Бронза.

Отзвук

НЕ ЧУЖИЕ И НЕ ЧУЖДЫЕ

(Впечатления от одного разговора
без знаков препинания в конце
заголовка)

Представьте: вам пятнадцать лет, за окном вот-вот догорит короткий зимний день (ничего не успел!), учеба (или практика?) достала до чертиков, а тут (как есть охота...) вылезает на кафедру какая-то девица в очках (и что им, больше всех надо?) и мучает очередной скукутицей — сегодня это... Гоголь.

Впрочем, про кафедру — я по привычке. Обыкновенный класс, обыкновенный учительский стол, только на небольшом возвышении: чтобы легче уследить за реакцией?

Обыкновенное, таким образом, ПТУ. Но других-то я — к счастью или к огорчению — попросту не видела, поэтому, наверное, и удивлена была не слишком. Говорят, в других — в пять, в десять раз хуже; во всяком случае, вряд ли где еще отогревается на батарее обезьянка, скушает на жердочке бойцовский петух и поют — поют, представляете? — разноцветные попугаи. И дети, говорят, в других училищах несносные — что там еще молвят про пэтэушников (слово какое!)?

Когда сидящие передо мной ребята начали позевывать — достаточно откровенно, они все делают откровенно, выставя напоказ свою непримечательность, — я остановила свои рассказы о Гоголе и попросила еще десять минут внимания.

Представляете себе восторг ребят, рванувших было к дверям и остановленных внезапно?

Представляйте дальше: вам ни с того ни с сего задают вопрос — в лоб, рассчитывая на мгновенный ответ:

— Что вы любите читать? Что вы сейчас читаете?

Пришлось переждать их шуточки — нормальную реакцию нормальных подростков на подобные вопросы.

Нелегко разговаривать с классом в тридцать человек, незнакомых ни в лицо, ни по имени, и при этом пытаться вызвать у них доверие и искренность. Ни уловить все реплики, ни тем более опросить всех поподробнее возможности у меня пока нет. Но что по крайней мере интересно мне в этих ребятах — они не знают правильных ответов. Тех, которых взрослым так хочется от них дожидаться. Настораживаются и замыкаются, когда им кажется, что их провоцируют. Но когда та, вторая, сторона непредвзята и заинтересована, им есть что сказать.

А вот о книжках им есть что сказать?

Первый ответ — ответы, если хотите, — был легко предсказуем.

— Фантастику, — разом и не сговариваясь (мальчики). Но вот конкретно — ничего вспомнить и назвать не могли.

— Вот ты, — его зовут Дима, и это его язвительные реплики я слышала во время лекции, слишком современным показался ему «Ревизор», — ты любишь фантастику?

— Люблю.

— Кого же именно?

— Ну, Беляева. Еще? Жюль Верн. Обручев. Не читали? Зря. Это... Кира Булычева.

— Нравится?

— Не все.

— Про Алису, например, нравится?

— Не. Слишком детское. Скучно.

— Дим, а ты что такой грустный?

— Живется трудно.

— Может, литература отвлечет или поможет?

— От литературы?! У меня проблемы материальные.

Незатихающий гул и гвалт. Для кого-то — очередная возможность похихиметь, для некоторых — покрасоваться, кому-то просто интересно и хочется мне помочь. Так я, наконец, откликаюсь на тихий и словно неуверенный голос слева, почти из-за моей спины, с первой парты у стены. Это — Валера, круглолицый, спокойный, доброжелательный, я чувствую, что и читать он любит, и поговорить о книжках хочется, даже, может быть, что-то спросить, узнать, но у нас почему-то так мало времени!.. Слышу имя Айтматова.

— А что ты у него читал?

— «Материнское поле»... «Плаху».

— Понравилось?

— «Плаху» не очень. Трудно. Скуновато. А «Материнское поле» понравилось.

Спрашиваю у его застенчивого соседа:

— А что нравится тебе? Что читаешь?

— Эдгара По, — выдавливает он и, когда прошу назвать произведения, добавляет: — «Золотой жук».

Итак, зарубежная классика? «Одиссея капитана Блада»? Нет, мне подавай что-нибудь более возвышенное, глубокое, прекрасное:

— «Дон Кихота» Сервантеса знаете?

— Говорят, трудно.

— А ты пробовал?

— Не-а. — И глаза такие ясные, такие голубые. Он и слушал меня с интересом, и пообщаться ему явно хочется, но он не из книжечеев и потому подначивает своего соседа, и тот помогает мне выйти из замешательства:

— Дюма.

Ну, конечно же, спасительный Дюма. Я радуюсь.

— Нравится?

— Нет.

Вот это да!

— Ребята! Вам нравится Дюма?

— Че-го? Да ну! Дюма читать трудно!

— ???! Кому трудно?

— Да всем трудно.

Ничего не понимаю. И учителя ничего не понимают, вдруг зашумели, удивляются. Такое ощущение, что они пребывают в уверенности, будто дети их дни и ночи напролет зачитываются романами Дюма. После этого слова мои про мировую литературу, про античную (идеалистка!) канули в пустоту. Но ведь есть же еще программа, какие у них с ней отношения? Что же они сейчас «проходят», что читают (если, конечно...)?

— «Муму», — ответ неизбежен.

— «Кому на Руси жить хорошо».

— Ну и как?

Ну и все то же: скучно, нудно, трудно.

Переходим к поэзии.

— Советских поэтов знаете? Кто может назвать трех?

— Есенин, Маяковский, — начали бойко, два классических имени доносятся с разных парт, и снова затишье, самих, похоже, удивившее. Робко:

— А поэтов можно?

— Конечно!

— Белла Ахмадулина.

Продолжаю предложенный ряд:

— Знаете Вознесенского?

— Да, еще Рождественский.

— Читали?

— Да ну!

И опять без неожиданностей: славная, тихая девочка (они все здесь славные и тихие) произносит любовно:

— Асадов.

— Вообще читаете стихи?

— Да ну!

— Ну, Пушкин — ничего. Есенин. Маяковский — скучно, ерунда. Какая-то лесенка — непонятно все это.

— А мне нравится, — снова оборачиваюсь на Валерия голос. — Вот это, знаете, про солнце. Ну, там, солнце заходит, деревья, лето — господи, какой есенинский Маяковский! — А поэт разговаривает с солнцем. Ну...

Цитирую несколько строк — радостное узнавание.
Еще поэты: Высоцкий — кто его любит?

- Его все любят.
- Нет, я не люблю.
- И я.
- А сам слушаешь.
- Раньше слушал.

Так мое внимание перемещается к окну, к нелюбителю Высоцкого.

- Кого же ты любишь?
- Есенина. Очень. Или вот еще: «У лукоморья дуб зеленый» — здорово.

— А дальше?

— Это о Руслане-то? Богатыри там какие-то? Так себе.

Признаюсь: в дискуссию о рок-поэзии я ввязываться не стала. И не потому, что боялась, как бы не «срезали», — названные ими имена у всех на слуху (Макаревич, Гребенщиков: чем не поэты, по словам ребят?), а потому, что никакой бы дискуссии не получилось, мы бы никуда не сдвинулись с уровня первоначальных оценок — нравится, не нравится. Журнальный бум коснулся их едва ли, названия вспоминали с трудом.

— ...«Юность». Мать выписывает, — те самые голубые глаза.

— А ты читаешь?

— Я? Не-а.

Ну, что еще? Да, про Булгакова они слышали — «Мастер и Маргарита», но не читали. Заманиваю названиями, сбиваюсь на краткий пересказ — прислушиваются. То же самое было во время лекции: чуть по ходу дела приходится мне напомнить им содержание, начать излагать сюжет — в глазах мигот внимание и интерес. То же самое с биографией Гоголя — привлекает то, что познавательней.

Диагноз ясен? Мне — нет. Могу предложить пока лишь некоторые выводы.

Что я поняла про них? Чтение, безусловно, не занимает много времени в их жизни — увы и увы. Фантастика (почему-то я не слышала о детективах — забыли? не нравится? нет хороших?) — вот к чему лежит их душа. Хорошо развит сюжет, увлекательные и таинственные приключения, буйная, а подчас и не очень, фантазия, так далеко уводящая от повседневной скучотищи, и никаких там тебе малопонятных и ненужных размышлений и рассуждений. Подтекст непонятен, а значит, скучен, будто писатель останавливается на самом интересном месте и начинает нести чепуху. Нужно, чтобы ничего «постороннего» не примешивалось к ухищрениям сюжета. И в поэзии нужна предельная простота и ясность, и тогда Блоку предпочтается Асадов.

Школьная программа по литературе им почти ненавистна. Это понятно: от чтения ждут удовольствия, а тут не успеешь толком прочитать, начинается мороза — жанры, конфликты, образы, темы, проблемы, идейное содержание. Вместо удовольствия (а там, глядишь, и интереса, и потребности, и необходимости) — вопросы на засыпку, и двойка. И такую литературу любить?

По какому принципу они читают, кто их ориентирует, кто советует, что прочесть? Соседка дала, у друга взял, кто-то рассказал, стало любопытно. От неприятия взрослых вообще как класса — нежелание и читать «их» книжки. Есть и другие, обидные для ребят, причины...

Что я поняла про себя? Не могу объяснить, почему надо читать. Их увещевали и уговаривали, вероятно, миллион раз, но почему я не могу жить без книг, а им они не особенно нужны, почему пережитое в томах стихов и прозы мне иногда дороже собственной жизни, или так поддерживает и согревает ее, или просто захватывает, как их излюбленная фантастика? И почему они не чужие и не чуждые мне с моим цитатным мышлением и полумитатной жизнью? Заставить их нельзя, можно заинтересовать, пробудить, увлечь. Нормальные ребята, и их, между прочим, миллионы.

Помогите! — взывают средства массовой информации. Помогите! — наркоманам, проституткам, преступникам. А не пора ли воззвать в первую очередь: помогите! — подросткам, не читающим в «самой читающей стране в мире»?

И кто должен им помочь?

Татьяна МАРЧЕНКО,
аспирантка МГУ

«ЛИЧНОСТЬ»

Вестник № 4
культурного центра
учащихся СПТУ

Наш новый адрес

И больше ничего не нужно...

Огромное новое и светлое здание, актовый и спортивный залы, большие классы и мастерские — все показательное и образцовое. Здесь, кажется, не то что рабочему ремеслу учиться, а петь и плясать впору. Таким все видится светлым и радостным... Не удивляйтесь. Это об училище в Лыткарине.

И пели, и плясали — правда, не сами ребята, а их шефы, с трудом добравшиеся к ним ежедневно. Но не в актовом, а в спортзале, где маты вместо сидений и гулкое эхо. Кто же виноват в том, что в зале потолок обвалился после первых же устроенных здесь танцев?.. А когда дыру собрались все-таки заделать, кирпич свалился кому-то на голову. И зал закрыли «навски». Что ребят приходило на наши встречи все больше и больше, что ждали они своих шефов на крыльце, а помощи становилось все меньше и меньше. И нам, как вы знаете, пришлось поменять адрес шефства, оказавшегося под угрозой срыва, в другое училище. Видно, в лыткаринском спокойствие ценили больше всего.

А училище № 10, что почти по соседству, поражает своей обыкновенностью, старым краснокирпичным зданием на перекрестке, когда и от внутренних помещений не ждешь ничего особенного. Хотя как же, Гагаринское ведь! Но, только войдя в здание, понимаешь, что именно здесь учился первый космонавт. И то необычайное, что все-таки скрывается внутри, воспринимаешь уже как должное, как будто это исходит от самого имени. Ребятам хорошо здесь, нравится учиться, засиживаются допоздна. И педагогам хорошо — интересно работать.

Значит, не в здании, его современности и необходимых ребятам удобствах все дело. А в чем же?

Вадим Григорьевич Менис, директор училища № 10, знает о нем все. Начинает с истории:

— Скоро юбилей — «Гагаринец» живет, развивается с 1940 года. Сначала — ремесленное, всего четыре профессии (токари, слесари, формовщики, литейщики) и без общеобразовательного курса, теперь семь профессий плюс среднее образование. И учащихся становится все больше. Сейчас свыше тысячи, вместе с вечерниками... На отчет похоже, правда? В войну ребята корпуса мин точили. Знаете, недавно ставили забор, копали под столбы ямы и наткнулись на несколько таких корпусов. Теперь они в нашем музее. Все изменилось — учащиеся осваивают сегодня сложнейшую технику, а в дисплейном классе в интеллектуальные игры играют.

Это уже об учениках. Все здесь делается для них, и ребята идут сюда охотно — быть может, привлекают традиции? То, что училище закончил Гагарин, выделяет его из тысяч подобных училищ, наверное, просто повезло?

— А совпадение или закономерность, что Юрий Алексеевич окончил именно наше училище? Между прочим, 256 наших выпускников награждены высшими наградами Родины. А сколько судеб людских за этими цифрами! И коллектив у нас, можно сказать, уникальный, практически все — настоящие единомышленники. И почти все окончили наше училище. Теперь уже их дети здесь учатся.

Тысяча воспитанников — тысяча дел за день: советы, просьбы, распоряжения... Трудно быть директором?

— Если хотите услышать о директоре... Училищем руководил Василий Михайлович Быков. С 46-го. Василий Михайлович был с ребятами всегда. Даже уйдя на пенсию, остался работать в музее своего ученика — Юрия Гагарина. Для всех он успел многое сделать. Для меня — тоже. Ну, представьте, пришел я к нему 25 лет назад, мальчишка мальчишкой, хотя уже мастер спорта и физкультурное образование получил в Челябинском педагогическом. Вел физвоспита-

ние, потом окончил физфак в институте имени Крупской, стал заместителем по учебно-воспитательной работе. А когда директором назначили, с утра до одиннадцати ночи крутился с ребятами. Чтобы и учеба, и работа у них шли по восходящей. Команда наша волейбольная во всей системе профтехобразования первое место держала. И в Союзе мы трижды по спортивно-массовой работе первое место занимали. 20 мастеров спорта вышло отсюда. Да ведь и Гагарин был мастером спорта, заслуженным...

О чем ни спроси директора — имя первого космонавта вспоминается непременно. Сейчас к полетам в космос, к работе на орбите относятся как к чему-то обыденному, как обыден компьютер в бывшем ремесленном. Для нас Гагарин — имя-символ, история. Здесь же о нем живут воспоминания: ученик, мальчишка, бегущий после занятий по коридору, игрок местной волейбольной команды...

— Я им, чтобы задумались, показываю краткую биографию Гагарина. Выделил всего несколько дат: 49—51-й — училище, 51—55-й — Саратовский индустриальный техникум, 55—57-й — Оренбургское авиационное училище, 61-й год — полет в космос. Показываю и спрашиваю: «Смотрите, 51-й — училище, 61-й — космос, сколько времени прошло?» И прозревают. «Эх,— говорят,— десять лет всего!»

А теперь в Гагаринском появились шефы. Не те, кого принято называть «богатыми» и которые с первого дня имеются у лыткаринцев, а студенты творческих вузов. Их словно здесь давно ждали. И выбор редакции представляет закономерностью. У директора есть свое мнение на этот счет:

— У вас возникло такое ощущение, потому что вас здесь понимают. А подобные вашему начинания невозможно осуществлять без понимания и взаимности, без климата наибольшего благоприятствования. И наши ребята его вам создадут. Собственно, он уже есть.

— А нам больше ничего и не нужно.

Полвека училищу, четверть века живет им Вадим Григорьевич Менис. Что запомнилось более всего за эти годы? — Молодость, прошедшая здесь и продолжающаяся в моих учениках...

На первой, организационной, встрече с ребятами из СПТУ № 10 имени Ю. А. Гагарина (оно стало базовым для проведения шефской работы с января 1988 года) им рассказали о том, какие цели ставит редакция журнала перед собой и перед творческими вузами Москвы в осуществлении своего начинания, каким образом намерена их достичь: «Мы не собираемся удивлять, не собираемся заигрывать. Мы хотим помочь вам воспитать в себе Личность». Чем только не наполняли смысл этого слова? Но главным критерием в оценке личности была и останется духовность.

Организует работу редакция журнала, а приезжают в гости к ребятам представители пяти московских вузов — МГУ, консерватории, ВГИКа, ГИТИСа, института имени Сурикова. Приходят на эти встречи ребята сугубо добровольно, а деятельность представителей творческих вузов ведется на общественных началах.

Три года учебы в ПТУ — три года нашей программы: изучение отечественной культуры от истоков до современности, знакомство с многообразной культурой народов СССР и выход на мировую культуру. Скептики нас упрекают: «Нарушаете законы диалектики, идете от сложного к простому» (под «простым», очевидно, подразумеваются головы подростков, в которых собран бедный свод сведений о родной культуре и богатейший — представлений о роке, западных киношках и образцах того, что и в культуре имеет название ширпотреба). Будущий автослесарь Павел Тарасов после одной из встреч, в обстановке, когда все действительно оказались рядышком, сказал: «Сначала мне казалось, что вы нас за недоумков считаете. Будто в деревню просвещать приехали — здрасте. Посмотрите сюда! Послушайте это! Но ведь интерес, он будет, если с нами не как с малыми детьми обращаться, а на равных, как со студентами». Не нужно бояться, что они не поймут, что они не хотят, что на родную культуру им наплевать: это не так. Есть другая опасность — не почувствуют ли они себя, как в очень многом другом, потребленцами, перед которыми распинаются, что ни день — сегодня о музыке, завтра о кино, послезавтра о живописи, а они сидят и поплевывают: вот как о нас заботятся, как стараются ради нас. А может — да наверняка, — и ребята из ПТУ талантливы, может быть, встречи и превратятся когда-нибудь в диалоги, в творческие соревнования?

Мечты, мечты... Но вот на встрече с суриковцами более полутора часов ребята сидели как завороченные. Каким

открытием оказалось для них осознание гуманности русской культуры, ее обращения к душе человека: они смутно чувствовали открытость, искренность, страстность русского искусства, а теперь слушали человека, который умел все так просто объяснить и сформулировать...

В научных сферах спорят о «Слове о полку Игореве», а для ребят древнерусская литература — дедри. Но когда аспирантка МГУ Мария Антонова заговорила с ними о судьбе книг, все заинтересовались тем, какими они были, как менялись в столетиях, — и лес показался не таким темным.

У ГИТИСа всегда успех. Зрелищно, увлекательно. Но студентам института еще и самим нравится выступать, поражать этих ребят, что дня их появления в ПТУ ждут с нетерпением. Вероятно, недалек тот день, когда они смогут похвастаться аншлагом. Каждый четверг (приходите!) — в училище Виктор Грибоедов. Вы слышали о человеке-оркестре? Виктору пришлось однажды по необходимости дать всю иллюстративную часть к теме: пел оперные арии и народные песни, читал монологи и стихи. Творческая биография только начинается, но его уже (помните — «неблагодарная аудитория») не отпускают со сцены.

Однажды мастер группы автослесарей Шудлер Игорь Семенович сказал: «Да ведь у ребят попросту нет нравственных ориентиров, а родная культура им не нужна, хотя они еще не знают ее. Им нужно узнать ее, и пока их собственное, основанное на этом знании, отношение к культуре не выработано, необходимо ввести их в многообразие искусства».

Даже приблизительная тематика наших общений способна вызвать зависть у людей, интересующихся кино, литературой, живописью: студенты ведь умеют находить самые закоулистые темы, поднимать самые острые вопросы, предлагать неожиданные подходы. Час, полчаса времени — испытание своей профпригодности, того, что ты уже знаешь, умеешь и хочешь передать другим, можешь это сделать в очень сложной аудитории. Не нужно никакой сверхъестественной доброты — просто немножко поделиться. Не поучать и воспитывать нудными нравовыми наставлениями о пользе книг и вреде табака, а пробудить их к нормальной, насыщенной жизни.

И еще один аспект программы. Ребятам необходимо изучение великого наследия Владимира Ильича Ленина, понимание всей сложности и важности его для нашей жизни. Ведь именно Ленин — живой и человеческий — личность, о которой так много и постоянно говорят ребятам. Человек, нашедший точку опоры и перевернувший мир. По новому взглянуть на него, перелистать страницы ленинской биографии ребятам помогут сотрудники Центрального музея В. И. Ленина.

Эмоции эмоциями, но чувства и мысли быстро и просто не становятся тонкими и глубокими, да и не каждый впитывает знания, как губка. Но двери открыты для всех. Даже для директоров: в одну из сред в училище проходила коллегия директоров СПТУ Московской области — разумеется, в актовом зале; но все оказались зрителями привезенных вгиковцем Юрием Александровичем Гусевым фильмов. Интересно вот только, «наматили ли на ус» директора, чему свидетелями они оказались, или послушали, посмотрели и забыли?

Так сложилось, что культура долгие годы сосредоточивалась в столице — театры, выставки, журналы и сами творческие вузы. Поэтому если и не легче начинать здесь дело духовного просвещения, но трудностей, вероятно, меньше. А для эксперимента, наверное, и нужно создавать благоприятствующие условия, если цель — выработка определенной модели. Возможностей в Москве больше, но возможности всегда и везде можно найти. Было бы желание.

Ни насадить, ни внедрить духовность нельзя. Но как бы хотелось, чтобы складывалась такая атмосфера, когда все нужны всем — под незримым покровительством муз. И пусть в жизнь ребят из СПТУ придет праздник, который всегда будет с ними.

Евгений ГЛУШКОВ,
Сергей СОРОКИН

Виктория
ЛЕБЕДЕВА

О ГРУППЕ «СИНТЕЗ»



Все работы они подписывают именем своей группы. И хотя в полотнах и в графических листах видны разные художественные почерки, все они подписаны: «Синтез».

«Мы как одна рука, у которой пять пальцев, пять суверенных личностей: Наталья Хвостенкова, Татьяна Щёкина, Сергей Подрез, Алексей Воробьев, Николай Востриков». — пишут художники в своем «Манифесте».

Вдумаемся в этот факт: в наше время, когда каждый более всего дорожит проявлением своей неповторимой индивидуальности — и особенно дорожат этим художники, для которых творчество и есть форма самовыражения, — мастера, имеющие за спиной более десятка лет профессиональной работы, стремятся быть неразличимыми, как единый организм. В чем же причина этого? Можно сказать сразу, не спрашивая авторов, — им трудно приходилось в том месте, где они жили и работали. Трудно не в бытовом — в творческом смысле этого слова. Трудно доказывать свое право на свой собственный образ мыслей и способ мировосприятия, когда каждая из «властей предержащих» боится ответственности перед кем-то ей подобным, но стоящим чуть выше (или рядом, или неподалеку...). И вообще, скажите на милость, кому это надо? Чтобы картины были не похожими на другие, проверенные временем, безусловно, «хорошие» картины, чтобы что-то от чего-то отличалось... Нет, нет, нет. Я (он, она) за это отвечать не буду. Кроме того, эти картины непонятны. Или, скажем, не совсем понятны. Или не всем сразу понятны. А искусство должно...

Товарищи, дорогие мои друзья. Искусство никому ничего не должно. Оно выражает — это верно. Выражает свое время, свою страну, свое поколение. Оно выражает мир своего автора. И поэтому оно не может быть таким, каким было. Современный художник не может быть, как Репин или как Пикассо (если, конечно, это искусство, а не беспомощное эпигонство). И мы (именно мы) должны напрячься, вникнуть, подумать, прежде чем принять или отвергнуть. Иначе мы попадем в тот же порочный круг, в который уже не раз попадали обыватели. А иногда и профессионалы, слишком долго почивавшие на лаврах. Так, всем известен славный эпизод из истории искусств, когда в 1863 году группа студентов Императорской Академии художеств демонстративно вышла из ее стен, чтобы создать свободное «Товарищество передвижников». Но не все знают, что несколько десятилетий спустя один из передвижников писал по поводу «Девочки с персиками» молодого В. Серова: «Мы не позволим прививать сифилис русскому искусству». Так же не все знают, что идеолог передвижничества, пылкий критик В. В. Стасов, сделавший так много добра для того искусства, в которое он верил, писал о художниках следующей генерации: «Подворье прокаженных»... О группе «Мир искусства».

Так, может быть, не будем повторять ошибок прошлого? Может быть, время нас чему-нибудь научит? Хотя бы уважению к образу мыслей другого человека и к его труду.

Время диктует свои законы — и художники, как наиболее «камертонная» часть общества, часто чувствуют запах перемен еще задолго до их свершения. Желание художников группы «Синтез» остаться единым автором характерно для времени революционного, когда художники наиболее активно стремятся к контакту со зрителем, и именно в такие годы активизируется и обыватель из числа тех, кто чувствует себя хозяином. Под ним начинает качаться стул — и расшатывают его в том числе и художники. Поэтому чиновники так боятся искусства. Поэтому в самые страшные времена наряду с политическими деятелями под обстрел попадали деятели культуры.

Это верно всегда и везде, но особенно отчетливо это проявляется в провинции, и потому так тяжело работать художникам в небольших городах, где некуда податься, где нет сильного и самостоятельного художественного круга и где невежество безнаказанно.

«Коллективным автором» хотели видеть себя молодые художники-монументалисты Украины в первое десятилетие Советской власти. М. Л. Бойчук и его ученики создали работы, которыми по праву гордится советское искусство. Могло бы гордиться еще более, если бы не были сбиты фрески, уничтожены картины и рисунки, сожжены архивы. Если бы годы репрессий не унесли и самих художников, их жен и детей. Почему же работы бойчукистов вызвали столь бешеную реакцию у пришедших к власти в тридцатые годы сталинистов? Потому что они отстаивали свое право на свободу мысли, слова, творчества. Потому что они были художниками. А так как они были сильными художниками

и были коллективом — их было трудно побороть. Поэтому их уничтожили.

Я ни в коей мере не сравниваю «те» времена и «эти», эпоху культа и годы застоя. Есть большая, принципиальная разница в возможностях действий. Но, думаю, во внутренних побуждениях ретивых чиновников, командующих искусством, есть некоторое сходство. Есть оно и в стремлении художников объединиться.

Художникам группы «Синтез» свойственен метафорический образ мышления. Я попросила их написать каждого о себе. Из этих текстов и из репродукций читатель журнала может составить себе представление о том, что их привлекает в мире реальный и в мире вымысла, о чем они хотят с нами говорить. Их язык можно принимать или не принимать, но выслушать их стоит, стоит взглянуть в их работы, потому что это искренние художники. Еще я попросила их привести некоторые простые факты своей коллективной биографии. Она поучительна. Не потому, что оригинальна, скорее наоборот. К сожалению, подобных историй множество. Всюду встречаются совсем юных выпускников столичных вузов благожелательно. До тех пор, пока они не проявят вольнодумие, стремление работать по-новому, по-своему. Им даже иногда помогают. Или хотя бы не мешают. Ситуация резко меняется, когда художники становятся зрелыми, сильными. И в особенности когда они объединяются.

В том же «Манифесте», который уже упоминался, художники пишут: «Синтез» не копирует фотографически действительность, он создает параллельный мир, как ребенок из букв складывает собственные слова, наполняя их своим смыслом». Этот метафорический, созданный воображением художника мир не столь уж прост для восприятия. Он требует от зрителя работы мысли и чувств, требует доверия. И тогда, может быть, вы найдете в искусстве не предмет потребления, не «украшение быта», но нечто большее. Вы найдете собеседника и единомышленника.

Автобиография группы

Как личности мы сформировались в 70-е годы. Оттепель шестидесятых... Камю, Сартр, Кафка, Хемингуэй — все это было для нас откровением. Разрешен был импрессионизм, заново открывались десятые годы в живописи России, через Пикассо начали узнавать новое западноевропейское искусство. На «ура» восприняли сюрреализм.

«Зеркало» Тарковского вдохновило нас, мы взяли в руки кинокамеру и сняли в семьдесят седьмом свой 16-мм фильм «Автопортрет». Фильм явился тем цементирующим раствором, который сплотил нас, во время съемок фильма мы ощутили себя единым творческим организмом, с общим мироощущением. Мы делали фильм, фильм делал нас. Весной того же года мы организовали встречу с Андреем Тарковским в актовом зале Строгановки, желающие едва вместились. За этот вечер Вострикову объявили выговор и благодарность одновременно.

В начале 80-х мы окончили институты (Строгановский и художественный факультет Московского технологического) и все впятером собрались в Новороссийске. К этому времени мы уже знали, что совместное, плечом к плечу, творчество поможет каждому из нас окрепнуть. При поддержке друзей адаптация к жизни после окончания института прошла почти незаметно. Мы развернули активную общественную деятельность. Вначале участвовали в многочисленных краевых, молодежных, городских выставках под эгидой Союза художников, но очень скоро мы поняли, что эта накатанная дорога не для нас. Мы стали практиковать самостоятельные вернисажи одной-двух картин. Появился свой зритель. Вечера проводились следующим образом: давалось объявление в местной газете, по которому все желающие приходили к нам в гости. Базой нам служило помещение художественной школы, в которой трое из нас работали. Показывали мы как свои собственные работы, так и работы самостоятельных художников, а также профессионалов. Художественная школа к этому времени стала признанным лидером культурной жизни города. На обсуждение картины А. Сундукова «Воспоминание ветерана» собралось более ста человек. Зрители выступали так эмоционально, заинтересованно, что это несколько испугало представителя горкома партии. По ее собственным словам, она не помнила такой открытой, свободной дискуссии. Мы восприняли это признание как похвалу, но радость наша была преждевременной. Почему-то сложнее стало проводить свои камерные вечера. В местной газете отказывались упоминать слово «СИНТЕЗ».

В конце 1985 года мы приняли участие в качестве гостей в выставке-однодневке в Москве на Кузнецком мосту в клубе молодых художников. Вернувшись из Москвы, мы предложили свою графику на городскую выставку, но она была отклонена.

И вообще, как ни странно, после выставки в Москве нам стало жить хуже, а не лучше. В Новороссийске испугались того свободомыслия, которого мы набрались в Москве. Активная общественная жизнь нашей группы практически сошла на нет. Последней работой в городе было оформление рок-фестиваля, буклет которого был выпущен с фантастическими усилиями.

Нас лишили мастерских, пришлось уволиться из художественной школы, которая давала необходимые средства к существованию. В местной печати появились статьи с потоком необоснованных обвинений.

Мы собрались и поехали в Москву; журнал «Юность» предложил нам выставку. Группа «Синтез» жива. Мы работаем.

Алексей Воробьев:

«В 1981 году группа художников вошла в город с черного хода. На обратной стороне уха у каждого было оттрафаречено слово «Синтез». Нас высадило пятеро. Глубинка дремала... Мы не обнаружили ни одного проточного водоема, время строило города без форточек и вентиляционных устройств, каждый дом, каждый камень сочился унынием и скукой. Посредственность ежеминутно дышала в лицо, ее невозможно было обойти...»

Мы сидели в кабинете чиновника, который нервно вертел в руках свои темные очки и расчленял живописные картины на схемы и понятия.

— Вы должны vybrать,— сказал он,— или я, или вы... Мы решили выйти из кабинета спокойно...»

Николай Востриков:

«Я вздрагивал, когда писал первую картину. С каждым шагом становилось все труднее. Делать первую картину — все равно что возводить мост над собственной интуицией. В конце концов доходишь до страха перед красками. Прошло много лет, прежде чем я понял: ничто и никогда не может быть изображено буквально...»

Сергей Подрез:

«В долгих хождениях по разным кабинетам с коврами дорожками и без мы выяснили, что «наш народ страшно темен и забит», что духовную пищу ему надо давать только тщательно разжеванную и обязательно согласованную в вышестоящей инстанции. И если каждый художник, окончивший институт, начнет сам по себе рисовать картины и сам по себе показывать их народу, то Советская власть тут же рухнет... Нам деликатно посоветовали рисовать картины «в нужном направлении», то есть без надрыда, надлома, и вообще лучше писать натюрморты, благо овощей в нашем крае в достатке».

Татьяна Щёкина:

«Выставляешь картину... Присутствие двух людей, не знающих друг о друге. Цвет, равный звуку сдвинутого табурета. Глухая, как обои, но симпатичная надежда, что войдут и увидят картину...»

Наталья Хвостенкова:

«У нас были и противники, и сторонники; жить весело, когда обсуждение картины будоражит город!»

Вовсю старались силы не столько «потусторонние», сколько «местные культурные», периодически пытавшиеся настаивать на нас на «путь истинный»...

Но мы всегда верили, что пуд соли будет нашим честно заработанным богатством и его хватит на долгие годы всем нам, и еще нашим детям останется!»

Евгений СТАРОСТИН КАК МЫ ПРОЩАЛИСЬ С КРОПОТКИНЫМ

В конце 1918 года западноевропейская пресса распространила слух о том, что в Советской России арестован и посажен в тюрьму революционер-анархист Петр Кропоткин. В крупных городах Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии прошли митинги протеста. Старый революционер, который жил тогда в Дмитрове, немедленно отправил за рубеж опровержение: «Всюду имеется столько врагов революции, которые были бы рады воспользоваться любым предлогом, как аргументом против большевистского правительства, с которым нельзя согласиться по многим вопросам, но которому тем не менее принадлежит честь заявить и частично применить на практике принципы социализма».

Советская республика делала свои первые шаги в построении социализма в тяжелой борьбе с врагами внутренними и внешними. «И вот это понимание 75-летним старцем нашей борьбы,— вспоминал В. Д. Бонч-Бруевич,— глубоко трогало всех, кто с ним общался, и постоянно привлекало к себе Владимира Ильича».

П. А. Кропоткин прожил долгую и богатую событиями жизнь. Потомок рода Рюриковичей, личный паж императора Александра II, блестящий офицер, выдающийся географ, он отказывается от всех выгод, которые ему сулило положение в обществе, и в начале 70-х годов XIX века активно включается в революционную борьбу с царизмом. Затем арест, Петропавловская крепость и удивительный по смелости побег. В отличие от многих русских эмигрантов, как-то терявшихся за границей, Кропоткин быстро занимает видное место в научных и прогрессивных кругах тех стран, куда забрасывала его беспокойная судьба революционера. После смерти в 1876 году М. А. Бакунина он становится ведущим теоретиком анархизма.

Кропоткин внимательно следил за быстро набиравшим силу революционным движением в России. С карандашом в руках просматривал сочинения молодого Ленина. В 1907 году он в числе немногих русских эмигрантов в Лондоне был приглашен на заседание V съезда РСДРП. В один из дней работы съезда Кропоткин принял у себя в Брайтоне группу рабочих из большевистской фракции.

Сразу же после Февральской революции Кропоткин возвращается в Россию. А. Ф. Керенский, устроивший бывшему эмигранту пышную встречу, предложил ему любой по выбору пост во Временном правительстве. Кропоткин отказался, равно как и от предложенной пенсии.

С первых же дней Октября у него сложилось двойственное отношение к пролетарской победе. Кропоткин признал всемирно-историческое значение Октябрьской революции, а в Ленине ее вождя. «Задачи большевиков всегда были задачами всех преданных душой делу освобождения трудящихся,— писал он в одном из своих писем.— Всем, кому дорога революция, надо немедленно прийти ей на помощь, на помощь русским революционерам и принять участие в их отчаянной борьбе. От души жалею, что я стар и слаб и не могу принять активного участия в Русской революции». Несмотря на многочисленные просьбы, Кропоткин не дал своего имени ни одной из анархических организаций, действовавших в то время в России, считая, что анархическое движение завоевано «авантюристами последнего рода». Ни с чем от него уехал «батька Махно», предложивший сотрудничество в «повстанческой» газете «Путь к свободе».

Однако, как убежденный антигосударственник, Кропоткин считал ошибочным предпринятое в России переустройство

жизни, как он его понимал, под знаменем строго централизованной диктатуры одной партии, «партии социал-демократических максималистов, в духе крайне централистского японского заговора Бабефа». Его схема чрезвычайно проста: диктатура неизбежно ведет к террору, террор к реакции и в конце концов к гибели революции. Так было, по его мнению, в годы Французской революции конца XVIII века, так будет и сейчас, если... Кропоткин торопится и уже в начале ноября 1918 года добивается встречи с Лениным, который едва поправился после августовского покушения. По черновым записям, которые оставил Кропоткин, видно, что разговор был сложный. Кропоткин резко возражал против политики «красного террора» и заложничества, которые Советское правительство вынуждено было практиковать после убийства М. С. Урицкого, покушения на В. И. Ленина и на других партийных и государственных деятелей. При этом он ссылался на опыт Французской революции и проводил недвусмысленные параллели между советами и секциями (народными обществами). Чрезвычайной комиссией и Комитетом общественной безопасности эпохи революционной Франции. (Именем этого комитета, как оказалось, отправил на гильотину многих вождей революции... судья королевского режима — предостережение Кропоткина заставляет вспомнить мрачную фигуру Вышинского, подписавшего летом семнадцатого года приказ об аресте Ленина, а затем, уже в качестве Генерального прокурора СССР, дирижировавшего расправой с ближайшими соратниками Ленина.) «Полицейская сила,— говорил Кропоткин,— разложила секции, обратив их из органов Революции в органы полноправной полиции, и наполнила их худшими элементами... Террор французской рев(олюции) задержал развитие ее социалистических идеалов на полстолетие». Но «я верю,— сказал он в заключение,— что лучшим из Вас будущее Коммунизма дорожит собственной жизни» (подчеркнуто Кропоткиным). Это была критика друга. Но как точно сконструировал возможную ситуацию Ленин, сказавший: «Ведь если только послушаться его на минуту, у нас завтра же будет самодержавие и все мы, и он между нами будет болтаться на фонарях, и он только за то, что называет себя анархистом...»

Для Кропоткина эта встреча имела последствия, которых он вряд ли ожидал. Местные власти города Дмитрова плохо были осведомлены о прошлых заслугах старого революционера. Для них он был князь, живший в доме бывшего графа Олсуфьева на бывшей Дворянской улице, не стеснявшийся к тому же критиковать их деятельность. Поэтому помощь подоспела вовремя. 26 октября 1918 года Дмитровский уездный исполком на основании предписания Управления делами Совета Народных Комиссаров за № 13055/13056 «предлагает всем отделам Совдепа не вмешиваться в жизнь... гражданина Петра Алексеевича Кропоткина». К этому же времени относится охранный грамота, данная Кропоткину: «Занимаемый дом на Советской улице (бывшей Дворянской) не подлежит никаким реквизициям, ни уплотнениям, и как имущество его, так и покой старого, заслуженного революционера должны пользоваться исключительным покровительством Советских властей». Более того, чтобы оградить Кропоткина от любых недоразумений, Владимир Ильич за своей подписью выдает Кропоткину охранный удостоверение.

«№ 2693

22 февраля 1919 г.

Удостоверение

Дано сие удостоверение Петру Алексеевичу Кропоткину, известнейшему русскому революционеру в том, что все Советские власти в тех местах в Российской Федеративной Советской Республике, где будет проживать Петр Алексеевич Кропоткин, обязаны оказывать ему всяческое и всемерное содействие. Ни его вещи, ни его квартира и всякий другой живой или мертвый инвентарь, в том числе дойная корова, от которой Петр Алексеевич получает необходимое для его питания молоко, ни в коем случае не подлежат конфискации, ни реквизициям. Местным властям города Дмитрова предписывается озаботиться доставлением фуража для этой коровы. А также представителям советской власти в этом городе необходимо принять все меры к тому, чтобы жизнь Петра Алексеевича и его семьи была бы облегчена возможно более, и, чтобы он, находясь в таком преклонном возрасте, не нуждался бы ни в дровах, ни в чем другом, что ему будет необходимо».

В феврале сего года семью Кропоткина в Дмитрове посетил по просьбе Ленина работник Наркомата внешней торговли С. Л. Мильнер, который, как писал Кропоткин в своей записной книжке 1919 года, «привез провизии и предложение Ленина издать 4 (тома) моих сочин(ений) в кол(ичес)тве 60 000 каждый — отказался по принципу». В личном письме к родственнице В. С. Кропоткиной он объяснил свой отказ нежеланием создавать привилегии государственному издательству.

Вторая встреча с Кропоткиным, инициатором которой был Владимир Ильич, состоялась 3 мая, в субботу, в 5 часов вечера на квартире Бонч-Бруевича в Кремле. Содержание этой беседы Ленина с Кропоткиным можно было бы предвидеть. 20 марта 1919 года СНК принял декрет о потребительских коммунах. Эта мера Советского правительства была направлена на выработку системы «практических мер перехода от старой кооперации (по необходимости буржуазной, поскольку выделяется слой пайщиков, составляющих меньшинство населения, а также и по другим причинам) к новой и настоящей коммуны, — мера перехода от буржуазно-кооперативного к пролетарско-коммунистическому снабжению и распределению». Кропоткин, возлагавший большие надежды на кооперацию и видя в ней формы хозяйственной жизни, приближающие к осуществлению его идеала построения обновленного общества снизу вверх, не понял классовой сущности этой меры Советского правительства и усмотрел в ней посягательство на святая святых кооперации — самостоятельность. Старый революционер был удивлен, когда узнал, что и вопросы кооперации, и борьба с бюрократизмом не в меньшей степени волновали и Ленина, который, признав некоторые указанные недостатки, заметил, что в «белых перчатках революции не сделаешь». В заключение разговора Ленин предложил Кропоткину переиздать его «Великую французскую революцию», назвав эту работу лучшим произведением в данной области, на что Кропоткин с радостью согласился.

В августе 1920 года, приехав из Дмитрова в Москву, Кропоткин пишет В. И. Ленину письмо:

«Многоуважаемый Владимир Ильич. Мне очень (подчеркнуто. — П. А. К.) нужно повидать Вас, — по делу, которое теперь идет перед судом, о тактическом центре и переговорах об этом деле.

Больше четверти часа не отниму у Вас — знаю, до чего должно быть занято Ваше время.

Будьте так добры, известите, когда я могу быть у Вас. Я — нездоров все время и специально по этому делу приехал в Москву и должен вернуться — чем скорее, тем лучше — в свою берлогу.

14 августа 1920 г.

П. Кропоткин».

У нас есть основания предполагать, что эта — уже третья по счету — встреча состоялась, так как находившийся под следствием издатель С. П. Мельгунов, за которого ходатайствовал П. А. Кропоткин, был освобожден. Об этом Мельгунов сообщит позднее в своих мемуарах.

Свои предложения и замечания Кропоткин прямо посылал Ленину или другим членам Советского правительства, не опускаясь до публичной критики, считая, что она пойдет на пользу врагам революции. Благодаря сохранившимся в Дмитровском краеведческом музее воспоминаниям почтового работника П. Д. Золотина у нас есть возможность проследить не только историю написания одного из очень важных писем Кропоткина к Ленину, но и незамедлительную реакцию Владимира Ильича на это обращение. П. Д. Золотин вспоминает: «В те тяжелые годы продовольственного кризиса о нас, почтовых работниках, как-то позабыли. Я тогда обслуживал телефонную связь в городе. Пришлось мне устанавливать телефон и П. А. Кропоткину... Петр Алексеевич был очень доволен и пригласил меня на чашку чая. За столом он неожиданно спросил меня: «А скажите, Петр Дмитриевич, как живут почтовые работники?» Случай представился хороший, и я обрисовал Петру Алексеевичу бедственное положение связистов. Он снова спросил меня: «А рабочий комитет у вас есть?» Я ответил, что есть. На это Петр Алексеевич говорит: «Пойдите на рабочий комитет, расскажите и напишите мне письмо». Так и было сделано. Два представителя от рабочего комитета, Н. М. Немков и П. П. Яковлев, пришли к Кропоткину. Он любезно встретил их, и они отдали Петру Алексеевичу письмо. Вниматель-

но прочитав его, Кропоткин тут же берет бумагу и пишет письмо в Кремль... «Вот это письмо завтра отнесите в Москву и вручите коменданту Кремля для передачи тов. Ленину». Не прошло и двух недель после этого случая, как нарком продовольствия А. Д. Цюрупа отдал распоряжение об улучшении быта почтово-телеграфных служащих, и нам стали выдавать пшено, сахар и другие продукты. Почтовые работники ожили, но никто, кроме дмитровских связистов, не знал, как это все получилось».

Упомянувшийся выше Мильнер, служивший «связным» между Лениным и Кропоткиным, говорил последнему, что «отношение представителей Советской власти к Вам — самое теплое. В. И. Ленин очень интересуется Вами, с глубоким и необыкновенным вниманием и интересом относится к Вам и Вашим словам. Его отношение к Вам меня так поразило, что еще сейчас нахожусь под этим впечатлением. А отношение — вполне искреннее, неподдельное».

Со своей стороны, Кропоткин очень высоко отзывался о Ленине как вожде пролетарской революции и ее теоретике. «Мне сказали, — говорил он Бонч-Бруевичу, — что Владимир Ильич написал прекрасную книгу о государстве, которую я еще не видел и не читал и в которой он ставит прогноз, что государство и государственная власть в конце концов отомрут. Владимир Ильич одним этим смелым раскрытием учения Маркса заслуживает самого глубокого уважения, и всемирный пролетариат никогда этого не забудет». Дух уважения к Владимиру Ильичу господствовал в семье Кропоткина. «Прочти речь Ленина — прекрасная», — писала отцу дочь Александра, присоединив газетный текст речи.

Когда в январе 1921 года Кропоткин заболел, Ленин сделал все возможное, чтобы поддержать уже угасающую жизнь дмитровского отшельника. Еще ранее на одном из писем Кропоткина он написал: «Разрешается беспрепятственный провоз семи пудов продовольствия для П. Кропоткина, как старого революционера и эмигранта. Всем советским учреждениям и властям поручаю оказывать всяческое содействие...» Зимой 1921 года Ленин снова распорядился отправить специальный поезд с продовольствием для Кропоткина со строгим указанием, что оно не подлежит осмотру и конфискации. На экстренном поезде к больному для консилиума выехали лучшие врачи Москвы — В. Шуровский, Д. Плетнев, М. Кончаловский, Л. Левин, А. Канель, возглавляемые наркомом Н. Семашко. По несколько раз в день Владимир Ильич справлялся о состоянии здоровья Кропоткина. Пятого февраля он дает разрешение, по просьбе Семашко, на вторичную поездку врачей в Дмитров. Но телеграммы поступали одна тревожнее другой, и близость рокового конца была очевидна.

Восьмого февраля 1921 года Петр Алексеевич умер. В морозное воскресенье 13 февраля Москва провожала в последний путь старого революционера. За два дня до похорон Ленин получил письмо от дочери Кропоткина.

«Многоуважаемый Владимир Ильич!

Позвольте поблагодарить Вас за личное участие, которое Вы приняли во время болезни моего отца, а также и теперь в деле его похорон.

Сейчас я не буду говорить о тех последних его желаниях, которые он выразил накануне своей кончины, о них придется говорить более подробно, чем это мне возможно в данный момент. Ограничиваюсь пока личной просьбой освободить, хотя бы на день похорон, для участия в них тех товарищей анархистов, которые находятся в данный момент под арестом...»

Это письмо легло на стол Владимира Ильича 10 февраля. В этот же день Ленин пишет записку председателю ВЧК:

«Т. Д(з)ержинский! Посылаю Вам, согласно нашему телефонному разговору, письмо дочери Кропоткина. Надеюсь, удастся освободить тех, за кого она просит. Найти ее через Управдел Н. П. Горбунова.

Ваш Ленин».

В этот же день Президиум ВЦИК предложил ВЧК по своему усмотрению освободить для участия в похоронах арестованных анархистов. Под честное слово, без всякой охраны анархисты были освобождены в день похорон своего вождя. К 12 часам ночи они все вернулись в места заключения.

Из Колонного зала Дома союзов, где по решению Моссовета был установлен гроб с телом покойного, траурная

процессия направилась на Новодевичье кладбище. В кадрах документальной кинохроники тех лет мы видим бесконечный людской поток — так прощалась Москва с ветераном русской революции и выдающимся ученым. В числе ораторов на могиле Кропоткина выступают: от ЦК РКП(б) старый большевик, участник V съезда РСДРП Павел Мостовенко, с которым тогда, в Лондоне, встречался Кропоткин, от Исполкома Коминтерна бывший французский синдикалист Росмер. По личному распоряжению Ленина на похоронах присутствовал управляющий делами СНК В. Д. Бонч-Бруевич. На могилу Кропоткина были возложены венки и от РКП(б): «Одному из наиболее преследуемых царизмом и международной буржуазной контрреволюцией», и от Совнаркома РСФСР: «Ветерану борьбы против царизма и буржуазии».

В тот день в Москве вышла газета, посвященная памяти Петра Алексеевича Кропоткина. В своих воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевич рассказывает, что «Владимир Ильич распорядился разрешить анархистам издать свою ежедневную газету со всеми теми высказываниями, которые они

хотели сделать в честь и память своего гениального учителя».

Так Ленин не на словах, а на деле учил, как можно и должно относиться к революционному прошлому России и к ее героям.

Мемориальный музей П. А. Кропоткина, созданный Всероссийским общественным комитетом по увековечению его памяти, просуществовал до 1939 года. Последние десять лет он уже дышал на ладан. А затем наступило забвение... Впрочем, если мы вспомним одно из высказываний Сталина о Кропоткине: «Старый дурак совсем из ума выжил», — то поймем, что другого отношения и быть не могло.

Как завещание звучат слова Кропоткина, сказанные им на съезде учителей в августе 1918 года: «Я глубоко убежден, что, какие бы тяжелые годы нам ни пришлось пережить, страдания русского народа будут выстраданы не даром. Перед нашим народом... откроется новая, лучшая эра — эра новых путей и новых возможностей для прогресса человечества». Такое время наступило.



ЧУДЕСА РЕТУШИ

Весной 1900 года труппа Московского Художественного театра в полном составе прибыла в Ялту, к Чехову. Врачи не пускали больного писателя в Москву, а Станиславский и Немирович очень хотели показать автору его «Чайку». Треплева в «Чайке» играл Всеволод Мейерхольд. Чехов отзывался о нем тепло: «...слушаешь его с удовольствием, потому что он все понимает, что говорит». И когда актеры фотографировались вместе с Чеховым и Горьким, Мейерхольда усадили на первом плане. Вы видите это фото.

Но настал момент, когда историки МХАТ, поглядывая на ялтинские фотографии, стали с тоской почесывать затылки. «Враг народа», расстрелянный в 1940 году, Мейерхольд был тут, рядом с основоположниками театра, рядом с Горьким и Чеховым, совсем ни к чему. Какой фокусник-ретушер совершил чудо, осталось неизвестным. Но чудо — вот оно: был Мейерхольд и исчез вместе со своей тросточкой, зато у О. Книппер-Чеховой появилась новехонькая сумочка, а в руке ее соседки М. Савицкой обнаружился большой зонтик. И в истории Художественного театра сразу и надолго воцарился идиллический порядок.

К. РУДНИЦКИЙ





«Я ВОЗВРАЩУСЬ КОГДА-НИБУДЬ...»

Перед вами — поэма 1927 года. Ее автор Владимир Набоков (в то время имевший литературный псевдоним В. Сирин) провел уже почти треть из своих 28 лет за границей, равнодушный, по его словам, к потере состояния, но глубоко переживающий потерю России. Он успел окончить курс в Кембридже, перепробовать множество различных заработков, счастливо жениться; он уже похоронил отца, сраженного пулей фанатика-монархиста; он уже один из заметнейших молодых писателей эмиграции — и поэт, и переводчик, и драматург, и прозаик, и критик. Впереди у него полвека ностальгии, трудного эмигрантского быта и кропотливейшей работы над словом. Скоро Бунин заметит, что этот юноша открыл русской литературе целый новый мир. В мире Набокова слово всецело послушно художнику, приручено, но вместе с тем полно силы, дышит богатством и тайной бытия. (Набоков сумел также приручить и «английский» язык, и именно с ним достиг мировой славы.) В 1927 году, перед тем как надолго отдаться романам, он испытал себя еще во многих жанрах. Так родилась и «Университетская поэма».
Е. ШИХОВЦЕВ

Одна из последних фотографий Владимира Набокова.

В. СИРИН

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПОЭМА

1
«Итак, вы русский? Я впервые встречаю русского...» Живые, слегка навывкате, глаза меня разглядывают: «К чаю лимон вы любите, я знаю; у вас бывают образа и самовары, знаю тоже!» Она мила: по нежной коже румянец Англии разлит. Смеется, быстро говорит: «Наш город скучен, между нами, — но речка — прелесть!.. Вы гребец?» Крупна, с покатыми плечами, большие руки без колец.

2
Так у викария за чаем мы, познакомившись, болтаем, и я старательно острою,

и не без сладостной тревоги на эти скрещенные ноги и губы яркие смотрю, и снова отвожу поспешно нескромный взгляд. Она, конечно, явилась с теткою, но та социализмом занята, — и, возражая ей, викарий, — мужчина кроткий, с кадыком, — скосил по-песью глаз свой карий и нервным давится смешком.

3
Чай крепче мюнхенского пива. Туманио в комнате. Лениво в камине слабый огонек блестит, как бабочка на камне. Но засиделся я, — пора мне... Встаю, кивок, еще кивок, прощаюсь я, руки не тыча, —

так здешний требует обычай, — сбегаю вниз через ступень и выхожу. Февральский день, и с неба вот уж две недели непрекращающийся ток. Неужто скучен в самом деле студентов древний городок?

4
Дома, — один другого краше, — чью старость розовую наши велосипеды веселят; ворота колледжей, где в нише епископ каменный, а выше — как солнце, черный циферблат; фонтаны, гульки прохлады, и переулки, и ограды в чугунных розах и шипах, через которые впотьмах перелезть совсем не просто;

кабак — и тут же антиквар,
и рядом с плитами погоста
живой на площади базар.

5
Там мяса розовые глыбы;
сырая вошь блестящей рыбы;
ножи; кастрюли; пиджаки
из гардеробов безмянных;
отдельно, в положеньях страних
кривые книжные лотки
застыли, ждут, как будто спрятав
тму алхимических трактатов;
однажды эту дребедень
перебирая, — в зимний день,
когда, изгнанника печалю,
шел снег, как в русском городке, —
нашел я Пушкина и Дали
на заколдованном лотке.

6
За этой площадью шерботой
кинематограф, и куда-то
по вечерам мы в глубину
туманной дали заходили, —
где мчались кони в клубах пыли
по световому полотну,
волшебю зрителя волиуя;
где силуэтом поцелуя
все завершалось в должный срок;
где добродетельный урок
всегда в трагедию был вкраплен;
где семенил, носками врозь,
смешной и трогательный Чаплин;
где и зевать нам довелось.

7
И снова — улочки кривые,
ворот громады вековые, —
а в самом сердце городка
цирюльня есть, где брылся Ньютон,
и древней тайною окутан
трактирчик «Синего Быка».
А там, за речкой, за домами,
дерн, утрамбованный веками,
темно-зеленые ковры
для человеческой игры,
и звук удара деревянный
в холодном воздухе. Таков
был мир, в который я нежданно
упал из русских облаков.

8
Я по утрам, вскочив с постели,
летел на лекцию; свистели
концы плаща, — и наконец
стихало все в холодноватом
амфитеатре, и анатом
всходил на кафедру, — мудрец
с пустыми детскими глазами;
и разноцветными мелками
узор японский он чертил
переплетающихся жил
или коробку черепную;
чертил, — и шуточку нет-нет
да и отпустит озорную, —
и все мы топали в ответ.

9
Обедать. В царственной столовой
портрет был Генриха Восьмого —
тугие икры, борода —
работы пышного Гольбайна;
в столовой той, необычайно
высокой, с хорами, всегда
бывало темно, даром,
что фиолетовым пожаром
от окон веяло цветных.
Нагие скамьи вдоль нагих
столов тянулись. Там сидели
мы в черных конусах плащей

и переперченные ели
супы из вялых овощей.

10
А жил я в комнате старинной,
но в тишине ее пустынной
тенями мало дорожил.
Держа московского медведя,
боксеров жалюя и бредя
красой Италией, тут жил
студентом Байрои хромоогий.
Я вспоминал его тревоги, —
как Геллеспонт он переплыл,
чтоб похудеть. Но я остыл
к его твореньям... Да простится
неромантичности моей, —
мне розы мраморные Китса
всех бутафорских бурь милей.

11
Но о стихах мне было вредно
в те годы думать. Винтик медный
вращать, чтоб в капельках воды,
сияя, мир явился малый, —
вот это день мой занимало.
Люблю я мирные ряды
лабораторных ламп зеленых,
и пестроту таблиц мудреных,
и блеск приборов колдовской.
И углубляться день-деньской
в колодез светлый микроскопа
ты не мешала мне совсем,
тоскующая Каллиопа *,
тоска неконченных поэм.

12
Зато другое отвлекало:
вдруг что-то в памяти мелькало,
как бы не в фокусе, — потом
ясней, и снова пропадало.
Тогда мне вдруг надоедало
иглой работать и винтом,
мерцанье наблюдать в узоре
однообразных инфузорий,
кишки разматывать в уже;
лаборатория уже
мне больше не казалась раем;
я начинал воображать,
как у викария за чаем
мы с нею встретимся опять.

13
Так! Фокус найден. Вижу ясно.
Вот он, каштаново-атласный
переливающийся лоск
прически, и немного грубый
рисунок губ, и эти губы,
как будто ярко-красный воск
в мельчайших трещинках. Прикрыла
глаза от дыма, докурила,
и, жмурясь, тычет золотым
окурком в пепельницу... Дым
сейчас рассеется, и станут
мигать ресницы, и в упор
глаза играющие глянут
и, первый, опушу я взор.

14
Не шло ей имя Виолета,
(вернее: Вийолет, но это
едва ли мы произнесем).
С фиалкой **
не было в ней сходства, —
напротив: ярко, до уродства,
глаза блестели, и на всем
подолгу, радостно и важно
взор останавливался влажный,
и странно ширились зрачки...

Но речи, быстры и легки,
не соответствовали взору, —
и доверять не знал я сам
чему — пустому разговору
или значительным глазам...

15
Но знал: предельного расцвета
в тот год достигла Виолета, —
а что могла ей принести
британской барышни свобода?
Осталось ей всего три года
до тридцати, до тридцати...
А сколько тщетных увлечений, —
и все они прошли, как тени, —
и Джим, футбольный чемпион,
и Джо мечтательный, и Джон,
герой угрюмый интеграла...
Она лукавила, влекла,
в любовь воздушную играла,
а сердцем большего ждала.

16
Но день приходит неминуемый;
он уезжает, друг летучий:
оплачен счет, экзамен сдан,
ракета теннисная в раме, —
и вот блестящими замками,
набитый, щелкнул чемодан.
Он уезжает. Из передней
выносят вещи. Стук последний, —
и тронулся автомобиль.
Она вослед глядит на пыль:
ну что ж — опять фаты венчальной
напрасно призрак снился ей...
Пустая улочка, и дальний
звук перебора скоростей...

17
От инфлуэнции презренной
ее отец, судья почтенный,
знаток портвейна, балагур,
недавно умер. Виолета
жила у тетки. Дама эта
одна из тех ученых дур,
какими Англия богата, —
была в отличие от брата
высокомерна и худа,
ходила с тросточкой всегда,
читала лекции рабочим,
культуры чтит идеал
и полагала, между прочим,
что Харьков — русский генерал.

18
С ней Виолета не бранилась, —
порой могла бы, но ленилась, —
в благополучной тишине
жила, о мире мало зная,
отца все реже вспоминая,
не помня матери (но мне
о ней альбомы рассказали, —
о временах осиных талей,
горизонтальных канотье.
Последний снимок: на скамье
она сидит; по юбке длинной
стекают тени на песок;
скромна горжетка, взор невинный,
в руке крокетный молоток).

19
Я приглашен был раза два-три
в их дом радушный, да в театре
раз очутилась незначай
со мною рядом Виолета.
(Студенты ставили Гамлета,
и в этот день был рай не в рай
великой тени барда.) Чаше
мы с ней встречались на кричащей
вечерней улице, когда
снует газетчиков орда,
гортанно вести выкликают.

* Муза эпических поэм, старшая из муз.

** Violet — фиалка (англ.).

Она гуляла в этот час.
Два слова, шуточка пустая,
великолепье темных глаз.

20
Но вот однажды, помню живо,
в начале марта, в день дождливый,
мы на футбольном были с ней
состязаны. Понемногу
росла толпа,— отдавит ногу,
пихнет в плечо,— и все тесней
многоголовое кншенье.
С самим собою в согласенье
я молчаливое вошел:
как только грянет первый гол,
я трону руку Виолеты.
Меж тем, в короткие портки,
в фуфайки пестрые одеты,—
уж побежали игроки.

21
Обычный зритель: из-под кепки
губа брезгливая и крепкий
дымок Виргинии. Но вдруг
разжал он губы, трубку вынул,
еще минута — рот разинул,
еще — и воет. Сотни рук
взвились, победу понукая:
игрок искусный, мяч толкая,
вдоль поля ласточкой стрельнул,—
навстречу двое,— он вильнул,
прорвался,— чистая работа,—
и на бегу издадека
дубленный мяч кладет в ворота
ударом меткого носка.

22
И тихо протянул я руку,
доверясь внутреннему стуку,
мне повторяющему: тронь...
Я тронул. Я собрался даже
пригнуться, зашептать... Она же
непотеплевшую ладонь
освободила молчаливо,
и прозвучал ее шутиливый,
всегдашний голос, легкий смех:
«Вон тот играет хуже всех,—
все время падает, бедняга...»
Дождь моросил едва-едва;
мы возвращались вдоль оврага,
где прела черная листва.

23
Домой. С гербами на фронтонах
большое здание, в зеленых
просветах внутренних дворов.
Там тихо было. Там в суровой
(уже описанной) столовой
был штат лакеев-стариков.
Там у ворот швейцар был зоркий.
Существовала для уборки
глухой студенческой норы
там с незапамятной поры
старушек мелкая порода;
одна ходила и ко мне
сбивать метелкой пыль с комода
и с этажерок на стене.

24
И с этим образом расстаться
мне трудно. В памяти хранятся
ее мышинные шажки,
смешная траурная шляпка,—
в какой, быть может, и прабабка
ее ходила,— волоски
на подбородке... Утром рано
из желтоватого тумана
она беззвучно, в черном вся,
придет и, щепки принеся,
согнется куклоу тряпичной
перед холодным очагом,

наложит кокс рукой привычной
и снизу чиркнет огоньком.

25
И этот образ так тревожит,
так бережит меня... Быть может,
в табачной лавочке отца
во дни Виктории *, бывало,
она румянцем волновала
в жилетах клетчатых сердца —
сердца студентов долговязых...
Когда играет в темных вязах
звук драгоценный соловья,
ее встречал такой, как я,
и с этой девочкой веселой
сирень персидскую ломал;
к ее склоненной шее голой
в смятенье губы прижимал.

26
Воображение дальше мчится:
ночь... лампа на столе... не спится
больному старiku... застыл,
ночной подслушивает шепот:
отменно важный начат опыт
в лаборатории... нет сил...
Она приходит в час урочный,
поднимет с полу сор полночный —
окурки, ржавое перо;
из спальни вынесет ведро.
Профессор стар. Он очень скоро
умрет, и он давно забыл
душистый табачок, который
во дни Виктории курил.

27
Ушла. Прикрыла дверь без стука...
пылают угли. Вечер. Скука.
И, оглушенный тишиной,
я с кексом в родинках изюма
пью чай, бездействуя урюмо.
В камине ласковый, ручной,
огонь стоит на задних лапах,
и от тепла шершавый запах
увядшей мебели слышней
в старинной комнатке моей.
Горящей кочергою ямки
в шипящей выжигать стене,
играть с самим с собою в дамки,
читать, писать,— что делать мне?

28
Отставя чайничек кургузый,
родной словарь беру — и с музой,
моею вялой госпожой,
читаю в тягостной истоме
и нахожу в последнем томе
меж «хананьгой» и «ханжой»
«хандра: тоска, унынье, скука;
сплин, ипохондрия». А ну-ка
стихотворенье сочини...
Так час-другой, лицом к огню,
сизу я, рифмы подбирая,
о Виолете позабыв,—
и вот, как музыка из рая,
звучит курантов перелив.

29
Открыв окно, курантам внемлю:
перекрестили на ночь землю
святые ноты четвертей,
и бьют часы на башне дальней,
считает башня, и печальной
вдали другая вторит ей.
На тяжелеющие зданья
по складкам мантия молчанья
спадает. Вслушиваясь я,—
умолкло все. Душа моя
уже к безмолвию привыкла,—

как вдруг, со смехом громовым
взмывает ветер мотоцикла
по переулкам неживым!

30
С тех пор душой живу я шире:
в те годы понял я, что в мире
пред Богом звуки все равны.
В том городке под сенью Башен
был грохот жизни бесшабашен,
и смесь хмельная старины
и настоящего живого
мне впрок пошла: душа готова
всем любоваться под луной,
и стариной, и новизной.
Но я в разладе с лунным светом,
я избегаю тосковать...
Не дай мне, Боже, стать поэтом,
земное сдуру прозывать!

31
Нет! Я за книгой в кресле сонном
перед каминном озаренным
не пропустил, тоскуя зря,
весны прелестного вступленья.
Довольно угли и поленья
совать в камин — до октября.
Вот настезь небеса открыты,
вот первый крокус глянцевиный,
как гриб, сквозь мураву пророс,
и завтра, без обильных слез,
без сумасшедшего напева,
придет, усядется она,—
совсем воспитанная дева,
совсем не русская весна.

32
И вот пришла. Прозрачней, выше
курантов музыка, и в нише
епископ каменный сдает
квартиры ласточкам. И гулко
дудя в пролете переулка,
машина всякая снует.
Шумит фонтан, цветет ограда.
Лоун-теннис — белая отрада —
сменяет буйственный футбол:
в штанах фланелевых пошел
весь мир играть. В те дни кончался
последний курс — девятый вал,
и с Виолетой я встретался
и Виолету целовал.

33
Как в первый раз она метнулась
в моих объятьях,— ужаснулась,
мне в плечи руки уперев,
и как безумно и уныло
глаза глядели! Это было
не удивленье и не гнев,
не девичий испуг условный...
Но я не понял... Помню ровный,
остриженный по моде сад,
шесть белых мячиков и ряд
больших кустов рододендрона;
я помню, пламенный игрок,
площадку твердого газона
в чертах и с сеткой поперек.

34
Она лениво — значит, скверно —
играла; не летала серной,
как легконогая Ленглен *.
Ах, признаюсь, люблю я, други,
на всем разбеге взмах упругий
богини в платье до колен!
Подбросить мяч, назад согнуться,
молниеносно развернуться,
и струнной плоскостью плеча
скользнуть по темени мяча,

* Английская королева 1819 — 1901 гг.

* Сюзанна Ленглен (1899—1938) — знаменитая теннисистка.

и, ринувшись, ответ свистящий
уничтожительно прервать,—
на свете нет забавы слаще...
В раю мы будем в мяч играть.

35
Стоял у речки дом кирпичный:
плющом, глицинией обычной
стена меж окон обита.
Но кроме плюшевой гостиной,
где я запомнил три картины:
одна — Мария у Креста,
другая — ловчий в красном фраке,
и третья — спящие собаки,—
я комнат дома не видал.
Камин и бронзовый шандал
еще, пожалуй, я отмечу,
и пианолу под чехлом,
и юг нечаянную встречу
под чайным чопорным столом.

36
Она смирилась очень скоро...
Уж я не чувствовал укора
в ее послушности. Весну
сменило незаметно лето.
В полях блуждаем с Виолетой:
под черной тучей глубину
закат, бывало, разрумянит,—
и так в Россию вдруг потянет,
обдаст всю душу тошный жар,—
особенно, когда комар
над ухом пропоет, в безмолвный
вечерний час,— и воет грудь
от запаха черемух. Полно,
я возвращусь когда-нибудь.

37
В такие дни, с такою ленью
не до науки. К сожаленью,
экзамен нудит, хоть не хощь.
Мы поработаем, пожалуй...
Но книга — словно хлеб лежалый,
суха, тверда — не разгрызешь.
Мы и не то одолевали...
И вот верчусь средь вакханалий
названий, в оргиях систем,
и вспоминаю вместе с тем,
какую лодочник знакомый
мне шлюпку обещал вчера,
и недочитанные томы —
хлоп, и на полочку. Пора!

38
К реке воскресной, многолюдной
местами сходит изумрудный
геометрический газон,
а то нависнет арка: тесен
под нею путь — потемки, плесень.
В густую воду с двух сторон
вросли готические стены.
Как неземные гобелены,
цветут каштаны над мостом,
и плющ на камне вековом
тузами пиковыми жметя,—
и дальше, узкой полосой,
река вдоль стен и башен вьется
с венецианскою лентой.

39
Плоты, пироги да байдарки;
там граммофон, тут зонтик яркий;
и осыпаются цветы
на зеленеющую воду.
Любовь, дремота, тьма народу,
и под старинные мосты,
сквозь их прохладные овалы,
как сон блестящий и усталый,
все это медленно течет,
переливается,— и вот
уводит тайная излука
в затон черемухи глухой,

где нет ни ответа, ни звука,
где двое в лодке под ольхой.

40
Вино, холодные котлеты,
подушки, лепет Виолеты;
легко дышал ленивый стан,
охвачен шелковою вязкой;
лицо, не тронутое краской,
пылало. Розовый каштан
цвел над ольшаником высоко,
и ветерок играл осокой,
по лодке шарил, чуть трепал
юмористический журнал;
и в шею трепетную, в дужку
я целовал ее, смеясь.
Смотрю: на яркую подушку
она в раздумье оперлась.

41
Перевернула лист журнала
и взгляд как будто задержала,
но взгляд был темен и тягуч:
она не видела страницы...
Вдруг из-под дрогнувшей ресницы
блестящий выдупился луч,
и по щеке румяно-смуглой,
играя, покатылся круглый
алмаз... «О чем же вы, о чем,
скажите мне?» Она плечом
пожала и небрежно стерла
блестящие той слезы немой,
и тихим смехом вздулось горло:
«Сама не знаю, милый мой...»

42
Текли часы. Туман закатный
спустился. Вдалеке невятно
пропел на пастбище рожок.
Налетом сумеречно-мгlistым
покрылся мир, и я в слоностом,
цветном фоварике зажег
свечу, и тихо мы поплыли
в туман,— где плакала не ты ли,
Офелия, иль то была
лишь граммофонная игла?
В тумане звук неизъяснимый
все ближе, и, плеснув слегка,
тень лодки проходила мимо,
алела капля огонька.

43
И может быть, не Виолета,—
другая, и в другое лето,
в другую ночь плывет со мной...
Ты здесь, и не было разлуки,
ты здесь, и протянула руки,
и в смутной тишине ночной
меня ты любила снова,
с тобой средь марева речного
я счастья наконец достиг...
Но, слава Богу, в этот миг
стремление грезы невозможной
звук речи английской прервал:
«Вот пристань, милый. Осторожно».
Я затабил и пристал.

44
Там на скамье мы посидели...
«Ах, Виолета, неужели
вам спать пора?» И заблистав
преувеличенно глазами,
она в ответ: «Судите сами,—
одиннадцать часов»,— и встав,
в последний раз мне позволяя
себя объять. И поправляет
прическу: «Я дойду одна.
Прощайте». Снова холодна,
печальна, чем-то недовольна,—
не разберешь... Но счастлив я:
меня подхватывает вольно
восторг ночного бытия.

45
Я шел домой, пьянея в тесных
объятых улочек прелестных,—
и так душа была полна,
и слов была такая скудность!
Кругом — безмолвие, безлюдность
и, разумеется, луна.
И блики на панели гладкой
давя резиновой пяткой,
я шел и пел «Алла верды»,
не чуя близости беды...
Предупредительно и ммуро
из-под невидимых ворот
внезапно выросли фигуры
трех неприятнейших господ.
46
Глава их — ментор наш упорный:
осанка, мантия и черный
квадрат покрывающей головной,—
весь вид его — укор мне строгий.
Два молодца — его бульдоги —
с боков стоят, следят за мной.
Они на сыщиков похожи,
но и на факельщиков тоже:
крепки, мордасты, в шюртуках,
в цилиндрах. Если же впотьмах
их жертва в бегство обратится,
спасет едва ли темнота,—
такая злая в них тантся
выносливость и быстрота.

47
И тихо помянул я черта...
Увы, я был одет для спорта,
а ночью требуется тут
(смотри такой-то пункт статута)
ходить в плаще. Еще минута,
ко мне все трое подойдут,
и средний взгляд мой
взглядом встретит,
и спросит имя, и отметит,—
«спасибо» вежливо сказав;
а завтра — выговор и штраф.
Я замер. Свет белесый падал
на их бесстрастные черты.
Надвинулись... И тут я задал,
как говорится, лататы.

48
Луна... Погоня... Сон безумный...
Бегу, шарахаюсь бесшумно:
то на меня из тупика
цилиндра призрак выбегает,
то тьма плащом меня пугает,
то словно тянется рука
в перчатке черной... Мимо, мимо...
И все луною одержимо,
все исковеркано кругом...
И вот стремительным прыжком
окончил я побег бесславный,
во двор коллегии пролез,
куда не вхож ни ангел плавный,
ни изворотливейший бес.

49
Я запыхался... Сердце бьется...
И ночь томит, лениво льется...
И в холодок моих простынь
вступаю только в час рассвета,
и ты мне си니шься, Виолета,
что проснишь будто: «Плащ накинь...
не тот, не тот... он слишком узкий...»
Мне снится, что с тобой по-русски
мы говорим, и я во сне
с тобой на ты,— и снится мне,
что, будто принесла ты щепки,
ломаешь их, в камин кладешь...
Ползи, ползи, огонь нецепкий,—
ужели дымом изойдешь?

50

Я поздно встал, проспал занятия...
Старушка чистила мне платье:
под щеткой — пуговицы стук.
Оделся, покурив немного;
зевая, в клуб Единорога
пошел позавтракать,— и вдруг
встречаю Джонсона у входа!
Мы не видались с ним полгода —
с тех пор, как он экзамен сдал.
— «С приездом, вот не ожидал!»
— «Я ненадолго, до субботы,
мне нужно только разный хлам —
мои последние работы —
представить здешним мудрецам».

51

За столик сели мы. Закуски
и разговор о том, что русский
прожить не может без икры;
потом — изгиб форели синей,
и разговор о том, что ныне
стал мастер теннисной игры;
за этим — спор довольно скучный
о стачке, и пирог воздушный.
Когда же, мигом разыграв
бутылку дружеского Грав,
за обольстительное Асти
мы деловито принялись,—
о пустоте сердечной страсти
пустые толки начались.

52

«— Любовь...» — и он
вздыхнул протяжно:
«Да, я любил... Кого — неважно;
но только минула весна,
я замечаю,— плохо дело;
воображенье охладело,
мне опостылела она».
Со мной он чокнулся уныло
и продолжал: «Ужасно было...
Вы к ней нагнетесь, например,
и глаз, как, скажем, Гулливер,
гуляющий по великанше,
увидит борозды, бугры
на том, что нравилось вам раньше,
что отвращает с той поры...»

53

Он замолчал. Мы вышли вместе
из клуба. Говоря по чести,
я был чуть с мухой, и домой
хотелось. Солнце жгло. Сверкали
деревья. Молча мы шагали,—
как вдруг угрюмый спутник мой,—
на улице Святого Духа —
мне локоть сжал и молвил сухо:
«Я вам рассказывал сейчас... —
Смотрите, вот она, как раз...»
И шла навстречу Виолета,
великолепна, весела,
в потоке солнечного света,
и улыбнулась, и прошла.

54

В каком-то раздраженье тайном
с моим приятелем случайным
я распрощался. Хмель пропал.
Так: поваландался, и basta!
Я стал работать,— как не часто
работал, днями утопал,
ероша волосы, в науке,
и с Виолетой разлуки
не замечал; и, наконец,
(как напрягается гребец
у приближающейся цели)
уже я ночи напролет
зубрил учебники в постели,
к вискам прикладывая лед.

72

55

И началось. Экзамен длился
пять жарких дней. Так накалился
от солнца тягостного зал,
что даже обморока случай
произошел, и вид падучей
сосед мой справа показал
во избежание провала.
И кончилось. Поцеловала
счастливцев Альма Матер в лоб;
убрал я книги, микроскоп,—
и вспомнил вдруг о Виолете,
и удивился я тогда:
как бы таинственных столетий
нас разделила череда.

56

И я уже шатун свободный,
душою легкой и голодной
в другие улелал края,—
в знакомый порт, и там в конторе
вербует равнодушно море
простых бродяг, таких, как я.
Уже я прожил все богатства:
портрет известного аббатства *
всего в двух копиях упас.
И в ночь последнюю — у нас
был на газоне, посредине
венецианского двора,
обычный бал, и в серпантине
мы проскользили до утра.

57

Двор окружает галерея.
Во мраке синем розовая,
горят гирлянды фонарей —
Эола легкие качели.
Вот музыканты загремели —
пять черных яростных теней
в румяной раковине света.
Однако где же Виолета?
Вдруг вижу: вот стоит она,
вся фонарем озарена,
меж двух колонн, как на подмостках.
И что-то подошло к концу...
Ей это платье в черных блестках,
быть может, не было к лицу.

58

Прикосновеньем не волнуем,
я к ней прильнул, и вот танцуем:
она безмолвна и строга,
лицом сверкает недвижным,
и поддается под нажимом
ноги упругая нога.
Послушны грохоту и стону
ступают пары по газону,
и серпантин со всех сторон.
То плачет в голос саксофон,
то молоточки и трещотки,
то восклицанье цымбал,
то длинный шаг, то шаг короткий,—
и ночь любит на бал.

59

Живой душой не правит мода,
но иногда моя свобода
случайно с нею совпадает:
мне мил фокстрот,
простой и нежный...
Иной мыслитель неизбежно
симптомы века в нем найдет,—
разврат под музыку бедлама;
иная пишущая дама
или копеечный пиит
о прежних танцах возопит;

* Изображение на английских банкнотах.

но для меня, скажу открыто,
особой прелести в том нет,
что грубоватый и немый
маркиз танцует менуэт.

60

Оркестр умолк. Под колоннаду
мы с ней прошли, и лимонаду
она глотнула, лепеча.
Потом мы сели на ступени.
Смотрю: смешные наши тени
плечом касаются плеча.
«Я завтра еду, Виолета».
И было выговорить это
так просто... Бровь подняв, она
мне улыбнулась, и ясна
была улыбка: «После бала
легко все поезда проспаться».
И снова музыка стонала,
и танцевали мы опять.

61

Прервись, прервись,
мой бал прощальный!
Пока роняет ветер балый
цветные ленты на газон
и апельсиновые корки,—
должно быть, где-нибудь в каморке
старушка спит, и мирен сон.
К ней пятна лунные прильнули;
чернеет платице на стуле,
чернеет шляпка на крюке;
будильник с искрой в куполке
прилежно тикает; под шкапом
мышь пошуршит и шуркнет прочь;
и в тишине смиренным храпом
исходит нищенская ночь.

62

Моя старушка в полдень ровно
меня проводит. Я любовно
ракету в раму завинтил,
нажал на чемодан коленом,
захлопнул. По углам, по стенам
душой и взглядом побродил:
да, взято все... Прощай, берлога!
Стоит старушка у порога...
Мотора громовая дрожь,—
колеса тронулись... Ну что ж,
еще один уехал... Свежий
сюда вселится в октябре,—
и разговоры будут те же,
и тот же мусор на ковре...

63

И это все. Довольно, звуки,
довольно, муза. До разлуки
прошу я только вот о чем:
летя, как ласточка, то ниже,
то в вышине, найди, найди же
простое слово в мире сем,
всегда понять тебя готовом;
и да не будет этим словом
ни моль бичуема, ни ржа *;
мгновеньем всяким дорожа,
благослови его движенье,
ему застыть не повели;
почувствуй нежное вращенье
чуть накренившейся земли.

* Евангелист Матфей обозначил слова-
ми «моль» и «ржа» земное, преходящее.

Примечания А. Жукова
и Е. Шиховцева.



Евгений ЗАМЯТИН

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ

1918 год. Маленькая редакционная комната — какая-то пустая, торопливая, временная — два-три стула, в углу связки — только что из типографии — книг. Еще непривычно, что в комнате — в шляпах и пальто. И непривычный, дружески-вражеский разговор с одним из редакторов левоэсеровского журнала.

Стук в дверь — и в комнате Блок. Нынешнее его, рыцарское лицо — и смешная, плоская американская кепка. И от кепки — мысль: два Блока — один настоящий, а другой — напаянный на этого настоящего, как плоская американская кепка. Лицо — усталое, потемневшее от какого-то сурового ветра, запечатое на замок.

И в углу около книг — какое-то мимоходное, шепотом, редакционное совещание — я на минуту вдвоём с Блоком.

— Сейчас? (Его ответ.) Ну какое же писаниё. Выколачиваю деньги. Очень трудно...

И вдруг — сквозь металл, из-под забрала — улыбка, совсем детская, голубая:

— А я думал, что вы — непременно с бородой до сих пор, вроде земского доктора. А вы — англичанин... московский...

Это было мое знакомство с Блоком. Только этот короткий разговор, улыбка, кепка *.

Три года затеи мы все вместе были заперты в стальном снаряде — и во тьме, в тесноте, со свистом неслись неизвестно куда. В эти предсмертные секунды-годы надо было что-то делать, устраиваться и жить в несущемся снаряде. Смешные в снаряде затеи: «Всемирная литература», Союз Дейтелей Художественного Слова, Союз писателей¹, Тсатр... И все писатели, кто уцелел, в тесноте сталкивались здесь — рядом Горький и Мережковский, Блок и Куприн, Муйжель и Гумилев, Чуковский и Вольнский.

Сначала — жужжащая, густая приемная «Всемирной литературы» на Невском. И Блок проходит сквозь и как-то особенно, раздельно, твердо — берет руку — и слышен каждый слог: «Николай Степанович!» — «Федор Дмитриевич!» — «Алексей Максимович!»

Горький тогда был влюблен в Блока² — он непременно должен быть на час в кого-нибудь, во что-нибудь влюблен: «Вот — это человек! Да! Покорнейше прошу!» Блока слушал Горький на заседаниях «Всемирной литературы» так, как никого.

Еще неясно было, что мы заседаем, завинченные в летящий стальной снаряд, или, быть может, еще не устал Блок пересаживаться из заседания в заседание. — но он был пока не тот, безнадёжный и усталый, как позже, он срывал с якоря толстых томов не одного только Горького.

В один весенний вечер — заседание на частной квартире. Горький, Батюшков, Браун, Гумилев, Ремизов, Гизетти, Ольденбург, Чуковский, Вольнский, Иванов-Разумник, Левинсон, Тихонов и еще кто-то — много... и один Блок. Доклад Блока о кризисе гуманизма³.

Я помню отчетливо: Блок — на каком-то возвышении, на кафедре — хотя знаю: никакой кафедры там не могло быть, — но Блок все же был на возвышении, отдельно от всех. И помню: сразу же — стена между ним и всеми остальными, и за стеною — слышная ему одному и никому больше — варварская музыка пожаров, дымов, стихий.

А потом — в комнате рядом: потухающий огонь в камине; Блок — у огня со сложенными крыльями бровей, упорно что-то ищущий в потухающем огне, и взволнованные за полночь споры, и усталый, равнодушный, неуверенный ответ Блока — издали, из-за стены...

Кажется, весь этот вопрос — о кризисе гуманизма — ответвился как-то от Гейне: Блок редактировал во «Всемирной литературе» — Гейне⁴. Работал он над Гейне необычайно тщательно и усидчиво. Помню какой-то будничный, дежурный разговор — и слова Блока:

— Оплата? Какая же тут может быть оплата? Вчера за два часа я перевел двенадцать строк. И еще в комнате у меня в тот вечер было тепло, горела печь. Очень трудно, чтобы перевести по-настоящему.

Он делал все — «по-настоящему». Но все же чувствовал — ни на минуту не переставал чувствовать, что это — не то, не настоящее.

* Далее в рукописи: «До этой встречи, давно — я любил его. До этой встречи, недавно — я не любил его: он изменил, казалось, Прекрасной Даме, Дульцинее, он нашел ее в земной Альдонсе, поставил точку. И после этой встречи я понял: изменил на минуту — только этот — в кепке; другой — настоящий — верен, и его нельзя не любить».

Вижу его в зале, у окна — вдвоем с Гумилевым. Тоскливое, румяное, холодное небо. Гумилев, как всегда, жизнерадостен, какие-то многообещающие проекты и схемы. И Блок, глядя мимо, в окно:

— Отчего нам платят за то, чтобы мы не делали того, что должны делать?

А за окном — опустошенное ветром, румяное, холодное небо...

В тесноте, в темноте, внутри несущегося со свистом стального снаряда — торопиться заседать, одно заседание перекрывало другое. Союз Деятелей Художественной Литературы решил заняться в снаряде — изданием произведений изящной словесности⁵. Составилась редакция: Блок, Горький, Куприн, Шишков, Слезкин, Муйжель, Мережковский, Чуковский и я. Посыпались рукописи. Блоку приходилось давать рецензии о стихах, и я помню одну его — отточенную, острую; как и всегда на заседаниях, он не говорил, а читал по написанному (и рукопись этой его рецензии сохранилась). Один из поэтов, нанизанный на острие этой рецензии, просил меня достать у Блока его отзыв. Но на следующем заседании Блок сказал мне:

— Я не принес... Не нужно. Может, ему это очень важно — писать стихи... Пусть пишет *.

Решили устроить журнал. Он должен был называться «Завтра» — и, помню, мне поручено было написать что-то вроде манифеста⁶. Там было — о круге: вчера, сегодня и завтра, и о том, что вся литература всегда о завтра и во имя завтра и этим определяется отношение ее к вчера, к сегодня: и от этого она всегда — ересь, бунт **.

А потом при пересадке с заседания на заседание — мимолетный разговор с Блоком *** и об этом.

Помню: на минуту за этим — медленным, металлическим, на замке — лицом мне мелькнул человек, который трудно и больно отрывает от себя что-то. Это был первый мой разговор с Блоком — без стен. Знаю конец. Я сказал:

— Вы очень отошли от того, кем были год назад. Вы меняетесь.

Ответ:

— Да, я сам чувствую, что меняюсь.

Петербург — выметенный, опустелый; забытые досками магазины; разобранные на дрова дома; кирпичные скелеты печей. Обтрепанные обшлага; поднятые воротники; фуфайки; вязаные свитера, и в свитере — Блок. Лихорадочные попытки перегнать нужду и какие-то новые, минутные, непрочные затеи, какие-то новые заседания — из заседания в заседание...

И вот — поздно вечером, после трех или, может быть, четырех заседаний — в одной из маленьких задних комнат «Всемирной литературы». Столовая, под зеленым колпаком лампа; лица в тени. Налево от дверей — теплая изразцовая лежанка, и на лежанке, возле лежанки — Блок, Гумилев, Чуковский, Лернер, я — и кругленьким кубарем из угла в угол Гржебин.

Трудно починить водопровод, трудно построить дом — но очень легко — Вавилонскую башню. И мы строили Вавилонскую башню: издадим Пантеон Литературы Российской — от Фонвизина и до наших дней. Сто томов!

* Далее в рукописи: «Еще были надежды, что можно что-то писать, издавать».

** Вариант нижеследующих пяти абзацев: «И потом — при пересадке с заседания — короткий, мимолетный разговор с Блоком».

Люди живут странно — в непрозрачных домах, боясь даже окон — непрозрачным закрывают окна. Но иногда вдруг, с имперсала конки, мимолетно мелькнет жизнь без стен: женщина на подоконнике — согнулась и закрыла лицо руками, мужчина молча ходит по комнате взад и вперед — и все ясно. Такой был и этот короткий разговор: без стен. И на минуту за этим медленным, металлическим, на замке лицом мне мелькнул человек, который трудно и больно отрывает от себя что-то очень любимое, последнее. Я не могу вам воспроизвести весь этот разговор. Помню, я сказал:

— Не могу вам простить вот этих строк:

Ломать коням тяжелые крестцы,
И усмирять рабынь строптивых...»⁸

Из сохранившихся двух других вариантов этого же эпизода приведем характеристику этого разговора: «Быть может, первый без стен, когда почувствовалась в какой-то точке пересечение с Блоком», — а также опущенную последнюю фразу Блока: «Да, я чувствую, что меняюсь. «Двенадцать» — теперь я едва ли бы написал».

*** Далее вместо слов «и об этом» шло: «о ереси, о еретике-Блоке, и о том, что однажды он был католическим».

Мы, быть может, чуть-чуть улыбаясь — всрили или хотели верить. И больше всех верил Блок. Как и всегда, как и ко всему — он и к этому подошел «по-настоящему».

В пестрой, переливающейся груди — надо было увидеть какую-то закономерность, уловить ритм. И тут у Блока оказалась зоркость глаза, острота слуха такая, как ни у кого. Башню решили строить по его плану; в издательстве Гржебина где-то хранится составленный им список ста томов⁹. И недаром в найденной среди его посмертных бумаг автобиографии он отмечает: «Ноябрь 1919 г. Составление списка ста томов». Если Вавилонская башня когда-нибудь будет построена — она будет одним из памятников Блоку: с такой тщательностью и точностью он сделал выбор *.

В озябшем, голодном, тифозном Петербурге — была культурно-просветительная эпидемия. Литература — это не просвещение, и потому поэты и писатели — все стали лекторами. И была странная денежная единица: паск, — приобретаемая путем обмена стихов и романов — на лекции.

Блоку в это время жилось трудно — он неспособен был на этот обмен. Помню, он говорил:

— Завидую вам всем: вы умеете говорить, читаете где-то там. А я не умею. Я могу только по-написанному.

Но эпидемия все же захватила и его. Образовалась Секция Исторических Картин¹¹. Это была опять одна из вавилонских башен: в цикле исторических пьес — показать всю мировую историю — ни больше и ни меньше. Придумал это Горький, — и прикованные к столу заседаний все те же: Блок, Гумилев, Чуковский, Ольденбург, я; из других — Щуко и Лаврентьев.

Помню, с самого начала Блок в это не очень верил и говорил:

— Нелзя, чтоб искусство везло науку.

Но все-таки работал — как всегда: «по-настоящему». Все-таки это были не лекции, суррогат творчества, а к суррогатам мы уже привыкли: ели лепешки из картофельной шелухи, пили воду вместо вина. И Блок настойчиво пытался претворить воду в вино.

Одно из первых заседаний — в величественном кожаном кабинете Театрального отдела (ПТО).

Блок читал свой сценарий исторической пьесы — не знаю, сохранился ли этот сценарий¹², но знаю: пьеса осталась ненаписанной. Там было любимое средневековое Блока, рыцари и дамы, пажы, менестрели. И помню легкое пожатие плеч театрального начальства, когда это было прочитано. И сценарий был куда-то спрятан Блоком.

Было уже написано для Секции несколько пьес. Все спрашивали Блока: «Когда же вы дадите, Александр Александрович?»

— Куда там! Вот выселяют всех из нашего дома. Все бегаю, чтоб как-нибудь остаться. Вчера ездил в Смольный с письмом Горького. Завтра идти в районный отдел.

Или:

— Ну — пьеса! Вот я нынче все утро окна замазывал. И завтра надо еще в двух комнатах. Медленно, не умею...

И вот — квартиру удалось отстоять, окна замазаны. Он стал думать о пьесе.

— Вот еще не знаю: взять ли Куликовскую битву — мне это очень близко — или другое: Триста и Изольду¹³.

Говорил, что уж сделал какие-то наброски для «Тристана», и вдруг неожиданно — из египетской жизни: «Рамзес»¹⁴ — едва ли не последняя написанная им вещь.

Прочитали. Делали какие-то замечания о «Рамзесе». Блок отшучивался:

— Да ведь это я только переложил Масперо¹⁵. Я тут ни при чем **.

Секции был обещан свой театр. Но нечем топить — нет дров: наши пьесы передали в Народный Дом, из Народного Дома — в Василеостровский театр. «Рамзес» — в Василеостровском театре...

Случайно я узнал об этом, рассказал Блоку. Блок усмехнулся, не очень весело.

* Далее в рукописи: «Издание этих ста томов с год назад было уже начато. Успел выйти том избранных сочинений Лермонтова, составленный Блоком, с его статьей и примечаниями»¹⁰.

** Далее в рукописи: «Но когда я показал ему несколько не египетски русских мест в «Рамзесе» (это была месть за то, что он говорил мне о моей пьесе¹⁶) — он очень заботливо отметил их карандашом и через два-три дня показал в переделанном виде:

— Ну что: теперь по-египетски?»

— Пусть лучше не ставят.

И Секция наложила veto на постановку «Рамзеса» и других наших пьес. Вавилонская напиза башня разваливалась.

Уже весной 21-го года — одно из последних заседаний Секции. Открыто окно, трамвайные звонки, голоса мальчишек на высохшем тротуаре. И неизвестно почему — вдруг все смешно. Ни у Блока, ни у Гумилева, ни у меня — нет папирос. Гумилев у кого-то стащил и распределяет под столом. И я вижу, как у Блока исчезает какая-то тень на виске, дрожат губы от школьного, неслышного смеха. И кажется ему смешным каждое слово в какой-то неслепой пьесе — читается пьеса, — и он заражает своим смехом.

Это был один из редких случаев, когда за эти годы я видел Блока — «юлодым». И, может быть, это был последний раз, когда я видел Блока.

Потом шли вместе до Невского. Очень отчетливо, вырезанно помню: слева, от Николаевского вокзала, лезла на солнце туча, но солнце еще было, брызгало.

— Очень хочется писать, — говорил Блок. — Это теперь почти никогда не бывает. Может быть, в самом деле отдохнуть, и сяду...

На Садовой ждали трамвая. — есс не было. Туча напозла, закрыла солнце, и сверху — как плита. И почему-то заговорили о зиме, о пещерной петербургской зиме; о том, что теперь мы, как звери, знаем лето, солнце, зиму; о том, что ему после болезни трудно ходить.

Над головой — туча, плита. Опять — знакомая, сле заметная тень на виске. И у меня мысль: нет, не отдохнет, не сядет. Это только минутное солнце *.

Какие-то торопливые, краткие, вагонные были эти мои почти ежедневные встречи с Блоком все три последних года. И, может быть, ближе всего вдвоем с ним и неспешней всего — я был летом 1920 года. Мне пришлось тогда вместе с ним работать над текстом и постановкой «Лира» в Большом Драматическом театре ¹⁷.

Помню: на репетициях — темный, гулкий, как губка вбирающий все звуки зал. За режиссерским столиком перед рампой или в первом ряду кресел — справа от меня медальный профиль Блока. На сцене — один и тот же выход в пятый, в шестой раз подряд, в пятый и в шестой раз падают, убивают. И я вижу, как нетерпеливо Блок поводит головой — будто мешает ему воротник — от каждого неверного слова и жеста на сцене.

Кончится чей-нибудь выход — по лесенке слева через рампу перелезает темная фигура и к Блоку:

— Ну, как, Александр Александрович, — ничего?

Было впечатление: темный, пустой зал полон для них одним зрителем — Александром Александровичем. Его тихих и медленных слов слушались самые строптивые.

— Александр Александрович — наша совесть, — сказал мне однажды, кажется, режиссер Лаврентьев. И ту же фразу — как утвержденную формулу — я слышал потом не раз от кого-то в театре.

Последние — обстановочные и костюмные — репетиции кончались часа в 2, в 3 ночи. Блок всегда сидел до конца, и чем позже, — тем, кажется, больше оживал он, больше говорил: ночная птица.

— Не утомляет вас это? — спросил я.

Ответ:

— Нет. Театр, кулисы, вот такой темный зал — я люблю, я ведь очень театральный человек.

На одной из таких последних ночных репетиций — вдруг стало невмочь, и решили выбросить сцену с вырыванием глаз у Глостера. Помню, Блок был за то, чтобы глаза вырывать:

— Наше время — тот же самый XVI век...**. Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи...***.

После утренних репетиций из театра часто шли вместе на Моховую. Из позабытых, стершихся разговоров уцелели — выброшены волною на берег — только разрозненные облом-

* Далее в рукописи: «Как писать, когда над головой плита?»

** Далее в рукописи: «То же самое, что и каждый день» (слова Блока).

*** Далее в рукописи: «Однажды утром, помню, ждали его на репетиции и так не дожались. На другой день я спросил его, отчего он не пришел.

— За мной заехала Н ¹⁸ — и мы проскакали до Павловска. Лошадь великолепная, ветер...

И все утро он был полон любимым своим великолепным ветром».

ки. Но если приглядеться к ним, — видишь, что все они — одно.

Ясно вижу: мы, ухватившись за ремни, стоим в вагоне трамвая. Толкают, наступают на ноги — и в этой толчее конец какого-то странного разговора.

— ...А вот бывает с вами так: смотришь на себя со стороны — ты совершенно определенно в стороне, в другом углу комнаты — и видишь себя — не себя, а чужое?

Ответ — после паузы — глаза очень далеко:

— Да, бывало. Раз три в жизни. Теперь больше не бывает... Теперь со мной ничего не бывает... — и еле приметная горечь в углах губ.

Вот идем по Бассейной — куда, не помню. Блок в своей кепке. И голый, ни с чем не связанный обломок — его слова:

— Дышать нечем. Душно. Болен, может быть.

И, может быть, в тот же — может быть, в другой день — долгий разговор *, его горькие, жестокие слова о мертвечине, о лжи.

А потом, нахмурившись, упрямо — может быть, самому себе, а не мне:

— И все-таки золотник правды — очень настоящий — во всем этом есть **. Ненавидящая любовь — это, пожалуй, точнее всего, если говорить о России, о моем отношении к ней.

На каком-то заседании — у меня в руках английский журнал, и там я увидел статью о переводе «Двенадцати» Блока под заглавием «А Bolshevik Post» ¹⁹. Я показал Блоку статью. Он усмехнулся***.

И потом — разговор о большевизме.

— Большевизма и революции — нет ни в Москве, ни в Петербурге. Большевизм — настоящий, русский, набожный — где-то в глубинах России, может быть, в деревне. Да, наверное, там...

Он всегда говорил медленно, металлически, холодно. И только два-три раза я слышал в металле острие, жало — и видел: он натягивает вожжи, чтобы удержать себя.

Один раз он так говорил о марксизме****. Другой раз — он только что прочитал заграничную «Русскую мысль» Струве ²⁰, — и я редко слышал, чтобы он брал такие грубые слова.

— Что они смыслят, сидя там? Только лают по-собачьи.

И написал об этом очень резкую статью для невышедшей «Литературной газеты» Союза писателей ²¹.

Это было в апреле 1921 года — перед последней его поездкой в Москву.

Блок — весь из Невы, из тумана белых ночей, Медного всадника. Пестрая, по-купечески телесная Москва — ему чужая, и он Москве — чужой. Его чтения в Москве — в мае 1921 года — это показали.

Последний его печальный триумф — был в Петербурге, в белую апрельскую ночь ²².

Помню, он с усмешкой рассказывал — вечер его не разрешают; спекуляция, цены — выше каких-то тарифов. Наконец — разрешили. И вот доверху полон огромный Драматический театр (Большой), — и в полумраке шелест, женские лица — множество женских лиц, устремленных на сцену. Усталый голос Чуковского — речь о Блоке, — и потом, освещенный снизу, из рампы, Блок — с бледным, усталым лицом. Одну минуту колеблется, ищет глазами, где стать — и становится где-то сбоку столика. И в тишине стихи — о России. Голос какой-то матовый, как будто откуда-то уже издалека — на одной ноте. И только под конц, после овалей — на одну минуту выше и тверже — последний взлет.

Какая-то траурная, печальная, неживая торжественность была в этом последнем вечере Блока. Помню, сзади голос из публики:

— Это поминки какие-то!

Это и были поминки Петербурга о Блоке. Для Петербурга — прямо с эстрады Драматического театра Блок ушел за ту стелу, по синим зубцам которой часовым ходит смерть: в ту белую апрельскую ночь Петербург видел Блока последний раз.

На заседаниях — у каждого было уже какое-то свое, привычное место. И вот стул Блока — с краю, у самого

* Далее в рукописи: «о сегодняшнем».

** Далее в рукописи: «И я все-таки России люблю» (слова Блока).

*** Далее в рукописи: «Я не очень польщен» (слова Блока).

**** Далее в рукописи: «догме и догматах».

окна, стоял теперь пустым: Блок болен. Еще зимой — с месяц стоял пустым этот стул. Но, отлежав месяц, Блок вернулся как будто все таким же. Да и что особенного: острый ревматизм, от промерзлых домов — у кого этого теперь нет в Петербурге? Никто не думал, что этим неособенным, обыкновенным — уже исчислены удары его сердца. И неожиданно было, когда узнали: это серьезно, и спасти его можно только одним — тотчас же увезти в санаторий за границу.

Никто из нас не видел его за эти три месяца его болезни: ему мешали люди, мешали даже привычные вещи, он ни с кем не хотел говорить — хотел быть один. И никак не мог оторваться от ненавистой — и любимой России; не хотел согласиться на отъезд в финляндский санаторий, пока не понял: остаться здесь для него — умереть. Но и тут не хотел ни за что подписывать никаких прошений и бумаг. Письма в Москву о разрешении Блоку выезда за границу были написаны (в июне) Правлением Союза писателей.

В Москве был Горький. Горький с бумагами ходил по инстанциям; к нам приходили известия: обещали, выпускают, скоро. Блок метался: не хватало воздуха, нечем дышать. И приходили люди, говорили: больно сидеть в соседней комнате и слушать, как он задыхается*.

Мы заседали; стояли в очередях; цеплялись за подножки трамваев; Блок метался; Горький в Москве ходил по инстанциям. И, наконец, 3-го или 4-го августа пришло из Москвы разрешение: Блок мог уехать²³.

Ветреное, дождливое утро 7-го августа, одиннадцать часов, воскресенье. Телефонный звонок — «Алконост» (Алянский)²⁴: скончался Александр Александрович.

Помню: ужас, боль, гнев — на все, на всех, на себя. Это мы виноваты — все. Мы писали, говорили — надо было орать, надо было бить кулаками, чтобы спасти Блока**.

Помню, не выдержал и позвонил Горькому²⁵.

— Блок умер. Этого нельзя нам всем — простить***.

Синий, жаркий день 10-го августа. Синий ладанный дым в тесной комнатке. Чужое, длинное, с колчужными усами, с острой бородкой, лицо — похожее на лицо Дон-Кихота. И легче оттого, что это не Блок и сегодня зарюют — не Блока.

По узенькой, с круглыми поворотами грязноватой лестнице — выносят гроб — через двор. На улице у ворот — толпа. Все тех же, кто в апрельскую белую ночь у подъезда Драматического театра ждал выхода Блока, — и все, что осталось от литературы в Петербурге. И только тут видно: как мало осталось.

Полная церковь Смоленского кладбища. Косой луч наверху в куполе, медленно спускающийся все ниже. Какая-то неизвестная девушка пробирается через толпу — к гробу — целует желтую руку, уходит. Все ниже луч.

И наконец — под солнцем, по узким аллеям — несем то чужое, тяжелое, что осталось от Блока. И молча — так же, как молчал Блок эти годы, — молча Блока глотает земля****.

Имя писателя Евгения Замятина было широко известно в 1910—1920-х годах: издавались и переиздавались его сатирические повести и рассказы, печатались статьи и эссе, в театрах шли пьесы. Незаурядное дарование писателя, как правило, признавалось всеми; общественная же позиция Замяти-на вызывала резку — и часто необоснованную — критику: о Замятине писали как о «белогвардействующем» писателе, «классовом враге» и пр. Оскорбленный такими оценками своего творчества, Замятин в 1922 году писал одному из своих критиков: «(...) пора бы уже вам, коммунистам, как следует научиться отличать белый цвет от другого. Белые — вовсе не те, кто видит ошибки во всем, что творится кругом, и имеет смелость говорить о них. И красные — вовсе не те, кто кричит «ура» всему, что ни делается (...). Такой

уж у меня нрав, что молча пройти мимо глупости и лицемерия я не могу. Я показывал пальцем на эти доблести в англичанах и в царской России; я не перестал это делать теперь». Спустя 7 лет, в дни ожесточенной кампании в свой адрес, Замятин повторит: «(...) я никогда не боялся критиковать то, что мне казалось консервативным в нашей современности».

Однако общественно-литературная ситуация сложилась так, что в 1931 году Замятин был вынужден покинуть Родину. Он умер в Париже в 1937 году.

Сегодня «Юность» представляет мемуарный очерк Замяти-на «Воспоминания о Блоке».

Для Замятина Блок олицетворял идеальный образ писателя и человека. «Я не знаю никого другого из современных нам писателей, — говорил Замятин в 1926 году на вечере памяти поэта, — кого бы любили, как Блока, кого будут так любить. (...) В этом человеке — с огромной, зажигающей силой — как лучи сквозь двояковыпуклое стекло — преломилось лучшее, что есть в нас, русских: это — способность никогда не быть сытым, всегда все идти дальше — хотя бы это грозило опасностью, гибелью. В Блоке мы любим лучше, что есть в нас. В нас это горит искрой, а в нем было пламя, иным только мешает, иных обжигает, а его — это сожгло».

С поэзией Блока Замятин познакомился задолго до революции. Особо близким начинающему прозаику оказался цикл «Стихи о Прекрасной Даме», образ которой на долгие годы стал одним из любимейших его образов. В 1914 году он пишет о драме «Роза и Крест»: «(...) Блок устремляет свой путь: к Прекрасной Даме, которой — нет, которая — мечта, путь к которой — страданье» («Ежемесячный журнал», 1914, № 4, с. 158). В октябре 1915 года на квартире писателя А. Ремизова состоялась, очевидно, первая встреча Замяти-на и Блока (видимо, незначительная и не оставшаяся потому в памяти мемуариста, но зафиксированная поэтом — Блок А. Записные книжки. М., 1965, с. 269). В личной библиотеке Блока хранилось много дореволюционных изданий с произведениями Замяти-на; не исключено, что Блок был знаком с творчеством молодого писателя.

Отношение Замяти-на к Блоку резко меняется в начале 1918 года, когда в печати появляются поэма «Двенадцать», стихотворение «Скифы», статья «Интеллигенция и революция». Эти произведения Замятин расценил не только как измену поэта самому себе, но — и как измену писателю своему предназначению вообще. Писатель для Замяти-на — «еретик», «бунтарь», «мечтатель», во все времена оппозиционный господствующему строю, отвергающий настоящее — ради будущего. С этих, несколько абстрактных и романтических, позиций Замятин подошел к «Скифам» и «Интеллигенции и революции» Блока (статьи «Скифы ли?» — в сб. «Мысль», кн. 1, Пг., 1918, «Домашние и дикие» — «Дело народа», 1918, 4 мая): «Поэт приземлился. Поэт хочет жить, а не мечтать», он «верует, поучает», он «научился приятию мира со всячиной».

Как бы ни были различны в 1918 году социальные позиции Блока и Замяти-на, уже через год совместная работа в многочисленных литературных и театральных организациях, рожденных революцией, объединяет писателей. В дневнике и записных книжках Блока — свидетельства частых встреч с Замятиним; в беседах с Блоком перед Замятиним постепенно приоткрывается личность поэта и вся сложность его общественно-литературных взглядов той поры.

1919—1921 годы — один из наиболее драматических периодов в жизни и творчестве Блока. После «Двенадцати» и «Скифов» Блок не пишет стихов; в его дневниках, письмах — раздумья о настоящем и будущем России; иногда поэту кажется, что русская революция кончилась. Тяжело пережил Блок, по свидетельству современников, свой арест и недолгое заключение в феврале 1919 года (по обвинению в связях с левыми эсерами); тогда же вместе с критиком Р. Ивановым-Разумником, художником К. Петровым-Водкиным и др. был арестован и Евгений Замятин.

В «Воспоминаниях» Замяти-на приводится много горьких высказываний Блока о современности. Мемуарист особо отмечает созвучные собственным настроениям мысли поэта; в некоторых случаях (особенно в косвенной речи) налицо почти текстуальные совпадения с ключевыми формулами автора («еретик», «догма», «католицизм» и др.). Замятин словно накладывает на Блока свое представление о нормах идеального поведения писателя.

Смерть Блока потрясла современников. Замятин писал К. Чуковскому: «Вчера в половине одиннадцатого утра —

* Далее в рукописи: «А бумаги шли по инстанциям. В июле узнали: состоялась заседание, разрешен выезд Сологубу, Венгеровой; Блоку — нет».

** Далее в рукописи: «Его можно было спасти, вылечить».

*** Далее в рукописи: «И опять телефон: надо написать страницу о его смерти — для «Записок мечтателей». Я сел и написал в этот день только две строчки, я не могу их здесь привести». Ниже эти строки зачеркнуты: «Блок умер. Или, точнее, убит. Убит всей нашей теперешней, жестокой, пещерной жизнью».

**** Далее в рукописи: «Все молчат».



Анатолий
КРАВЧЕНКО

умер Блок. (...) 7 августа 1921 года такой же невероятный день, как тот — 1837 года, когда узнали: убит Пушкин. Я человек металлический и мало, редко кого люблю. Но Блока — любил (...) («Литературное наследство», т. 92, кн. 2, с. 270). В те же августовские дни был написан Замятиным и некролог: «Быть может, и в смерти Блока была своя мудрость: Блок слишком много отдал себя последней своей Прекрасной Даме — огненной и вольной стихии, — и слишком больно было ему, когда от огня — остался только дым. В дыму он не мог жить. И вот почему в его смерти — какая-то логика. Но чувству — нет дела ни до каких логик. Боль оттого, что человека нет с нами и не будет — боль все такая же. И она еще горьчее оттого, что мы знаем: его можно было спасти, оттого, что мы знаем: он убит нынешней нашей жестокой, пещерной жизнью» («Записки мечтателей», 1921, № 4, с. 11. Последнее предложение, опущенное в журнале, приводится по рукописи). Тень трагического события легла и на написанные Замятиным в том же 1921 году «Воспоминания о Блоке». Но уже через пять лет он скажет, вспоминая эти дни: «И утешением может служить только одно: человек Блок так полно, так щедро всего себя перелил в стихи — что он будет с нами, пока живы будут его стихи. Поэт же Блок будет жив, пока живы будут мечтатели, пока живы будут вечно ищущие, а это племя у нас в России — бессмертно».

Примечания

«Воспоминания о Блоке» впервые опубликованы в журнале «Русский современник», 1924, № 3. При сравнении опубликованного текста с рукописями выявлен ряд купюр (явно не авторских), значительно искажающих смысл некоторых предложений, опущенных эпизодов и характеристик. Наиболее важные разночтения приводятся по рукописям «Воспоминаний», хранящимся в рукописном отделе Института мировой литературы имени А. М. Горького.

¹ «Всемирная литература» — издательство, организованное по инициативе М. Горького (с 1918 по 1924 г.). Союз деятелей художественного слова — очевидно, Союз деятелей художественной литературы — одна из литературных организаций в Петрограде (1918—1919). Союз писателей — Всероссийский союз писателей (1920—1932).

² Отношения Блока и Горького в ту пору были сложнее, о чем писал в 1924 году Горький, резко отзываясь о «Воспоминаниях» Замятина: «Хотя я считаю Блока очень интересным человеком и многому удивлялся в нем, но любить его не мог. Это совершенно ясно» («Горьковские чтения, 1953—1957», М., 1959, с. 49).

³ Доклад «Крушение гуманизма» сделан 9 апреля 1919 года на собрании сотрудников издательства «Всемирная литература».

⁴ Блок редактировал переводы В. Зоргенфрея (изданы в 1920—1922 гг.).

⁵ Об издательских планах Союза в январе — апреле 1919 года см.: Ширмаков П. К истории литературно-художественных объединений первых лет Советской власти — «Вопросы советской литературы», вып. VII, М.-Л., 1958.

⁶ Журнал «Завтра» упоминается в записных книжках Блока в апреле 1919 года — Блок А. Записные книжки, М., 1965, с. 455. Статья Замятина — в его сб. «Лица», Нью-Йорк, 1955.

⁷ Этот разговор состоялся, очевидно, 17 июня 1919 года; об этом запись Блока: «О стихах — с Замятиным» (Блок А. Записные книжки, М., 1965, с. 464).

⁸ Из стихотворения Блока «Скифы» (1918).

⁹ Сохранилась заметка Блока «О списке русских авторов», над которым он работал в ноябре 1919 года.

¹⁰ «Избранные сочинения» Лермонтова вышли в 1921 году.

¹¹ Секция исторических картин при Петроградском театральном отделе (ПТО) Народного комиссариата по делам просвещения организована по инициативе М. Горького весной 1919 года.

¹² Сохранился «План представления» из истории Франции XII в. (весна 1919 г.).

¹³ Сохранились планы пьес «Куликовская битва» и «Тристан».

¹⁴ Пьеса «Рамзес» написана в конце 1919 года.

¹⁵ Французский историк, автор книги «Древняя история: Египет, Ассирия» (рус. пер. 1892 г.).

¹⁶ Пьеса Е. Замятина «Юни св. Доминика», написанная весной 1920 года для Секции; Блок рецензировал эту пьесу (рецензия не сохранилась).

¹⁷ Е. Замятин и Блок в мае—сентябре 1920 года редактировали перевод А. Дружинина. Премьера «Короля Лира» в БДТ состоялась 21 сентября 1920 года (режиссер А. Лаврентьев).

¹⁸ Л. Рейснер.

¹⁹ «Большевистская поэма» (англ.).

²⁰ Эмигрантский журнал, издававшийся П. Струве.

²¹ Эта статья сохранилась, опубликована под условным названием «Отрывок статьи о белоэмигрантской печати».

²² Блок выступал 25 апреля в петроградском БДТ.

²³ Разрешение на выезд получено 23 июля 1921 года.

²⁴ Издательство, во главе которого стоял С. Алянский (1891—1974).

²⁵ Неточность: М. Горький в это время находился в Москве.

Послесловие, комментарий
и подготовка текста А. Ю. ГАЛУШКИНА.

Другу

Не поверишь, а снится, что я на войне:
свищут пули, и танки скрежещут в огне,
и кричит что-то ротный, упав у сосны,
и на бредущем «юнkersы» рыщут над нами;
и встаю, и бегу я к высоте с друзьями,
где отцы умирают. Такие вот сны.

☆☆☆

Что за птица поет в этот час?

Обезумела, что ли, пичуга!

Вьюга белыми сделала нас,
разгулялась нежданная вьюга.

Вьюга белыми сделала нас,

а сама стала черною, вьюга...

Что за птица поет в этот час?

Обезумела, что ли, пичуга?

Но поет ведь, ты слышишь — поет!

Все отчетливый тоненький голос —
сквозь пургу, что безбожно метет,
точно небо совсем раскололось.

И смертельное то ремесло,
пробиваясь отважно сквозь вьюги,
приближает к нам снова тепло...
Вот об этом и песнь у пичуги.

Альтернатива

Кому-то надоела жизнь,
Земле — не надоела...
Мой маленький листок, держись,
пчела, смелей за дело!
Кому-то надоела жизнь,
Земле — не надоела...
Пшеничный стебель, колосись,
гроздь, радуй винодела!
Кому-то надоела жизнь,
Земле — не надоела...
Рука рабочая, трудись,
и разум, действуй смело!
Планета добрая, кружись,
не ведая предела!
Кому там надоела жизнь?!
Земле — не надоела.

После работы

С трамвая на трамвай, из магазина — в лавку,—
здесь только поспевая в предпраздничную давку.
Идет, нагружена авоськами, кулками,
уставшая — она. Ледок под яблоками...
Хотя бы не упасть, скорей домой добраться,
чтоб накормить всех власть. И милою казаться.
г. Донецк

Наталья ИВАНОВА

СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ДОКТОРА ЖИВАГО

В журнале «Новый мир» завершена публикация романа Б. Пастернака «Доктор Живаго»¹. Потребовалось тридцать лет, чтобы книга, принесшая автору мировую славу, была реабилитирована у него на родине. И вот, наконец, прочитана.

Роман ли перед нами? Или огромное, на тысячу с лишком страниц лирическое стихотворение. чье «пространство, насквозь живое», пронизано силовыми линиями вымышленных героев?

Искусственные встречи, беллетристические совпадения — это от невладения ремеслом прозаика или все-таки от любимого Диккенса? А захлебывающаяся в сравнениях, в горячо, страстно нанизываемых эпитетах, взволнованная, как бы не поспевающая за событиями авторская (или внутренний монолог лирического героя) речь?

Но сначала — несколько слов об истории создания и судьбе романа.

Борис Леонидович начал свою работу в первый послевоенный год, в ощущении общего духовного подъема после Победы.

Еще во время войны в обществе сначала забрезжило, а потом все отчетливее складывается убеждение: жизнь прежняя (с репрессиями, страхом, террором) невозможна. Если допустимы исторические параллели — а они всегда приблизительны, — то вспомним, что у участников войны двенадцатого года тоже возникли надежды на то, что героически сражавшегося крестьянина нельзя будет оставить в прежнем состоянии, в рабстве крепостничества. Однако надежды эти, как известно, не оправдались, как не оправдались и надежды Пастернака, который после Победы утверждал: «Победил весь народ, всеми своими слоями, и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями. Победило разнообразие... Дух широты и всеобщности начинает проникать в деятельность всех».

Работал над романом Пастернак с огромным увлечением, чувством счастливой внутренней свободы, о чем свидетельствуют его письма, в апреле 1987 года опубликованные в «Огоньке». В декабре 1945 года он писал в Ленинград своей двоюродной сестре, замечательному исследователю античной литературы, Ольге Михайловне Фрейденберг (их переписка, охватывающая полвека, — тоже своего рода уникальный роман, с которым, я надеюсь, вскоре познакомятся читатели «Дружбы народов»): «Я вдруг стал страшно свободен. Вокруг меня все страшно свое». Октябрь 1946 года: «...я начал писать роман в прозе «Мальчики и девочки», который в десяти главах должен охватить сорокалетие 1902—1946 годов... Ко мне полностью вернулось чувство счастья».

Чувство счастья? Не случайная ли обмолвка? Нет. Несмотря на все усиливавшийся идеологический мороз (в августе 1946 года как раз появилось постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград»), несмотря на кампанию по «борьбе с космополитами», несмотря на развернутую травлю интеллигенции, Пастернак упорно продолжал работать в ощущении счастья.

Все нарастающая жесткость и жестокость, все новые кампании (вплоть до «дела врачей») опять сознательно и планомерно закрывали народ, вдохнувший глоток свободы — да

отноудь не полной грудью — во время войны (таков страшный парадокс сталинщины). А Пастернак продолжал счастливо работать. Что это — эмоциональное недочувствие? Равнодушие к судьбам своих товарищей? Или все же он выбрал свой ответ — творчество, как более других доступную ему реальность противостояния фантазмагории происходящих событий? В своем романе он предполагал «дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие», выразить свои взгляды «на жизнь человека в истории» (письмо от 13 октября 1946 г.).

Работу над романом Пастернак завершил зимой 1955/56 года. «Стихи из романа» — как отдельный цикл — были опубликованы в апреле 1954 года в «Знамени». Во вступительной заметке к этой публикации Пастернак писал: «Герой — Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с поисками, творческой и художественной складки, умирает в 1929 году. После него остаются записки и среди других бумаг написанные в молодые годы отдельные стихи... которые во всей совокупности составят последнюю, заключительную главу романа».

Полный текст романа был передан Пастернаком в журнал «Новый мир». Из «Нового мира» рукопись романа была возвращена — с письмом автору, опубликованным редакцией в № 11 за 1958 год (его подписали Б. Агапов, Б. Лавренев, К. Федин, К. Симонов, А. Кривицкий).

Роман определялся редакцией как «политический». В нем, в частности, говорилось: «Дух Вашего романа — дух неприязни социалистической революции», «злобность кривды», «внутренней ненависти (Живаго. — Н. И.) к революции хватало бы на двух Деникиных», «апология предательства», «гипертрофированный до невероятных размеров индивидуализм», «претензия на мессианство» под покровом «внешней утонченности», «глубокое противоречие со всей традицией русской литературы». О художественной стороне романа говорилось следующее: «Много откровенно слабых страниц, лишенных жизни, иссушенных дидактикой».

В письме «Нового мира» лишь с одним положением нельзя не согласиться: «Правда редко бывает спутницей озлобления».

Это был категорический отказ. Роман в СССР не появился. Он вышел в Италии, был сразу же переведен на несколько языков мира.

В 1958 году Пастернаку присуждается Нобелевская премия. А на родине начинается травля поэта. Как пишет в своих воспоминаниях В. Каверин, «Пастернак был предан всенародному проклятию, вопреки тому, что никто (кроме редакции «Нового мира») не читал его роман и, следовательно, не мог судить о нем объективно. ...На тысячах собраний, не только писательских ...он был объявлен человеконенавистником, циником, пасквилантом, клеветником, иудой, изменником, предателем, отщепенцем, внутренним эмигрантом. Его называли озлобленной шавкой, лягушкой в болоте» («Знамя» № 8, 1987). В эти тяжелые дни Пастернак пишет стихотворение «Нобелевская премия», где есть строка: «Я пропал, как зверь в загоне...»

В 1987 году Пастернак посмертно был восстановлен в рядах СП СССР. На мой взгляд, это восстановление необходимо скорее для СП СССР. Для Пастернака, для его славы и чести это восстановление никакого значения уже не имеет.

Но встает вопрос: если секретариат СП СССР отменил свое решение об исключении Пастернака из членов Союза, должны ли читатели и критики вспоминать сегодня прошлое? Или уже под ним подведена черта очищения? Я думаю, что забвения для таких фактов быть не должно. Критика пишет историю современности. А история не терпит «белых пятен» и «черных дыр», даже если от них «покаянно» активно отреклись. У общества нет никаких гарантий, что бурно «отрекшиеся» от своего застойного прошлого при новом повороте не отрекутся с такой же бойкостью от сегодняшнего настоящего, ставшего к тому времени прошлым. Поэтому нужна открытость при разговоре о прошлом, как бы его ни отменяли.

В постановлении президиума правления СП СССР, бюро Оргкомитета СП РСФСР и президиума правления Московского отделения СП говорилось: об авторе — «морально-политическое падение Б. Пастернака», «самоизоляция от народа и времени»; о романе — «нищета мысли», «воплъ перепуганного обывателя», «идея романа фальшива и ничтожна, выгашена с декадентской свалки».

31 октября в Доме кино на улице Воровского состоялось общее собрание московских писателей по вопросу о Пастернаке. Председательствовал С. С. Смирнов, который поддер-

¹ «Новый мир» №№ 1—4, 1988 год.

жал идею о высылке Пастернака из СССР. А студенты Литинститута ходили к Союзу писателей с хоругвями, на которых будущие мастера слова и инженеры человеческих душ начертали: «Долой иуду из СССР!»

Что же Пастернак в складывающейся атмосфере отвратительной «охоты» и чудовищной травли?

16 декабря 1957 года он пишет Е. А. Благиной: «Я не знаю, что меня ждет... как бы они («неожиданности». — Н. И.) ни были тяжелы или даже, может быть, ужасны, они никогда не перевесят радости, которой никакая вынужденная моя двойственность не скроет, что по слепой игре судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, и то самое, чем мы так привыкли жертвовать и что есть самое лучшее в нас, художник оказался и в моем случае незатертым и нерастоптанным» (разрядка здесь и далее моя. — Н. И.). Тем не менее оскорбления продолжались. В «Правде» он был назван «литературным сорняком». Семичастный, секретарь ЦК ВЛКСМ, обозвал в речи Пастернака «паршивой овцой» и «свиньей», которая гадит там, где ест.

Под давлением всех этих обстоятельств, а главное, под угрозой высылки с родины Пастернак был вынужден отказаться от Нобелевской премии.

Думаю, не ошибусь, если предположу, что «Доктор Живаго» подвигнет критиков и литературоведов ко множеству интерпретаций. Различные его аспекты будут рассмотрены в монографиях, исследованиях, научных статьях. Работа только начинается. Я позволю себе зажечь свою свечку над страницами романа.

Два мотива являются для романа «Доктор Живаго» основополагающими, развивающимися контрапунктно. Их взаимодействие точнее всего будет определить одним из любимых, ключевых пастернаковских слов — «скрещенье». Мотивы для русской литературы традиционные. Но так как сам роман, на мой взгляд, подводит итоги русского романа XIX века с его уходящей поэзией «дворянских гнезд» и усадеб, красотой деревенской природы, чистотой и жертвенностью героинь, мучительной рефлексией и трагической судьбой героев, а герой его замыкает собою длинный ряд героев Лермонтова, Тургенева, Толстого и Достоевского, (думается, что недаром дочь Юрия Живаго и Лары названа Татьяна — это последняя в ряду русской литературы ТАТЬЯНА ЛАРИНА с ее страшным детством и юностью, с ее языком, столь страшно отличным от языка пушкинской тетки), то эта традиционная мотивов как бы сама собой разумеется. Я имею в виду мотивы природы и железной дороги, то есть жизни и смерти, лежащие в основе каждого из них.

Эти два мотива принимают на протяжении книги разные обличья: живая история, например («Что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению»), и антидуховность («хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников»). Эти мотивы постоянно спорят друг с другом, существуют и развиваются в диалектическом противоречии. После пришествия Христа, говорит дядя Юры Живаго, философ-расстрига Веденяпин, «человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти». То есть смерть такого человека уже духовна и работает на жизнь — как и математические, физические открытия, музыка («для этого пишут симфонии»). А изрытые оспой лица властителей, Калигул — это мертвая смерть.

Вспомним знаменитые слова Толстого о свече жизни Анны Карениной, погасшей на железной дороге; вспомним мужика, стучащего по железу, из ее сновидений. Вспомним «Век шествует путем своим железным» Баратынского — строки, отразившие мучительные размышления поэта о трагической подоплеке цивилизации и движении прогресса. Стихи Некрасова и Блока, разговоры в поезде Рогожина с Мышкиным — ряд «прародителей» романа Пастернака можно было бы длить и длить.

Самым сильным предшественником скрещения этих мотивов у Пастернака был, думается, все же Толстой. И свеча из «Анны Карениной», и дуб, и аустерлицкое небо «Воины и мира» обрели новую жизнь на страницах пастернаковского романа.

Природа в концепции романа являет собою всеобъемлющее начало мироздания. Размышляя у гроба Живаго об их любви, Лара думает: «Они любили друг друга потому, что

так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья... Никогда, никогда, даже в минуты самого царственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее: наслаждение общим лепком мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной. Они дышали только этой совместностью. И потому превознесение человека над остальной природой, людное нянчение с ним и человекопоклонство их не привлекали».

Пастернак более чем олицетворяет природу (по небу, «как тени по лицу, безостановочно плыли длинные слоистые снеговые облака»). Он ее обожествляет. А если она оскорблена, то чуть ли не дьявольским началом. Доктор Живаго, бредущий по разоренной гражданской войной стране, видит поля тяжко заболевшими, «в жарком бреду, а лес — в просветленном состоянии выздоровления». Юрию Андреевичу казалось, «что в лесу обитает Бог, а по полю змеится насмешливая улыбка дьявола».

Главный герой романа, по-моему, все же недаром носит фамилию Живаго (хотя фамилия распространенная) — воплощением «духа живаго» в жизни и творчестве является этот человек, тончайшими нитями связанный с миром природы, истории, христианства, искусства, русской культуры.

Юрий Андреевич Живаго — интеллигент. Он интеллигент и по духовной жизни своей (поэт, как говорится, от Бога), и по профессии своей милосердной, человеколюбивой (врач). И по неисчерпаемой душевности, домашности внутреннего тепла; и по неприкаянности, по стремлению к независимости — интеллигент. Д. С. Лихачев в своей вступительной к роману статье уже сказал о том, что Живаго — врач, и нейтральность его «в гражданской войне декларирована его профессией: он военврач — то есть лицо, официально нейтральное по международным конвенциям». Но дело здесь, как мне кажется, отнюдь не в профессии героя. И за разъяснением обращусь к стихам другого поэта, М. Володина:

**А я стою один меж них
В ревящем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.**

Эти строки тоже воскресли сегодня из небытия. «Бывают странные сближения» — они напечатаны через страницу после «Доктора Живаго». Во втором номере «Нового мира».

Что отвращает интеллигента, так это стадность. «Всякая стадность — прибежище неодаренности», — утверждает один из героев романа, и не без оснований. Презрение к стадности и ненависть к насилию соединены в Юрии Живаго с горячим сочувствием к народным бедам, с глубоким пониманием неизбежности революции. «Какая великолепная хирургия!» — думает он с восхищением.

Но после этого восхищения берут свое реальная жизнь, быт, которого попросту нет, как нет муки, соли, спичек, даже воды. Но не только житейский дискомфорт иссушает Живаго. Отталкивает его жестокость разгулявшейся красной партизанщины, отталкивает и жестокость белых. Отталкивает и равнодушие новой власти к культуре.

Возьмем пример совсем другого, казалось бы, рода — пример пролетарского писателя М. Горького. Вот что он пишет в очерке «В. И. Ленин»: «В 17—18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными». И дальше там же: «С коммунистами я расходился по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией...» В «Несвоевременных мыслях» Горький свидетельствовал, что империалистическая и гражданская война развязала «зверинные инстинкты», «общицали догала государство», что множество людей занимаются тем, что «грабят награбленное» (см. об этом: Л. Резников. О книге М. Горького «Несвоевременные мысли». — «Нева», 1988, № 1). Все это не могло не тревожить русского интеллигента.

Роман начинается с похорон матери десятилетнего Юры.

«Шли и шли и пели «Вечную память», и когда останавливались, казалось, что ее по заложенному продолжалось петь ноги, лошади, дуновения ветра...» Первая же фраза романа свидетельствует о неразрывном единстве природы и памяти, утверждает единство природы и культуры. Это единство пронизывает всю поэтику романа. Ветер поет «Вечную память»; облако, «летевшее навстречу, ...стало хлестать его (Юрия. — Н. И.) по рукам и лицу мокрыми плетями холодно-го ливня». Принцип лирики Пастернака — перенос восприятия и сознания с человека на природное явление — стано-

вится в романе организующим и основополагающим принципом. В ночь после похорон Юра, неожиданно проснувшись, впервые встречается с вьюгой и бурей, которая «узнает» его. «За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, созная, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание».

Образ вьюги, метели, бури, возникающий с первых страниц, проходит через весь роман. Эта вьюга — и очистительная, метельный буран революции, ноябрьский снег, падающий на газету с первыми декретами Советской власти, которую жадно читает на углу Арбата Юрий Живаго. Это и метель, в которой он, еще не знакомый с Ларой, как бы предчувствовавший судьбоносную встречу, впервые видит с улицы оттаивший от свечи кружок — в заиндевелом окне Камергерского переулка, где идет разговор между Ларой и Патулей Антиповым, будущим ее мужем. «Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подскакивало за едущими и кого-то поджидало». Именно в это мгновение Юра впервые слышит в своей душе высокие поэтические слова — «свеча горела на столе...» Это и рождественская морозная ночь, накануне которой умирающая Анна Ивановна благословляет Юру и его будущую жену Тоню. Ночь перед елкой у Свентицких и благосклонна к молодым героям, и словно предупреждает о грядущих испытаниях — Лариным выстрелом.

В эту морозную, метельную, странную и страшную ночь, ночь смерти Анны Ивановны Громеко и выстрела Лары, происходит зарождение поэта. Юра ждет, что продолжение прекрасной строки «придет само собой». Но оно «само собой» не приходит и не может прийти. Для прихода истинной поэзии потребовалась целая жизнь — именно поэтому автор знакомит читателя с двадцатью пятью стихотворениями своего лирического героя только в финале романа. Там они уже оправданы и искуплены всей его жизнью.

Но вернемся к столь настойчивому мотиву метели, вьюги, бурана, бури. Н. Н. Вильмонт в своих «Воспоминаниях и мыслях», опубликованных в № 6 «Нового мира» за 1987 год, говорит о панметафористике Пастернака. Этой своей идеей в свое время он поделился с тридцатилетним тогда поэтом. Пастернак дал несколько иное определение своего метода — «всеобщая теория поэтической относительности». Следуя этому методу, автор, на мой взгляд, непосредственно связывает бурю, которая узнала десятилетнего мальчика, с той бурей и грозой, лиловой тучей, которая никак не могла догнать трамвая, в котором ехал Юрий Андреевич перед смертью: «Над толпой перебегающих по мостовой пассажиров от Никитских ворот ползла, все выше к небу подымавшаяся, черно-лиловая туча. Надвигалась гроза». А в эпилоге романа Гордон и Дудоров (в послевоенном разговоре) называют войну «очистительной бурей». Именно в войну даже «угрозы реальной смерти», пишет автор, «были благом по сравнению с бесчеловечным владичеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы».

К выдумке и вымыслу как таковым поэт всегда испытывал отвращение:

**Ты стала настолько мне жизнью,
Что все, что не к делу, — долой,
И вымыслов пить головизну
Тошнит, как от рыбы гнилой.**

**И вот я вникаю на ощупь
В доподлинной повести тьму...
(«Кругом семяющей ватой...»)**

Противопоставление живого (природы, истории, России, любви, Лары, творчества, поэзии, самого Живаго) и мертвого (мертвой буквы, указа, насилия, несущего смерть, братоубийственной войны, мертвящего духа нового мещанства, мертвой, неодушевленно-мертвящей, убивающей железной дороги и всего комплекса мотивов, с нею связанных) является главным стержнем романа.

Позволю себе небольшое отступление.

В 1931 году Б. Пастернак выступил с публичной читкой «Спекторского» на вечере, организованном редакцией современной поэзии ГИХЛ. Решался вопрос об отдельном издании романа, отклоненного до того Ленгизом. Не будучи

в состоянии придаться к сюжету и стиху, но исполняя спущенную сверху установку отвергнуть произведение, собрание вынесло следующую оценку: «Спекторский» — поэма бесспорной, очень большой поэтической ценности. Но от изощренной вязи ее стихов веет укладом, ущербом, осенними мотивами: и не случайно довлеют в «Спекторском» образы осенней природы — капель, сырость, дождь. И этот стиль не в силах передать «воздуха» нашей эпохи» (Литературная газета 1931, № 15, 19 марта).

Однако «воздух» (сами того не предполагая, собравшиеся точно отметили связь) передается Пастернаком именно через природные образы, обнимающие собой и эпоху, и тысячелетия, да и целое мироздание. «Солнце палило недожаренные полосы, как полуобритые арестантские затылки» — разве это не образ времени, образ России перед русско-японской войной?

Мысль романа пронизана природными образами, сравнениями, уподоблениями, олицетворениями.

Река «отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа».

«Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам».

«Трехтонный выivist извол... влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность».

«Мимо в облаках горящей пыли, выбеленная солнцем, как извисть, летела Россия...»

Возникает несколько отчетливых природных «зон», выражающих собою атмосферу и суть происходящих событий. Это «дворянское гнездо», заброшенный помещицкий парк в Кологривовке («Всходило солнце, и землю в парке покрывала длинная, мокрая от росы, петлистая тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок. Одурающее благоухание утра, казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки»). Поместье в Дулянке. Дворик дома Свентицких в Москве на Сивцевом Вражке («Из сада в кабинет тянулись лиловые тени. Деревья с таким видом заглядывали в комнату, словно хотели положить на пол свои ветки в тяжелом инее, похожем на сиреневые струйки застывшего стеарина»). Когда Лара после падения возвращается домой, «погода перемогалась». Имение Крюгеров на Урале — это «пять тысяч десятилетий векового, непроходимого леса, черного, как ночь, в который в двух-трех местах вонзается, как бы пырнув его ножом своих изгибов, быстрая река».

Природа в романе — активный участник, соучастник и даже предсказатель, пророчица событий.

Судьба вещи тоже словно предвещает события. Дубовый резной шкаф по прозвищу «Аскольдова могила» (прозванным этим его надела Анна Ивановна, урожденная Крюгер), устанавливаемый дворником Маркелом, ударил Анну Ивановну. Удар спровоцировал течение тяжелой болезни. Можно видеть при чтении именно этот, первый, ближний план. Но есть у этого же бытового происшествия и план второй. Да, от последствий удара скончается Анна Ивановна. Но «Аскольдова могила» и изгнание ждут ее потомком. А дворник Маркел, упустивший шкаф, и станет тем хамом-управдомом, который, заняв крюгеровскую квартиру, безразлично и нагло будет называть Юрия Андреевича Живаго в 20-е годы «воронкой», «раззявой», «курицыным отродьем»...

Отец Юрия, разорившийся и сивший уральский миллионер Живаго, кончает свою жизнь, бросаясь с поезда: «Распахнувши дверцу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют». С этим самоубийством в роман впервые входит симфоническая тема (или лейтмотив) железной дороги (композиция романа выстроена по музыкальным принципам). Эта тема состоит из множества разветвляющихся «подтем», отдельных линий или мотивов.

Итак, смерть отца Живаго на железной дороге (неподалеку от Кологривовки, где находится в этот момент Юра с дядей, Николаем Николаевичем Веденягиным, расстригой и философом). Труп самоубийцы обступают женщины, во главе которых — Тиверзина, вдова машиниста, сгоревшего при крушении поезда. Она же — мать Куприяна Тиверзина, большевика, одного из руководителей стачки в 1905 году. В Москве Тиверзины живут неподалеку от Брестской железной дороги, в доме с галереями, где живет и Патуля Антипов, будущий муж Ларисы и будущий Стрельников, военспец во время гражданской войны, Стрельников-Расстрельников, как называют его в народе. В этом же дворе служит дворником Гимазетдин Галиулин, который во время первой миро-

вой погибнет на глазах так и не узнавшей его Лары. Он отец Юсупки, которого спас от побоев Антипова-старшего Тиверзин. Юсупка станет белым генералом, воюющим против Стрельникова (Антипова). Так история разведет бывших соседей.

К Стрельникову в бронированный вагон, за решением судьбы, отправят в 1919 году Юрия Живаго. И в этом поезде состоится один из важнейших для понимания романа диалогов — между Живаго и Стрельниковым.

В многосоставном поезде поедет на Урал, в Юртин, семья Юрия Живаго. В этом же поезде будут ехать и трудомобилизованные, а среди них — и идеологи освободительного революционного движения, как кооператор Костоед-Амурский, и случайно попавший в колесо Истории белоголовый мальчик Вася, с которым еще раз столкнет судьба Юрия Живаго — уже тогда, когда он, голодая, будет пробираться через всю Россию в Москву.

Около железной дороги будет расположена и та будка, в которой живет Марфа, бывшая прислуга Лары, Марфа, на попечение которой будет оставлена Ларой дочь Юрия и Лары, Татьяна, с которой встретятся на военных дорогах в 1943 году Дудоров и Гордон. В этой будке и произойдет одна из трагедий, о которой косноязычно расскажет Ларина Таня. В спальном вагоне по железной дороге уедет с Комаровским Лара на Дальний Восток. В бочке около вокзала, неподалеку от железной дороги, солдаты жестоко убьют молоденького, рисующегося, не понимающего ситуации дворянина, подавшегося в революцию.

И, наконец, именно на трамвайной остановке, у железных рельсов, найдет свою смерть главный герой романа.

Нависшая над Москвой лилово-черная туча, чей ход совершенно неожиданно пересекает старая «дама в лиловом», швейцарская подданная мадемуазель Флери из Мелюзеева (именно там, в Мелюзееве, произошло духовное сближение Лары и Юрия), наконец получившая разрешение вернуться на родину, а также движение трамвая по рельсам по Никитской вниз к Кудринке — создают тройное движение с разными скоростями и по разным направлениям. В точке пересечения трех линий умирает Юрий Живаго. Именно в финале романа еще раз и окончательно пересекаются те ведущие мотивы, которые были заложены в самом начале: буря (гроза) и железная дорога (городская модель — трамвай).

Юрий Андреевич Живаго умирает в конце августа 1929 года. В трамвае ему делается плохо — нечем дышать.

Итак, 1929 год. С чем он был связан в сознании Пастернака?

Был отменен нэл, принят первый пятилетний план. Был объявлен год «великого перелома». Перелом был открытым — начало сплошной коллективизации.

В первом своем номере «Литературная газета» (понедельник, 22 апреля 1929 года) в передовой высокомерно писала: «Крестьянские массы... естественно не могут сразу пробудиться к сознанию и стать активными и решительными участниками социалистического строительства нашей страны». Вот их и начали пробуждать — «методами», о которых повествуют Б. Можжев («Мужики и бабы»), В. Белов («Кануны»), С. Антонов («Овраги»).

В передовой второго номера объявлялся призыв «к беспощадным классовым боям».

В передовой номера третьего утверждалось: «Темп переживаемой нами эпохи чрезвычайно лихорадочный».

Лихорадочность действительно нарастала, и прежде всего в поисках «врагов» и «агентов». В том числе — в литературной среде.

В августе 1929 года «Литературная газета» печатает статью Б. Волина «Недопустимые явления», направленную против Б. Пильняка и Е. Замятина, руководителей московского и ленинградского отделений Всероссийского союза писателей. Это был сигнал начала политической кампании. В следующем номере уже вся первая полоса газеты выходит под крикливой шапкой: «Против буржуазных трибунов под маской советского писателя. Против переключки с белой эмиграцией». Откровенный, злобный погром Б. Пильняка, чья повесть «Красное дерево» была напечатана в берлинском издательстве «Петрополис» (там же, кстати, где печатались А. Толстой, В. Каверин, К. Федин, Ю. Тынянов, М. Шолохов, о чем Б. Пильняк осторожно и растерянно пишет), печально переключается в моем сознании с травлей Б. Пастернака в 1958-м. Редакция утверждала в 1929 году о Пильняке следующее: «Дискредитирует советскую литературу и наносит ей непосредственный вред». Собратья-писатели всех группировок спешили со своим оговором: «Творчество

автора, проданное за границу, направлено своим острием против Советского Союза... Ведь это же вредительство квалифицированное!», «Классовый враг чует в Пильняке своего агента»; «Попытка классовых врагов создать свою агентуру в среде советского писательства». Именно тогда возникла логика: я романа не читал, но осуждаю. К глубочайшему моему сожалению, ее продемонстрировал даже В. Маяковский, выступивший от РЕФа. Он пренебрежительно писал: «Повесть о «Красном дереве» Бориса Пильняка (так, что ли?) впрочем, и другие повести и его, и многих других не читал», однако «в сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтальной измене».

В дальнейших номерах газеты шабаш разворачивался по известной — и живучей, как показало «дело» Пастернака, — схеме: «Писательская общественность, — рапортовала газета, — единодушно осудила антисоветский поступок Б. Пильняка»; «Не только ошибка, но и преступление»; «Клевета на Советский Союз и его строительство»...

Пильняк был другом Пастернака, который считал его крупнейшим русским прозаиком своего времени. На экстренном собрании московского отделения Всероссийского СП Пастернак попытался защитить Пильняка. В 1931 году он посвящает Пильняку один из своих поэтических шедевров, раскрывающих его отношение к проблеме «интеллигенция и государство»:

**Иль я не знаю, что в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?**

**И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой кости косней?**

**Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.**

Кампания против Пильняка была первой развернутой политической акцией такого рода. В нее вмешался Горький, попытавшийся защитить достоинство писателя: «И вот эти обывательские, мещанские, волчий травли человека весьма надоедливо напоминают каждый раз, когда видишь, как охотно и сладострастно все бросятся на одного» («Известия», 15 сентября 1929 года).

Такова атмосфера, в которой погибает Живаго.

В своей последней, «пушкинской» речи, произнесенной в 1921 году, Александр Блок сказал, что Пушкина «убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирали его культура». И дальше, уже о себе: «Покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл». Эти слова были исповедью поэта и пророчеством о своем близком конце. Что такое — отсутствие воздуха? Пастернак реализует метафору. «Доктор почувствовал приступ обесиливающей дурноты. Преодолевая слабость, он поднялся со скамьи и рывками вверх и вниз за ремни оконницы стал пробовать открыть окно вагона. Оно не поддавалось его усилиям.

...Его не пропускали, на него огрызались. Ему показалось, что приток воздуха освежил его, что, может быть, еще не все потеряно, что ему стало лучше.

Он стал протискиваться через толпу на задней площадке, вызывая новую ругань, пинки и озлобление. Не обращая внимания на окрики, он прорвался сквозь толчею, ступил со ступеньки стоящего трамвая на мостовую, сделал шаг, другой, третий, рухнул на камни и больше не встал».

Железная дорога, как глубокая рана, пересекает пространство романа. В этом метаобразе сконцентрировано авторское ощущение неумолимой поступи времени, пренебрегающего человеком.

Вечно живая и возрождающаяся природа олицетворяет в романе Россию и всю историю человечества. Природу и историю в художественной и философской концепции Пастернака объединяет бессмертие.

Пастернак, как правило, начинает главы романа с простейшей констатации: «Был солнечный день. Стояла тихая сухая, как всю предшествовавшую неделю, погода». Или: «Осень уже резко обозначила в лесу границу хвойного и ли-

ственного мира». Или: «В лесу было еще много непожелтевшей зелени». Но, постепенно разворачиваясь, почти банальное природное описание углубляется, и через человека-творца, alter-ego автора, каким и является в романе лирический герой, Юрий Андреевич Живаго, переходит и в живое непосредственное мироощущение, и в философию. Природный образ, воссоединяясь с человеком, разворачивается и как предтеча творчества, и как опора личности, и как столп мироздания.

«Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо, и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу. Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и все видимое преобразиться... «Лара!» — закрыв глаза, полупшепотом или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко всей Божьей земле, ко всему растительному перед ним, солнцем озаренному пространству».

**Природа, мир, тайник Вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятий дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою,—**

писал Пастернак в стихотворении 1956 года. Концепция природы-Храма и лесника-Бога утверждается и в романе. При этом в метаобраз природы-Храма, Храма-леса на равных правах входит и город. «Высший мир обступал Юру со всех сторон, осязательный, непроходимый и бесспорный, как лес, и оттого-то был Юра так потрясен маминей смертью, что он с ней заблудился в этом лесу... Этот лес составляли все вещи на свете — облака, городские вывески... Тогда Юра верил в Бога этого леса, как в лесничего».

Так как история, утверждает в романе, — это вторая Вселенная, тоже побеждающая смерть, как и природа, то единство их несомненно. Но Пастернак настойчиво ставит природу (в этом единстве) на первое место. Так, сначала будет сказано, что «третий день стояла мерзкая погода», и лишь только после — «это была вторая осень войны».

Даже «мерзкая» погода не может остановить духовного погружения в красоту природы. Звезды сияют, невзирая на грязь: «Звездное небо, как пламя горящего спирта, озарило голубым движущимся отсветом черную землю с комками замерзшей грязи».

И в тот момент, когда сын железнодорожного рабочего Павел Антипов (Стрельников-Расстрельников) не знает, как ему жить дальше, путь ему вдруг озаряют отнюдь не звезды, у которых он только что спрашивал ответа. «Неожиданно их

мерцание затмилось, и двор с домом, лодкою и сидящим на ней Антиповым озарился резким, мечущимся светом, словно кто-то бежал с поля к воротам, размахивая зажженным факелом».

Итак, роман пронизывает и организует скрещение и противоборство двух мотивов. В конце сюжета, казалось бы, торжествует смерть. Однако идея бессмертия природоистории все-таки побеждает. И в тексте тоже. Недаром роман завершают строки о воскресении, возрождении к истинной жизни:

**Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты.**

Так — не на третий день, а через три десятилетия — вернулся к нам «Доктор Живаго». И теперь именно он, роман, как судья истинный, судит — самим фактом своего опубликования — судей мнимых, ложных, присвоивших себе право суда. Тех, кто предрекал ему гибель, грозил автору гражданским уничтожением, пытался его уничтожить.

Пожалуй, самые задушевные страницы романа связаны с периодом Великой Отечественной. «Удивительное дело, — говорит Дудоров Гордону, встретившись с ним летом 1943 года, после прорыва на Курской дуге и освобождения Орла; Гордону, прошедшему ГУЛАГ и штрафбат, — не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, война явилась очистительной бурей... Люди... вздохнули свободнее, всю грудью».

Практически одновременно с трудом Пастернака над «Доктором Живаго» работал над романом «Жизнь и судьба» Василий Гроссман. В первые месяцы этого года «Октябрь» познакомил нас с этим романом, чей путь к читателю тоже был извилист. Действие «Жизни и судьбы» происходит во время войны. Нет, пожалуй, слоя общества, о котором бы не шла речь в романе Гроссмана. И герои его — те, кто победил фашистскую машину, — замечательно разнообразны.

Помните, как сказано о Победе у Пастернака? «Победило разнообразье...»

И как перекликается с ним Гроссман: «Человеческие объединения, их смысл определены лишь одной главной целью — завоевать людям право быть разными, особыми, по-своему, по-отдельному чувствовать, думать, жить на свете... В человеке, в его скромной особенности, в его праве на эту особенность — единственный, истинный и вечный смысл борьбы за жизнь».

Разговор об этом праве и о романе В. Гроссмана я продолжу в следующей статье.

Реплика И НИКАКИХ АЛЛЮЗИЙ!

Феликс Кузнецов в своем докладе «Максим Горький и современность» справедливо подчеркнул, что во всем мире ширится круг друзей великого писателя. Но одновременно заметил, что есть «противники, пытающиеся представить и сегодня Горького чуть ли не сервилитом и конформистом, прислужником властей». Кого бы вы думали он причислил к противникам Горького? А журнал «Юность». Вот этот текст («Советская культура», 31 марта с. г.):

«Откройте июльский номер журнала «Юность» за прошлый год, где в сатирической повести-сказке Фазиля Искандера «Кролики и удавы» нарисована некая страна, населенная раболопными кроликами и кровожадными удавами, над которыми властвует великий питон. «Есть у них и свой поэт, — иронизирует журнал, — который любил воспевать буревестника, и все ждал, когда грянет буря, но состарился в ожидании и стал кропателям придворных од». Как понимать миллионам юных читателей эту ядовитую историческую аллюзию?»

Что ж, раскрасим июльский номер... Там нет ничего подобного. Ни «Кроликов и удавов», ни «аллюзий». Надо полагать, Феликс Кузнецов имел в виду не июльский номер, а сентябрьский. Ну, перепутал малость, с кем не бывает? Но и в девятом номере у самого Искандера вы напрасно будете искать те строки, которые в кавычках приводит Ф. Кузнецов. Их нет! Это уже не «малость перепутал», а нечто совсем другое... Более того, Ф. Кузнецов, приписав Искандеру эти заковыченные строки, называет его почему-то «журналом»: дескать, «иронизирует журнал» и т. д. Опять напутал? Решил, что автор и журнал — одно и то же? Интересное научное открытие! Но вернемся к псевдоискандеровской фразе и обратим внимание, что, согласно ей, поэт не дождался бури. Так при чем тут Горький? Он-то дождался! Ведь, не дождавшись бури (то есть революции), «кропать

придворные оды» можно, лишь воспевая царскую семью! Еще раз воскликнем: при чем тут Горький?! За вышеприведенную фразу и за ее интерпретацию целиком отвечает ее составитель и докладчик. Лучше бы ему в февральском номере «Юности» за этот год прочитать статью об А. М. Горьком сотрудницы института, который возглавляет сам Ф. Кузнецов. Прочитать и убедиться, что «Юность» явно среди друзей Горького. Журнал (раз уж вместо «автора» надо писать «журнал»), например, отмечает, «сколько велика к нему народная любовь...». Позволим себе повторить специально для Ф. Кузнецова: да, к А. М. Горькому велика народная любовь. На том стоим!

Тут можно было бы поставить точку, но справедливости ради заметим, что «Поэт», «буревестник», «буря» действительно в «Кроликах и удавах» встречаются неоднократно. Но призыв к буре — это целая традиция русской поэзии. Почему не вспомнить Лермонтова — «а он, мятежный, просит бури», или Языкова — «будет буря: мы поспорим и помужествуем с ней»? Почему бы на этом основании не обвинить журнал «Юность» в том, что он противник и этих поэтов?

Не проще ли согласиться, что писатель вправе создать сатирический образ не только Короля, Питона, Кролика, но и некоего Поэта (конечно, собирательного, вымышленного!), согласиться, что Ф. Искандер написал действительно сатирическую повесть-сказку, а не грубое иносказание, переходящее на личности? Предположить, что и «Юность» и Ф. Кузнецов — друзья Горького, но при этом Ф. Кузнецов почему-то противник «Юности»?... И никаких аллюзий.

Отдел критики

* Мы уж подумали, что Ф. Кузнецов допускает путаницу, лишь когда речь идет о «Юности», но вот цикл статей Горького «Несвоевременные мысли», по Ф. Кузнецову, публиковались не в газете «Новая жизнь», а в... суворинском черносотенном «Новом времени» или (в другом месте доклада) в какой-то «Новой мысли»! Прилично ли это для директора ИМЛИ имени А. М. Горького?

Бенедикт САРНОВ

НЕ СТРЕЛЬБИЩЕ, НО И НЕ КЛАДБИЩЕ!



Рисунок И. Оффенгендена

Так много интересного чтения сейчас, что за всем не уследишь. Только и слышно вокруг: «А это читали?», «А такого-то?.. Как же это вы... Непременно прочтите».

Пожалуй, впервые в жизни я с одинаковой жадностью глотаю статьи литераторов и экономистов, историков и физиков, юристов и педагогов.

Но статья А. Проханова «Культура — храм, а не стрельбище»¹ задела меня особенно. Немудрено: у кого что болит...

Основная мысль этой статьи состоит в том, что гласность в один миг разрушила «прочный, монолитный столп возводимых десятилетиями представлений, поддерживавший наш «идеологическое небо», нашу культурную доктрину». Столп рухнул, культура наша раскололась на два непримиримых, враждующих стана — «Башню Татлина» (так автор метафорически обозначил авангардизм, конструктивизм и прочие модернистские устремления) и «Сухаревскую» (эта метафора символизирует тягу к древнерусской, «допетровской» истовости).

Раскол этот, по убеждению автора статьи, грозит нашей культуре неисчислимыми бедами. Единственный выход — предпринять, как он пишет, историческое усилие «национального примирения», чтобы восстановить рухнувший столп.

Многое тут представляется сомнительным. Ну, хотя бы этот образ двух башен — «Башни Татлина» и «Сухаревской». При всей своей эффектности он не отражает реальной картины множества враждующих станов, на которые распалась наша, недавно еще казавшаяся монолитной культура.

С таким же (если не с большим) основанием можно было бы разделить эту «распавшуюся» культуру на множество других «башен». Скажем, на Эйфелеву («западники»), Останкинскую (поклонники «массовой», телевизионной культуры), силосную («деревенщики»)... Да мало ли еще башен на свете. Каждую из них при желании можно превратить в метафору. И за каждой из этих метафор будет стоять какая-то своя реальность.

Но не будем придираться. В конце концов метафора — это не более чем метафора.

Куда более уязвимым представляется мне утверждение А. Проханова, будто культура наша раскололась только сейчас, в связи с наступлением гласности. Но, может быть, А. Проханов вовсе даже и не предполагает, что раньше она представляла собой монолит, без единой трещинки? Может быть, он исходит из того, что она только казалась монолитом?

Нет, не похоже.

«На одной полке стоят сегодня, — говорит он, — Булгаков и Вишневский, Ахматова и Маяковский, Гумилев и Асесв. И только темные души, «мелкие бесы» хотят стравить между собой эти книги, превратить библиотски в поле междоусобия, а культуру — в стрельбище».

Понимать это следует так: да, были между Булгаковым и Вишневским в свое время какие-то мелкие разногласия. Но сейчас их книги стоят рядом, на одной полке, образуя прочное художественное и идейное единство — тот самый монолит. И только темные души, «мелкие бесы», спекулируя на тех, давних разногласиях, пытаются сделать вид, что никакого монолита не было, да и быть не может.

В действительности, однако, дело обстоит не совсем так. А если быть откровенным до конца, — совсем не так.

2.

Пятьдесят лет тому назад Михаил Зощенко написал юмористический рассказ «В Пушкинские дни». В этом рассказе какой-то мелкий совслужащий, может быть, даже управдом, произносит «Речь о Пушкине». Сокрушаясь о тех многочисленных бедах и тяготах, которые выпали на долю великого поэта, он с уверенностью утверждает, что, если бы Пушкин жил в наше время, судьба его, конечно, сложилась бы совершенно иначе.

— Мы бы, — говорит он, — его на руках носили и устроили бы поэту сказочную жизнь, если бы, конечно, знали, что из него получится Пушкин.

¹ «Литературная Россия», 22 января 1988 г.

Рассказ Зощенко был написан в 1937 году, когда по всей стране широко отмечалось столетие со дня смерти Пушкина. А в это же время жили и в полном расцвете своих сил и дарований находились такие поэты, как Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Борис Пастернак. Сейчас весь мир чтит их имена. Библиофилы охотятся за их книгами, как за редчайшей ценностью. Историки литературы единодушно признают их творения едва ли не самым значительным явлением русской поэзии XX века. Но тогда, в 1937 году, никто не спешил «носить этих поэтов на руках». Все было как раз наоборот.

Однако этими особыми историческими обстоятельствами суть дела не исчерпывается.

«Дело пророков — пророчествовать, дело народов — побивать их камнями. Пока пророк живет (и, конечно, не может ужиться) среди своего народа —

Когда же он, наконец, побит, его имя, и слово, и славу поколение избивателей завещает новому поколению, с новыми, покаянными словами: «Смотрите, дети, как он велик! Увы нам, мы побиили его камнями!» И дети отвечают: «Да, он был велик воистину, и мы удивляемся вашей слепоте и вашей жестокости. Уж мы-то его не побиили бы». — А сами меж тем побивают идущих следом. Так совершается и пишется история литературы».

Может быть, печальный закон, сформулированный Ходасевичем, относится лишь к прошлому?

Судьба каждого из перечисленных в этом списке сложилась точно «по Ходасевичу».

— А то бывает, что современники надеются на своих и устраивают им приличную жизнь, дают автомобили и квартиры, а потом оказывается, что это не то и не то...

Нет, дело тут не в тупости людской, не в странной, необъяснимой их слепоте и глухоте. Причина этого загадочного явления коренится в самой природе художественного творчества.

Самое трудное в призвании, в назначении поэта, художника состоит не в том, чтобы сказать правду (хотя и это бывает порой нелегко и даже может стоить ему жизни). Самое трудное — в том, чтобы эту самую правду увидеть, открыть.

Вот тут-то и проходит трещина, из-за которой та культура, о которой говорит А. Проханов, раскололась. Вернее, не раскололась, а всегда была расколота. Никогда не была, да и не могла быть монолитом.

— Но ведь все это,— скажут мне,— относится лишь к прошлому. К обществу, расколотому на разные, antagonистические классы. Именно в таком обществе культура разорвана, расколота на две культуры. А в нашем социалистическом обществе, где никаких antagonистических классов нет, в обществе, где царит морально-политическое единство всего народа,— откуда у нас может возникнуть хотя бы подобие такого раскола?

Вот небольшой отрывок из разговора (не настоящего, вымышленного, конечно), который вел в Париже Маяковский с великим французским поэтом Верленом и великим французским художником Сезанном:

Ошибся Маяковский только в одном: в предположении, что те художники, что «к смирению падки», не станут рисовать его портрет. Стоило только Сталину произнести свою магическую фразу: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей, советской эпохи» — как его лицо тотчас же было признано ничуть не менее (а даже, может быть, и более) достойной натурой, чем лица тех, «кто покекистой».

«Большушее имя AXPP», которое присвоили себе падкие

на смирение художники, описанные Маяковским, в переводе на общепонятный язык звучит так: «Ассоциация художников революционной России». Была и другая аббревиатура — с одним «Р». Она переводилась так: «Ассоциация художников революции».

О том, чего стоила на деле эта их так называемая «революционность», Маяковский сказал достаточно красноречиво.

Добавить к этому можно лишь одно: все, что он говорил о художниках, рисующих тех, «кто поцекистей», в равной мере относится и к тем, кто избирал себе в качестве моделей шахтеров с отбойными молотками, улыбающихся колхозниц на фоне колоссящихся хлебов, славных наших воинов, летчиков или даже космонавтов.

— Позвольте! — слышу я тут возмущенные голоса. — Да разве можно ставить знак равенства между подхалимами, которые «чесали пятки», как издевательски говорил Маяковский, ответственным работникам, и теми художниками, которые воспевали простых тружеников — рабочих, крестьян. Ведь они старались служить своим искусством народу?

На этот вопрос исчерпывающе ответил в свое время замечательный русский писатель Евгений Замiatин. Давно, еще в 1920 году, он написал и напечатал статью, во многом оказавшуюся пророческой. Она называлась «Я боюсь».

«Я боюсь», — писал Замiatин в этой своей статье, — что мы слишком добродушны и что французская революция в разрушении всего придворного была беспощадней. В 1794 году 11 мессидора Пэйян, председатель комиссии по Народному просвещению, издал декрет — и вот что, между прочим, говорилось в этом декрете:

«Есть множество юрких авторов, постоянно следящих за злобой дня; они знают моду и окраску данного сезона; знают, когда надо надеть красный колпак и когда скинуть... В итоге они лишь развращают вкус и принижают искусство...»

Этим презрительным декретом, — продолжал Замiatин, — французская революция гильотинировала переряженных придворных поэтов. А мы — «юрких авторов, знающих, когда надеть красный колпак и когда его скинуть», когда петь сретение царя и когда молот и серп — мы их преподносим народу как литературу, достойную революции...

...Настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически-правоверным, должен быть сегодня полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатолий Франс, — тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло...

Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь, я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое.

Сперва Замiatин говорит то же, что Маяковский. Слово в слово. Но мысль его затем делает новый виток, и вот речь идет уже не только о лизоблюдах и подхалимах, не только о конъюнктурщиках, равно готовых петь и «сретение царя, и серп и молот». С таким же убийственным презрением Замiatин клеймит и тех, кто искренно пытается служить своим искусством новой, революционной России, но готов сделать это лишь в «границах дозволенного», больше всего на свете опасаясь, не дай бог, нарушить эту границу. И сразу, таким образом, из свободного, честно служащего своему делу художника превращаясь в «исполнительного и благонадежного чиновника».

Замiatин написал эту статью, когда болезнь была только в зародыше. Поэтому он еще сохранял известное спокойствие. Он только предупреждал.

Но позже, когда болезнь была уже в самом разгаре, удержаться в границах такого спокойствия было трудно. И Осип Мандельштам, заговоривший на ту же тему, был уже далеко не так спокоен. Он не просто негодовал. Он чуть ли не бился в конвульсиях:

«Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это

мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове...

Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей — ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать — в то время как отцы запреданы рябому черту на три поколения вперед».

Такая иступленность может показаться чрезмерной, отчасти даже ненормальной. Точно так же могут показаться чрезмерными и даже болезненными тот максимализм, та упрямая, яростная бескомпромиссность, которые были свойственны Андрею Платонову, Михаилу Булгакову, Василию Гроссману. Ведь это такое счастье — увидеть свою книгу напечатанной! Знать наверняка, что она дошла до тех, для кого была написана. Неужели ради этого не стоило чем-то поступиться? Что-то вычеркнуть, что-то изменить, подправить?

Но «Мастер и Маргарита» и «Театральный роман» были напечатаны, как мы знаем, только через тридцать лет после смерти Булгакова. Только сейчас приходят к читателю «Котлован» и «Чевенгур» Платонова. Ни Булгаков, ни Платонов не делали никаких попыток подладиться к тому, что считалось в их время дозволенным ж.

Отдавая в «Знамя» свой роман «Жизнь и судьба», Василий Гроссман, быть может, и не думал, что рукопись романа будет арестована. (Хотя как знать!) Но уж что точно, так это то, что он никак не рассчитывал тогда на публикацию этой своей книги. Зачем же он потратил столько лет жизни, почти наверняка зная, что вряд ли доживет до того, чтобы увидеть ее напечатанной? Наконец, если уж он написал, как говорили тогда, «непроходимую» книгу, ведь мог же он попытаться сделать ее хоть чуть более «проходимой», а не перестать так бессмысленно на рожон.

Почему же ни один из названных мною писателей даже не попытался пойти на разумный и, казалось бы, оправданный компромисс?

В опубликованных недавно записках о своей встрече с маршалом Жуковым писательница Елена Ржевская приводит такой примечательный эпизод:

— Вы читали Еременко? — спросил у нее Жуков.

Речь шла о воспоминаниях маршала Еременко, в которых тот писал, что в разработке Сталинградской операции, в руководстве боевыми действиями участвовали только Хрущев и он.

— Это неправда! — возмущался Жуков. — Я его спросил: «Как же ты такое написал?» А он: «Меня Хрущев попросил. А мне, кто бы ни сказал, я бы не написал неправду.

Приведа этот разговор, Е. Ржевская далее пишет:

«В это верилось».

Он был полон решимости стоять на своем. Сказано это им было 2 ноября 1965 года, когда он уже заканчивал мемуары, а подписаны они к печати лишь 24.XII.1968 г. Между этими двумя датами Жуков намытарился с книгой. И, больной, мучимый страстным желанием увидеть при жизни свою книгу опубликованной, уступил настояниям, советам, замечаниям. Что-то ушло из книги, что-то переакцентировалось, что-то добавлялось...

Он не соразмерил барьер выносливости с такой катастрофой, как неразрешение на выход книги.

Вот и подумаете о писателях: природа сотворяла их не из такого крепкого материала, и по роду дарования они и хрупки, и чувствительны, и лабильны, а нередко выстаивают. Может, стойкость входит в состав этой профессии?

Да, тут есть над чем задуматься.

Вот, скажем, О. Мандельштам. Неужели этому нервному, слабому человеку была свойственна какая-то особая стойкость, какое-то неслыханное мужество?

Да ничего похожего!

Современники рассказывают о нем как об изнеженном сладкоже, обожавшем пирожные. Да и сам он сказал о себе:

**Хотел всю жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом...**

Эренбург в своих мемуарах припоминает такой случай. В 1919 году, когда Крым был занят белыми, Мандельштам оказался в тюрьме. Запертый в одиночке, он в ужасе стал колотить кулаками в дверь. Появился надзиратель, спросил: в чем дело?

— Вы должны меня выпустить, — объяснил ему свое странное поведение Мандельштам. — Я не создан для тюрьмы...

И вот этот «не созданный для тюрьмы», мечтающий всю жизнь «просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом», издерганный, постоянно мучимый тревожными предчувствиями и страхами человек написал стихотворение, проклинающее Сталина. Мало того! Это стихотворение, которое, получив хоть малейшую огласку, наверняка (он не мог не знать этого) должно было стоить ему жизни, он не удержался, прочел по меньшей мере десятерым знакомым, не слишком задумываясь о степени надежности каждого из них.

Мужество? Нет, тут что-то другое.

Положительно в основе этого странного поступка (как и многих других подобных поступков, свойственных «слабым интеллигентам») лежит какая-то тайна.

4.

В первые послереволюционные годы сложилось и долго еще бытовало убеждение, что творцы культуры (писатели, поэты, художники, артисты, вообще интеллигенты) — люди второго сорта. Театр, кино, литература — все это рассматривалось как своего рода сфера обслуживания. (Самой собой духовного обслуживания.) Роль художников, писателей, артистов, таким образом, сводилась к тому, чтобы удовлетворять потребности тех, кто составляет, так сказать, цвет нации.

Попытка интеллигента (художника, писателя, артиста) робко утвердить свое равенство с производителями материальных благ — рабочими и крестьянами — воспринималась тогда примерно так же, как начальником «Геркулеса» (см. роман И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок») было воспринято «наглое бесчинство бухгалтера Кукушкинда, потребовавшего уплаты ему сверхурочных».

Казалось бы, сегодня такой взгляд может вызвать только улыбку. Но он, оказывается, распространен и поныне.

Вот Татьяне Глушковой попало в глаза стихотворение Давида Самойлова, обращенное к хлеборобам:

**Без вашего хлеба я отождою. Ну а вы-то
Разве будете сыты хлебом да щами
Без моего звонкого жита?..**

Т. Глушкова раздражается по этому поводу таким ироническим пассажем:

«Он трактует об общественной гармонии, своего рода «общественном договоре», выдвигая такой, как будто бы справедливо-логический принцип: «Вы меня хлебом пшеничным, я вас зерном слова — Мы друг друга кормим (!)...»

Против слов «мы друг друга кормим» не зря у Глушковой стоит восклицательный знак.

Мысль о том, что поэт так же нужен хлеборобу, как хлебороб поэту, Т. Глушковой представляется прямо-таки кощунственной.

Она исходит из стойкого убеждения, что поэт хлеборобу не ровня, поскольку хлебороб кормит поэта хлебом насущным, без которого поэту не прожить, а без того «звонкого жита», которым тицеславится поэт, хлеборобу прожить очень даже можно.

Т. Глушкова, в сущности, повторяет мысль, высказанную некогда В. Кочетовым в его печально знаменитом романе «Чего же ты хочешь».

Знаменитую формулу, согласно которой поэт (художник) должен служить своим творчеством народу, Кочетов понимал вполне буквально. Служить — это значит не умничать, а делать, что велено.

«— Вот видите, служить! — сказала Липочка. — Мы, оказывается, должны только служить. Где же тогда равноправие?»

— Да, служить, служить! — сказал Булатов. — Не мы с вами выращиваем хлеб. А они, труженики. Выращивайте его сами, и никому служить не будете... Можешь — выращивай хлеб, к другому тянет — не забывай, чей хлеб ешь...»

Писатель Булатов, изображенный В. Кочетовым, искренне убежден, что литературный труд — это не труд даже, а так, баловство. О тех, кто не хочет (или не может) выращивать хлеб, он говорит пренебрежительно: «К другому тянет...» Совершенно очевидно, что тяга к писательскому (вообще к интеллигентному) труду рассматривается здесь как постыдное желание увильнуть от настоящей работы и заняться, как нынче говорят, приобретением нетрудовых доходов, или, еще того хуже, тем, что на современном молодежном жаргоне называется ловлей кайфа.

У Кочетова все это выражено с присущей этому писателю грубой солдатской прямоотой. У Глушковой — в более изысканной форме, но тоже достаточно прямо. Иногда ту же мысль выражают более деликатно. Но суть мысли при этом не меняется: назначение поэта, художника состоит в том, чтобы служить своим творчеством нуждам и потребностям населения. Между тем истинное предназначение поэта, художника состоит в том, чтобы никому не служить.

— Как?! Даже народу? — слышу я испуганные голоса. — Вы что же, значит, выступаете против народности искусства?

Ни в коем случае.

Просто я хочу сказать, что поэт только тогда окажется нужен народу, только тогда и не зарастет к нему народная тропа, если он не будет служить никому и ничему, кроме своего дара.

«Писатель. — говорил по этому поводу Маркс. — отнюдь не смотрит на свою работу как на средство. Она — самоцель; она в такой мере не является средством ни для него, ни для других, что писатель приносит в жертву ее существованию, когда это нужно, свое личное существование».

Вот где в конечном счете пролегает та трещина (даже не трещина — пропасть), которая раскалывает надвое так называемый «монолит» нашей (да и не только нашей) культуры.

Не на «сухареццев» и «татлинцев» раскололись наши писатели, не на западников и славянофилов, не на горожан и деревенщиков, а на тех, кто видит в своей работе средство, и тех, для кого она — цель, единственный смысл их существования.

Те, кто видит в своей работе средство, тоже не представляют собой «монолит». Одни действуют «в свете последних указаний»: воспевают то, что в данный момент полагается воспевать, и разоблачают то, что приказано разоблачать. Другие тешат себя иллюзией, что служат более высоким целям. (Целям возрождения национального самосознания, например.) Но и для них тоже их труд не цель, не самоцель, как говорил Маркс, а средство. Всего лишь средство.

Культура, конечно, не стрельбище. Но и не храм, где все молятся одному богу. Противоречия и даже борьба для всякой живой культуры — дело нормальное. (Полное единодушие, как любил говорить Сталин, бывает только на кладбище.)

А. Проханов мечтает о «национальном примирении», которое видится ему так: «Нужен Собор, в духе земских, где были бы созданы все языцы, все сословия, от крупнейших политиков до малых сирот-детей, в военном мундире и рясе, с резцом и скальпелем... Культура и есть этот Земский Собор. Должна быть Собором».

Не знаю, как насчет «крупнейших политиков» и «малых сирот-детей», — как там они будут между собой договариваться, мне трудно себе представить. Но допускаю, что договорятся. Допускаю даже, что найдут способ договориться те, кто «в военном мундире», и те, кто «в рясе». Но люди, выдающие в своей работе средство для удовлетворения чьих-то потребностей (все равно — своих или чужих), никогда не договорятся с теми, кто видит в ней цель, существованию которой они готовы принести в жертву, если это нужно, свое существование. Тут никакое «национальное примирение» невозможно, потому что в этом случае надо говорить не о расколе внутри культуры, а о расколе на культуру и — псевдокультуру.

Такой раскол, конечно, тоже не сулит нам ничего хорошего. В особенности если псевдокультура и численно, и влиянием на души людей превосходит культуру истинную. Но это беда «еще не так большой руки».

О главной беде, грозящей Отечеству из-за неблагополучия в делах культуры, лучше всех сказал Пушкин:

**Беда стране, где раб и лстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.**



**ЭМИЛЬ
КОТЛЯРСКИЙ
«ЕСЛИ
СУДЬБА
МНЕ
ПОЗВОЛИТ...»**

Вскоре к неистовой овации публики присоединились аплодисменты исполнителей — оркестра, дирижера Геннадия Рождественского, виолончелистки Наталии Гутман. Их взоры были устремлены куда-то в партер. В зале поднялся человек и направился к ступенькам, ведущим на сцену. Эти немногие метры давались ему с явным трудом. Некоторое время назад он перенес инсульт. Конечно, со всяким может случиться — у каждого из нас достаточно для того индивидуальных и общих обстоятельств и событий, часто имеющих свои имена, как у тайфунов. И этот осторожно, словно на ощупь, пробирающийся среди оркестрантов человек мог бы назвать СВОИ имена. Однако к людям, их носящим, у многих композиторов такой страшный, неоплатный долг, что простое перечисление этих имен было бы лишь низведением шекспировской трагедии до газетного фельетона.

Кто же он, человек, столь тяжело взошедший на пьедестал всемирно знаменитой сцены Большого зала Московской консерватории?

Альфред Шнитке. Крупнейший композитор современности.

Почему же он так плохо известен нам, его соотечественникам? Потому ли, что его музыка — по утверждению иных его коллег, занимающих крупные должности, — в отличие от их музыки, «непонятна народу»?

А может, дело совсем в другом? В интеллигентности самого Шнитке, в отсутствии, так сказать, пробивных способностей? И, следовательно, он сам виноват в своей безвестности? А вы как полагаете, читатель?..

В нашей стране А. Шнитке известен в основном по музыке к фильмам. Их ровно шестьдесят: «Вступление», «Вызываем огонь на себя», «Отец Сергей», «Дневные звезды», «Агония», «Экипаж», «Ты и я», «Восхождение»...

ШНИТКЕ. У меня не было другого выхода. Кино меня спасало. Лет десять, если не больше, где-то до семьдесят второго года я на это жил. Все, что писалось не для кино, не приобреталось. Я не хочу сказать, что работа в кино была для меня малоинтересной и явилась лишь способом зарабатывать деньги. Никким образом! Она очень много мне дала, многому научила, здесь я сделал кое-какие открытия для себя, которые потом мне такгодились. Тем не менее времени работа для кино отнимала у меня очень много: только три-четыре месяца в году оставалось на остальную, более важную для меня музыку.

Свою Первую симфонию я писал четыре года, с шестидесяти девятого по семьдесят второй. Но в том, что это было так долго, повинно не только кино, которое, по сути, ни в чем и не повинно, ибо оно не первопричина, а следствие... Действовали трудности чисто творческого характера. И в первую очередь — непривычность. Она заключалась не только в хождении музыкантов во время исполнения (это я уже использовал раньше; правда, никогда не думал, что решусь сделать то же самое в симфонии). В большей степени непривычность состояла в том, что симфония строилась на соединении разных языков. Они должны были взаимодействовать, составлять некое единое целое. Это не новость в музыке, но для меня такая полистилистика была абсолютно новой.

В те же трудные для меня времена я четыре года писал Фортепианный квинтет — сочинение, которое длится 25—30 минут и почти для минимального состава исполнителей. Долго я не мог продвигнуться дальше первой части. Ни один из многочисленных вариантов меня не удовлетворял. Только через три года я нашел выход из тупика. Квинтет посвящен памяти моей матери.

Издавна музыку используют как успокоительное и даже целительное средство. Музыка Шнитке не из таких. Она не пригодна для умиротворения. Совсем напротив: она лишает покоя, возбуждает тревогу, чувство тоски, страха... Она есть средство — «нашатырь» — для пробуждения памяти, совести, для бередения старых душевных ран, ибо в этой музыке — страдание, стоны, вопли души. Просветления в ней — лишь паузы. И только в последнее время...

ШНИТКЕ. Одно время меня причисляли к так называемым авангардистам. Само это слово вызывает у меня протест. Насколько я знаю, нет сколь-нибудь серьезных, талантливых авторов, композиторов, которые сами себя называли бы авангардистами. Все подобные классификационные определения приходят со стороны и наклеиваются, как ярлыки на чемоданы.

Что касается меня лично, я хотел бы несколько дистанцироваться от тех поисков, которые были типичны для европейской музыки 50—60-х годов, когда забота о чистой выразительности обернулась полным игнорированием жанра, конкретных реалий музыкальной жизни. Но эти поиски нельзя считать шагом назад или «отрицательным явлением». В конце концов они привели к выработке новых и очень точных приемов музыкальной техники. И эти приемы, как достижение человечества, должны быть на вооружении у всех современных композиторов. Но!.. Сейчас чаша весов качнулась в другую сторону, в сторону поисков более универсального музыкального языка, естественного сочетания тончайшей техники исполнения с какой-то очень простой, «сермяжной» правдой. Небесное и земное, идеальное и реальное. Воплотить это в музыке — вот цель, которая влечет к себе сегодня многих композиторов. В том числе и меня. Я стремлюсь, чтобы в моих сочинениях все было, как в жизни, чтобы все взаимодействовало, сосуществовало: и незримое, почти мистическое, и зримое, грубое, даже банальное. И при всем этом я не отрекаюсь от найденного во время своих «авангардистских» поисков.

Гете сказал когда-то: «По сути, мы все существа коллективные, что бы мы о себе ни воображали... Я звал художников, которые похвалялись тем, что не шли по стопам какого-либо мастера и всем решительно обязаны лишь собственному гению.

Дурачье! Да разве такое возможно? Разве окружающий мир на каждом шагу не навязывает себя человеку, не формирует его вопреки его глупости?»

В искусстве едва ли не главенствующую роль играет преэстетичность. Когда видишь большого мастера, обнаруживаешь, что он использовал черты своих предшественников и что именно это сделало его великим.

Но ежели бы он не использовал преимуществ своего времени, о нем не стоило бы и говорить».

ШНИТКЕ. Первое сильнейшее влияние, которого невозможно было избежать, — Рахманинов. Затем Шостакович, чье воздействие я начал испытывать примерно в пятьдесят втором году. Оно было так сильно, что, возможно, продолжается до сих пор. Не имея перед глазами линию, которую продолжил и вел Шостакович, не помнить о ней — для сегодняшнего композитора невозможно. При этом никак нельзя следовать букве Шостаковича, а только его духу: тут новые задачи, совершенно иной смысл и характер музыки. Во времена Шостаковича речь шла о сохранении человеческого начала в условиях, которые проявлению этого начала, скажем прямо, не очень способствовали. И сохранение этого начала было тогда главной задачей. Теперь же речь идет о том, как это «человеческое» модифицировалось и предстает перед нами, сегодняшними людьми? Каким оно становится, это человеческое?

Свое влияние оказали на меня Шенберг, Луиджи Ноно, Штокгаузен, Пьер Булез, Лучано Берно, Дьердь Лигети, Кшиштоф Пендерецкий. Но предельную близость я испытываю к Густаву Малеру. Его влияние на меня было самым сильным и самым важным, несмотря на малую схожесть наших с ним «музык». Я не могу вспомнить до Малера композитора его масштаба, который свою индивидуальность, свое «я» принес бы в жертву достижению правды вневременной. Композитор, который, исчезая, открывает мир. Жертвенность Малера, его смелость и риск, на который он шел постоянно, принесли ему горькие плоды непризнания и недооценки. Современники Малера не поняли его значимости. В Лексиконе Римана первых лет XX века о Малере пишется как о гениальном дирижере, сочинившем что-то эклектичное...

В том же положении, что и Малер, оказался американский композитор Чарльз Айвс, более полувек назад предугадывший весь путь развития современной музыки.

Что бы ни происходило в музыке, недостижимым абсолют для меня был и остается Бах. И все мои произведения лишь подчеркивают, как велик Бах.

Как бы поэт или писатель ни преклонялся перед Пушкиным, Байроном, Шекспиром, Толстым, Платоновым, как бы композитор ни боготворил Баха, он должен следовать своему назначению: нести крест своего призвания. И, даже будучи равнодушным к славе, успеху, желает, чтобы его произведения были обнародованы. Композитор хочет хоть раз, но услышать свои сочинения. Ноты — это только ноты. Это, может быть, и прекрасная, но спящая красавица. Пробудить ее может только исполнитель.

ШНИТКЕ. Мне очень везло на исполнителей. Я им всем бесконечно благодарен. И все же одного из них не могу не выделить: это Геннадий Рождественский. Он не только исполнил наибольшее число моих сочинений, но и был инициатором создания многих из них, подсказав идею или наведя на мысль.

Первая симфония, оконченная в 1972 году, впервые была тогда же исполнена Рождественским, которому она посвящена. Недавно он играл ее дважды и записал. И каждый раз иначе, удивляя меня тем, как это игралось: сочетанием легкомыслия и той предельной серьезности, на которые я когда-то был способен. В самом Рождественском заключена способность соединения двух этих полюсных состояний, но не застывших, а все время движущихся и взаимодействующих, как в самой жизни. Рождественский играл все написанные мною сочинения для оркестра и был первым исполнителем десяти из них.

Премьера Второй симфонии состоялась в Лондоне в 1980

году. Ее исполнил оркестр Би-би-си под управлением Г. Рождественского. Симфония эта (в ее исполнении принимает участие хор) длится около часа и имеет подзаголовок «Невидимая месса». Она навеяна поездкой в монастырь святого Флориана, где работал и похоронен композитор Антон Брукнер.

Большое влияние оказал на меня и продолжает оказывать скрипач Гидон Кремер. Ему я посвятил Четвертый концерт для скрипки с оркестром. Ему же, скрипачке Татьяне Гринденко и дирижеру Саулюсу Сондецкису посвящен Первый Концерт grosso. Пианист Владимир Крайнев, скрипачи Марк Лубоцкий и Олег Крыса, альтист Юрий Башмет, дирижеры Эри Клас, Дмитрий Китаенко, Александр Лазарев — все они были первыми исполнителями многих моих сочинений, написанных в расчете на их индивидуальность. При этом я не приспособлялся и не делал ничего им в угоду. Тут счастливое сочетание того, что интересно мне и близко им.

Через сложное, через поверку алгеброй гармонии, через алхимические усилия получить «абсолют Музыки», через разятие ее на звуки и рассудочное построение, конструирование из них чего-то причудливого и пугающего душу слушателя он пришел... к старинным формам. И не только по названиям — Концерто grosso, Соната, Месса, — но и по сути. Из мучительнейших, всегда искреннейших поисков, из прожорливого лабиринта познания он выбрался на собственный путь. Путь «классика».

ШНИТКЕ. Не нужно думать, что жанр спасает от пошлости. Пошлость не является ни врожденным недугом, ни качеством так называемого легкого жанра. Можно иметь значительный вид, всю жизнь благополучно «творить» пошлые симфонии, сонаты, концерты и прочие «серьезные» произведения и никогда не быть в этом уличенным. У пошляков свои прикрытия. Если автор пошлой «серьезной» музыки ссылается на отсутствие у широкой публики знаний. вкуса, на ее невежество, то сочинитель пошлой «легкой» музыки заявляет: чего же вы хотите, это не пошлость, это легкий жанр...

От пошлости спасает только талант.

Вернемся на концерт в Большой зал Московской консерватории 25 июня 1987 года. Закрытие сезона совпало с закрытием любимого зала на капитальный ремонт, значит, на несколько лет. Это придало атмосфере вечера особое своеобразие. Но главное, конечно, — премьера Виолончельного концерта Альфреда Шнитке. Солистка — Наталия Гутман, которой он и посвящен. В первом отделении — Гайдн, музыка которого прозвучала затишьем перед бурей...

Сразу же после концерта — вопрос к Н. Гутман: какое место в виолончельной литературе она отводит этому сочинению?

Одно из самых первых — наряду с Симфонией-концертом Прокофьева и Вторым концертом Шостаковича...

К самому Альфреду Шнитке большая очередь поздравляющих, благодарящих. Но и в этой исключительной, кружащей голову ситуации он безукоризненно вежлив и великодушно щедр...

ШНИТКЕ. Концерт я писал пять месяцев. Это мое первое сочинение после болезни. Так сказать, опус один по второму заходу. Только что закончил еще одну большую работу — балет на сюжет «Пер Гюнта», допускающий множество разных толкований. Заказная работа для Гамбургского театра, для балетмейстера Джона Ноймайера. Это довольно крупный мастер, который мне необычайно интересен. Я читал рецензию на его балет по баховским «Страстям по Матфею», написанную католическим священником. Автор признается, что поначалу был оскорблен самой идеей создания такого балета и пошел посмотреть на это «кошунство», дабы предать балет анафеме. А ушел очарованно-покоренным. Столь сущностное понимание Баха обнаружил Ноймайер! Конечно, такой уровень обязывает, понуждает ему соответствовать. Тем более, что для двух балетов Ной-

майер уже использовал мои сочинения. В частности, Первую симфонию — для балета «Трамвай «Желание» по Уильямсу.

Совсем недавно я начал писать концерт для двух фортепиано. Но есть замыслы, которые живут уже давно, но все никак не осуществляются. В начале 80-х годов я написал кантату «История доктора Иоганна Фауста», отталкиваясь от первой печатной книги о Фаусте, анонимного романа, изданного в 1587 году. И вот теперь я хотел бы написать оперу на этом материале. То, что уже сделано в кантате (один день жизни Фауста — день его смерти), станет третьим актом, а первые два составят жизнь Фауста до встречи с Мефистофелем и те двадцать четыре года, которые он купил у дьявола ценой своей души. Если судьба мне позволит, я начну заниматься «Фаустом» в этом году.

И еще один замысел — кантата для контртенора (то есть очень высокого тенора) на стихи, написанные разными поэтами в разное время. В основном это малоизвестные поэты XV—XVI веков, которых я открыл для себя в книге о Босхе...

В одном из концертов последнего фестиваля «Московская осень» прозвучала музыка Альфреда Шнитке к балету «Пер Гюнт». Не вся, только «Эпилог», но и это стало событием. Которого ждали и которое не обмануло.

Дирижировал Геннадий Рождественский.

...Что же это за музыка? Это одна долгая, долгая нота тревоги и боли, которой нет разрешения. Это набатный призыв к отмщению и реквием. В этой музыке есть нечто написанное о себе и для себя.

Премьера балета «Пер Гюнт» намечена на январь следующего года в Гамбурге, то есть опять не дома.

Да, забыл сказать: Альфред Шнитке имеет награду. В 1986 году ему была присуждена Государственная премия за музыку... к мультипликационному фильму-трилогии: «Я к вам лечу воспоминаньем», «И с вами снова я», «Осень».

Так, может быть, чего-нибудь стоит и вся остальная его музыка?



СКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ПРИКАЗА?

В 11-м номере «Юности» за прошлый год была напечатана повесть Ю. Полякова «Сто дней до приказа». Это один из немногих случаев, когда читательские отклики и отзывы прессы стали появляться задолго до публикации повести.

Видимо, тема, которую затронул Ю. Поляков, весьма актуальна и болезненна. В эту подборку мы смогли вместить лишь малую долю откликов, но они достаточно характерны и отражают читательское мнение о повести Ю. Полякова, и вообще — шире — о состоянии дел с так называемыми «неуставными отношениями» в армии.

К сожалению, мы не все письма приводим в полном объеме, ибо тогда читательский диалог занял бы весь номер журнала.

Мы надеемся, что эта публикация даст возможность продолжить разговор о проблемах, связанных с армейской службой.

ПОНИМАЮ, ЧТО СЕЙЧАС НА ЮРИЯ ПОЛЯКОВА обрушился шквал всевозможных ругательных писем, которые начинаются чуть ли не с обвинения в стремлении опорочить нашу славную армию. Понимаю, что от всего этого, ох, как не сладко, даже если автор «Ста дней до приказа» и сознает свою правоту. И пусть это письмо будет ему хоть в какой-то мере утешением.

Утешением потому, что все в повести правда, и ничего, кроме правды, в ней нет. К сожалению.

Слишком далеко все зашло. Так же, как и в обществе. Именно эту особенность неуставных отношений, их социальные корни и подметил Ю. Поляков. Ведь не зря Ф. Энгельс повторял неоднократно, что армия является сколком того общества, которому служит. У нас же умники некоторые пытались доказать, порою надрывая пупок, что Советская Армия настолько отлаженный механизм, что на него не влияют никакие перемены, случающиеся в обществе.

*А. Белокопы, полковник юстиции,
г. Москва.*

Я С БОЛЬШИМ ИНТЕРЕСОМ ПРОЧИТАЛ нашумевшую повесть Ю. Полякова «Сто дней до приказа». Извините за резкость, но мне кажется, что это повесть заурядного нарушителя воинской дисциплины.

Проблема неуставных отношений в армии существует, этого отрицать нельзя, но события, описываемые в повести, мне кажется, могли быть лет 7—10 назад, но никак не в 1985 году, когда с этими явлениями уже велась самая решительная борьба. Автор сам не верит в то, что возможна победа над этими уродливыми явлениями, он не видит выхода из сложившейся ситуации, занимается лишь констатацией фактов, не видно авторской позиции в этом вопросе.

Отдельно хочу остановиться на отношении Ю. Полякова к офицерам. Через всю повесть проходит брезгливо-презрительное отношение автора к людям, чьей судьбой стала защита Родины, людям, которые порой десятилетиями служат в далеких гарнизонах, где «забор — единственная достопримечательность». Товарищ Поляков изображает офицеров неврастениками, карьеристами, тупыми держимордами, он не верит в них, не верит в их желание и способность навести уставный порядок, покончить с неуставными отно-

шениями. А сцена в библиотеке, где главный герой «интимничает» с Татьяной Уваровой, бросает тень на наших боевых подруг, наводит обывателя, чуждого армии, на мысль, что так и есть на самом деле: мужья служат, а их жены заводят «амурные истории» с подчиненными.

Со всем этим я в корне не согласен. И вообще складывается впечатление, что тов. Поляков во время срочной службы солдатом-то был не очень дисциплинированным и порядочным и настоящей службы не видел.

Таково единодушное мнение мое и моих товарищей о повести Ю. Полякова «Сто дней до приказа», может быть, несколько резковато, зато от души.

*А. А. Чуйко, капитан,
г. Актобинск.*

ЕЖЕГОДНО ОДИН ИЗ ОРГАНОВ ПЕЧАТИ Министерства обороны СССР присуждает премию за лучшее литературное произведение о Советской Армии. Повесть Юрия Полякова «Сто дней до приказа» удостоилась особенно высокой чести: ее подвергли обсуждению задолго до выхода в свет. Кампания по обсуждению этой повести во всех ведомственных средствах массовой информации («Красная звезда», «Служу Советскому Союзу!») наглядно показала, как понимают гласность наши защитники чести мундира. Но речь не о них. Подводя предварительные итоги обсуждения, можно заранее предсказать — премия достанется не Ю. Полякову.

Между тем при всех ее недостатках эта повесть — явление в нашей литературе. И пусть в ней намечены только подходы к сути проблемы, боль — живая, кричащая — заявлена. Наверное, нигде в годы «застоя» не была так велика пропасть между словом и делом, как в армии, между ее глянцевым изображением в произведениях «искусства» и реальным армейским бытом. Повесть Ю. Полякова — первое произведение искусства (без кавычек) о нашей армии.

*Е. Э. Иванов, И. Ф. Гачик,
г. Москва.*

КАК МОЖНО ТАКОЕ ПЕЧАТАТЬ? Даже сегодня. До чего же дойдет наша гласность?

Какую вы преследовали цель, помещая этот пасквиль в молодежном журнале?

Неужели теперь у нас не будет существовать никаких рамок? Неужели так надо?

Кто мог дать разрешение это печатать? Я сомневаюсь, что такое разрешение вы могли получить в Министерстве обороны.

Ведь это — наставление по разложению армии, иначе, по-другому, не воспринимается.

Этим «произведением» вы сослужите медвежью услугу нашим юношам. Не с этого конца вы начали, уверена в том, что вы совершили ошибку.

Надо просто ненавидеть Советскую Армию, чтобы ему, этому Полякову, написать такое, а вам напечатать.

Многие знают негативные стороны в армии (где их нет?), но не такими же методами надо вести борьбу.

Пока армия существует (и вряд ли будет иначе), юноши будут служить в ней. К службе надо молодых людей готовить, чтобы они действительно чувствовали себя защитниками Родины, а не шли на службу, как на наказание.

Я думаю, что это «произведение» надо было просто отослать в Министерство обороны. Для начала, во всяком случае.

*Г. Г. Якимович,
г. Москва.*

ПРОШЛО БОЛЬШЕ 15 лет с тех пор, как первый раз в жизни я узнал, что такое «старик» (на себе), а все помню по дням, как вчера.

Когда я читаю книги, смотрю фильмы и особенно передачу «Служу Советскому Союзу!», я всегда задаю себе вопрос: «Они что, в армии не служили, что ли?! Или в каких-то других частях, не в тех, где служили мои друзья, знакомые, сам я?!» Ведь и с этой повестью я впервые встретился в передаче ТВ, где сержанты, солдатики, офицеры и замполиты дружным хором осуждали «Сто дней...». Я подумал: «Эге! Значит, вещь стоящая!» И я рад, что не ошибся.

*А. М. Юрченков,
Тюменская область.*

ПРОЧИТАЛ В ВАШЕМ ЖУРНАЛЕ № 11 повесть Ю. Полякова «Сто дней до приказа». Перед этим прочитал его объяснения в журнале «Огонек» № 44 за 1987 год. Теперь полностью согласен с реакцией общественности на эту повесть.

В своем объяснении Ю. Поляков просто спекулирует на ряде моментов в нашей жизни. Он пишет не об неуставных отношениях в армии. Возможно, Поляков ставил перед собой такую цель, не буду спорить. В силу своей психологии распушенного солдата второго года службы он пишет пошлости о Вооруженных Силах, показывает уродами прапорщиков, командиров и политработников: «У прапорщика медно-рыжие волосы и здоровенные кулаки, которыми, если использовать их в мирных целях, можно забивать сваи», «трехзвездный Макаренко» и т. д., начиная все это с первой строки своей повести. Одна пошлость, и ничего святого.

Хочу отметить, что журнал «Юность» — один из многих художественных журналов, со страниц которого Вооруженные Силы постоянно поливаются грязью, а офицеры изображаются дебилами, дураками, какими-то уродами и т. д.

*М. Гавюк,
г. Ейск Краснодарского края.*

ПИШУТ ВАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ одной из частей вот по какому вопросу. У нас в стране сейчас идет перестройка, вошла в жизнь гласность. Но в нашей солдатской библиотеке, следуя старой политике «умолчания и розовых цветов», изъят 11-й номер вашего журнала за 1987 год (где была напечатана повесть «Сто дней до приказа»), мотивируя это тем, что «...вам это не положено читать...». И библиотекарю здесь, получается, ни при чем, они говорят, что это указание начальника политотдела.

Можно подумать, что в этой повести напечатано больше, чем знают о своей жизни сами солдаты.

*Военнослужащие,
Одесский военный округ.*

К ПОВЕСТИ «СТО ДНЕЙ ДО ПРИКАЗА» относимся отрицательно, процентов 80 — фантазия автора. Интересно, в каком воинском коллективе служил товарищ Поляков?

С болью в сердце читаешь отдельные строки. Вымысел. Такого в нашей Советской Армии нет и не может быть. По поручению студии

*М. Гухтин, 10-й класс,
Львовская область.*

ЧТО «ДЕДОВЩИНА» В АРМИИ ЕСТЬ — ЭТО ФАКТ! А чтобы знать подлинность, масштабность «дедовщины», посоветую вам одно — расшевелите военных юристов, они такой материал дадут, что защитникам правды крыть будет нечем!! И в этом вопросе прошу редакцию не останавливаться.

*В. Д. Аккуратнов, подполковник запаса,
г. Москва.*

ПРОЧЕЛ ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 11 (1987 ГОДА) ВАШЕГО ЖУРНАЛА повесть Ю. Полякова «Сто дней до приказа», которая заставила меня задуматься о том, с какой легкостью вы в первую очередь и ее автор черните и порочите нашу Советскую Армию.

Да, в так называемый застойный период, к сожалению, в нашей армии зародились и развились, как мы их называем, неуставные отношения. Но это не дает право автору названной повести наводить тень в целом на все Вооруженные Силы СССР. Ведь здесь все дано в обобщенном плане. И хочется знать: кто сей писака, чьего он роду-племени, если он с такой враждебностью и злостью пишет о той армии, которая на протяжении десятилетий являет пример всему миру в деле защиты нашего Отечества.

Я — кадровый офицер. Имею за плечами более 17 лет выслуги на офицерских должностях. Прошел срочную службу с 1966 по 1968 год. И мне наша армия дорога даже с тем, что в ней есть негативное. И с этими пятнами во всех Вооруженных Силах и у нас в части ведется непримиримая борьба. Диву даешься: откуда у этого писателя такой махровый жаргон, которым он не стесняется пользоваться и популяризирует его на страницах вашего журнала. Ведь он-то в армии прослужил, по-моему, не более двух лет, а успел снять столько «сливок», сколько другому не удастся за более продолжительный период, и всю эту грязь льет на то

святое, что создавалось, окроплялось кровью, отмечено потерями миллионов жизней в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в течение 70-летней истории наших Вооруженных Сил. По-моему, к 70-летию нашей героической армии и флота достойно было бы написать вам о том, на чем действительно можно воспитывать молодежь. А вы повестью Полякова подливаете масло в огонь и тем самым даете новый толчок для дальнейшего развития неуставных отношений. Иначе думать нельзя. Это программный документ призывника.

Да, у нас в стране взят курс на демократизацию всех сторон жизни нашего общества. Но не нужно спекулировать нашей демократией и гласностью, не нужно смаковать те факты, которые изложены в повести. Где вы были 20 лет назад? Почему молчали тогда? Вот в то время вам нужно было бить тревогу, а не сейчас бить по хвостам. Сейчас ваши «услуги» армии не нужны, без вас справимся!

Созданными в повести портретами различных категорий офицеров и прапорщиков вы даете повод будущим и настоящим солдатам видеть в своих командирах только плохое. Вы противопоставляете солдат офицерам и прапорщикам. И что это? Разве резкое дерганье головой майора Осокина его вина? Нет. Это наша беда. И по заключению автора повести можно понять, что у старшин нашей армии металлические челюсти и т. д., и т. п.

Да, у нас в армии много недостатков, больших недостатков. И с ними ведется ожесточенная борьба снизу доверху.

Если в ваших силах и возможностях, то прошу поделиться вашей оценкой этой повести. И если вы разделите полностью мнение Полякова, то впредь я вашему журналу не доверяю. Извините за резкость. Но я иначе не могу.

*А. А. Дунов,
Актюбинская область.*

МНЕ, КАК МАТЕРИ, да и всем родителям хотелось бы знать, как много потребуется времени командованию армии на раскачку, на выявление и обсуждение фактов, на выработку срочных мер? Не пора ли перейти от слов к делу?! Ведь тысячи наших сыновей служат **сейчас**. Именно **сейчас** терпят унижения, издевательства, поправление всех человеческих принципов. Хочу заметить, что все экзекуции, ночные приговоры членов «высокого совета», выяснение отношений, гульбища «стариков» происходят в основном после отбоя, когда в казарме нет дежурного офицера. Вот и в повести «Сто дней до приказа» со всей очевидностью обнажилась эта причина.

Все без исключения материалы, которые мне пришлось читать, видеть по ТВ, поднимающие вопросы «дедовщины», не дают истинной картины этого ужасного, жестокого явления. Их авторы обходят острые углы, сглаживают настоящее положение дел в армии. Даже в вашей повести, тов. Поляков, слишком смягчены формы и методы в описании фактов проявления неуставных отношений. На самом деле все гораздо ужаснее. И, напиши вы о реальной жизни сегодняшней казармы, чуть «сгустив краски», повесть ваша до сих пор не пробилась бы к читателю. Гласность гласностью, но не все еще пока легко прорывается сквозь толщу 20-летних застойных явлений. Ведь армейские политработники призвали вас написать об армии такую правду, которая устраивала бы их, вдохновляла и звала вперед солдат.

До каких же пор жизнь наша будет держаться на показухе, на очковитирательстве, на замазывании реальных фактов?!

Среди ребят призывного возраста бытует фраза: «Хочешь посмотреть по ТВ сказку? Смотри передачу «Служу Советскому Союзу!». Давно уже никто не верит этим красивым картинкам, подготовленным речам и интервью. Ведь рядом живут отслужившие армию живые парни, прошедшие, так сказать, «школу мужества», да еще какую «школу»! Уходя в армию, каждый из них знал, что идет выполнять свой долг, приобретать воинскую выучку, закалять себя морально и физически. Каково же было их удивление, когда, переступив порог КПП, они перестают существовать как личности. Некоторая личность, правда, пытается заявить о себе, но сразу наталкивается на колючий барьер между ней и старослужащими, и преодолеть его крайне тяжело. Так с первых шагов лихие, гордые парни превращаются в бессловесные существа, в подобострастных, готовых не служить, а обслуживать (язык не поворачивается сказать «солдат») все-таки солдат.

А. Г., г. Владимир.

Стив ШЕНКМАН ЧЕЛОВЕК В КОЛЯСКЕ



Летним днем Вадим Бабашкин поехал с братом за город. Гуляли, купались. Когда возвращались домой, Вадим подвернул ногу. С кем не бывало! Но вслед за тем, в одно мгновение, обе ноги отказались служить ему... Врачи не могли обнаружить видимых причин внезапного паралича ног. И сошлись на том, что скорее всего у Вадима какая-то врожденная аномалия кровеносных сосудов, снабжающих спинной мозг. Их блокировка могла быть спровоцирована чем угодно — неловким движением, нервным стрессом, простудой.

Я встретился с Вадимом спустя три года. К тому времени он настолько лихо научился управлять своей коляской, что даже решил принять участие в проводившихся в Таллине состязаниях инвалидов, которые были приурочены к учредительному пленуму Всесоюзной федерации физической культуры для инвалидов. По мнению ученых, именно спортивные соревнования наилучшим образом способствуют социальной реабилитации инвалидов, вовлечению их в активную жизнь.

Вадим рассказывал мне, как в крымском санатории он познакомился с удивительным парнем. Его привезли из афганского госпиталя. Пулеметная очередь перебила Саше позвоночник. Надежды на излечение не было никакой. Но Саша часами выполнял упражнения, с помощью которых, как ему сказали, можно пробудить к жизни нервные окончания, возродить чувствительность ног. Правда, воздействие этих упражнений может сказаться лишь через долгие годы, может быть, через десятилетия. «Зря стараешься», — сказал Саше мрачный скептик. — Жизни не хватит, чтобы твои

упражнения восстановили позвоночник». А Саша ответил ему: «Значит, придется стать должником!»

Саша, несмотря ни на что, не производил впечатления трагической личности. И совсем не хотел, чтобы окружающие восхищались его волей и упорством. Он много шутил и смеялся. Саша произвел на Вадима сильное впечатление. Он тоже понял, что в его положении спасти могут лишь стойкость духа и оптимизм. С тех пор он стал приучать себя улыбаться. Улыбаться на людях и наедине с собой. С тех пор он стал подолгу выполнять физические упражнения и искать возможность участвовать в соревнованиях.

Надо сказать, что, согласно изысканиям медиков, большинство инвалидов можно считать... здоровыми людьми. В том смысле, что слепота, глухота, ампутированная нога или рука, даже парализованные конечности не оказывают рокового воздействия на работу жизненно важных органов: сердца, кровеносных сосудов, легких, печени, мозга, почек, желудка. Большинство инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также органов зрения и слуха спортивные занятия совершенно не противопоказаны. Задача лишь в том, чтобы подобрать такие виды спорта, при которых увечье не мешало бы соревноваться.

Один из таких видов спорта — сидячий волейбол. Площадка уменьшена, сетка натянута чуть выше метра от пола. В остальном правила обычные. Шесть человек сидят на полу: подают мяч, распасовывают, бьют, ставят блоки. Обычный азарт, обычные страсти, радость удачи, досада проигравших — вот это и есть нормальная жизнь. Сидячий волейбол дает возможность инвалидам переживать все то, что переживают обычные спортсмены. Признаюсь: когда я впервые наблюдал сидячий волейбол, сердце переполнилось болью. Но уже через полчаса я вовсе болел за пригласившуюся шестерку волейболистов, радовался их хорошим ударам, огорчался подаче в аут. Короче говоря, мои чувства совершенно не отличались от тех, которые я испытываю, наблюдая обычный волейбол в институтском зале или на пляжной площадке.

Идею о соревнованиях для инвалидов первым начал разрабатывать известный врач из Великобритании Людвиг Гуттмен. При госпитале для больных с поражениями спинного мозга он построил специально спроектированный стадион, где не только проводились занятия по лечебной физкультуре, но и устраивались соревнования. Программа этих соревнований уже в те времена была весьма разнообразной: стрельба из лука, гонки на инвалидных колясках, сидячий волейбол, баскетбол на колясках, легкоатлетические метания, настольный теннис, плавание, фехтование, тяжелая атлетика. Состязания эти обрели такую популярность, что в 1956 году Международный олимпийский комитет вручил Гуттмену специальный кубок за воплощение олимпийских идеалов гуманизма. Причем начиная с 1960 года установилась традиция проводить в рамках Олимпийских игр также олимпиады для инвалидов. Эти олимпиады собирали до тысячи участников из нескольких десятков стран, широко транслировались по телевидению и вызвали неизменный интерес у всех любителей спорта.

Мне удалось посмотреть документальные ленты о последних комплексных состязаниях инвалидов нашего континента. Бросается в глаза техническая оснащенность соревнований: великолепные скоростные коляски повышенной маневренности и устойчивости (при самых яростных схватках и столкновениях баскетболистов — ни одного падения), электроника, компьютерная техника (например, в стрельбе для слепых). Восхищают спортивные результаты: в жиме лежа некоторые «спинальники» фиксировали до 260 килограммов, одноногий прыгун в высоту приблизился к двум метрам, слаломист на протезе продемонстрировал удивительную технику. Но больше всего потрясает атмосфера соревнований, просветленные лица спортсменов и болельщиков — эмоции борьбы не оставляют места для мыслей о неполноценности. Накал страстей столь велик, что телекомпании борются за право трансляции, а коммерческие фирмы — за право выставлять на соревнованиях свои рекламные щиты. И те, и другие остаются при прибылях, пополняется и бюджет спортивных объединений инвалидов.

Увы, развитие мирового инвалидного спорта проходит пока без нашего активного участия. Тягостные тенденции застойного периода сказались и на отношении к инвалидам. Да, конечно, республиканские министерства социального обеспечения исправно выплачивали им пособия и пенсии, врачи выписывали направления в санатории, но все проблемы, связанные с инвалидами и их приобщением к полноцен-

На снимке: гонки на колясках на первом чемпионате мира среди инвалидов.

Фот. Е. Волкова.

ной жизни, считались темой не для широкого обсуждения. «Жертв и разрушений нет» — привычно писалось в газетах по поводу стихийных бедствий. Так же и с инвалидами — они, конечно, есть, но вроде бы и нет: ничто не должно смущать и мешать плавному течению жизни. Даже когда Организация Объединенных Наций объявила 1981 год Международным годом инвалида, у нас умудрились не дать ни одной серьезной публикации на эту тему.

Все Олимпийские игры последних десятилетий сопровождался олимпиадами инвалидов. Все, кроме Игр 1980 года в Москве. Энтузиасты неоднократно обращались в Оргкомитет Олимпиады-80 с предложениями организовать хотя бы показательные выступления инвалидов. Эти обращения даже не были удостоены вразумительного ответа.

Перестройка нашей общественной жизни началась с повышенного внимания к человеку и его проблемам, с подчеркнутости уважения к личности. В такой обстановке совершенно естественной оказалась и ревизия чиновничьего, бюрократического отношения к инвалидам. Этой проблеме было посвящено специальное постановление Госкомспорта СССР, который поддержал инициативу клубов инвалидного спорта в Таллине, Ленинграде, Риге, Вильнюсе, Омске, дал задания подведомственным организациям активизировать работу по развитию спорта среди инвалидов.

Но, к сожалению, работа идет с большим скрипом. Вот один пример. Наши общественные здания не приспособлены для инвалидных колясок, которые не могут преодолевать ступеньки и пороги, не помещаются в кабинках лифтов. Для инвалида на коляске недоступны не только театры, стадионы, кинотеатры, но и университеты, соборы, поликлиники. Еще в 1976 году я видел в олимпийском Монреале места для инвалидных колясок, оборудованные на трибунах стадиона и бассейна, а в Торонто, где проходила Олимпиада инвалидов, специально подготовленные места для состязаний. В постановлении Госкомспорта было дано задание институту «Союзспортпроект» срочно разработать рекомендации по соответствующему проектированию и перестройке сооружений. На пленуме в Таллине я спросил главного специалиста этого института М. Н. Николаева о том, как выполняется срочный заказ Госкомспорта СССР. Из весьма сбивчивого ответа главного специалиста можно понять одно: к работе всерьез еще не приступали.

Вадим ездит на отличной югославской коляске. А тяжелые и неповоротливые отечественные коляски, которые не проходят в стандартные дверные проемы наших квартир, говорят, снимаются с производства. Их заменяют коляски, которые по западногерманской лицензии начал выпускать завод в городе Ставро Владимирской области. Но, признаюсь, и ставровские далеки от идеала. Это понятно, лицензию покупали представители Министерства автотранспорта, далекие от проблем инвалидов. Эта модель морально устарела еще до того, как была освоена на производстве. Для спортивных соревнований ставровские изделия не годятся. Нужны специальные коляски, которые пока никто у нас даже не проектирует. Не задумываются и о том, что инвалиды разные (подросток весит 40 килограммов, а кое-кто набрал 140), но коляски одинаковые. Не изготавливают запасных частей и сменных деталей. Я уже не говорю о специальных бытовых приспособлениях для инвалидов — удлинитель для кранов, выключателей, ручек, о различных манипуляторах. Мировой рынок полон подобными моделями, по данным ЮНЕСКО, общее количество инвалидов превышает десять процентов населения Земли...

Но вернемся к проблемам инвалидного спорта. Для его широкого развития необходимы структуры физкультуры и тренеры. Но спортивная работа с инвалидами специфична и, понятно, гораздо сложнее, чем со здоровыми спортсменами. Специалистам других профессий за работу с инвалидами доплачивают 25 процентов, тренерам — нет. Минфин продолжает упорствовать, демонстрируя неуместную здесь бережливость.

Есть проблемы, которые можно было бы решить, как говорится, росчерком пера. Вот, скажем, такой вопрос: лучший тренер для инвалидов — это человек, сам перенесший травму и потому прекрасно понимающий специфику работы в этой сфере. Но, увы, человека, находящегося на инвалидности, в инфизкульт не примут, поскольку у него нет соответствующей медицинской справки. Без справки инвалида-спортсмена не допустят к соревнованиям, но врач может ее выдать, лишь нарушив инструкцию Минздрава, который до сих пор словно бы не замечает этой быстро увеличивающейся категории спортсменов и никак не реагирует на их

появление. Он пока признает лишь лечебную физкультуру для инвалидов, дело, безусловно, очень нужное, но решающее задачи лишь оздоровительные, а не социальные. Специалисты утверждают, что человек без руки или ноги практически здоров и для социальной реабилитации нуждается в занятиях спортом, а у нашей медицины другая логика: находясь на инвалидности — значит, болен, больной же должен лечиться, а не выступать в соревнованиях. Существующая инструкция нелепа, но не отменена...

В соответствии с постановлением Госкомспорта СССР ученым поручено срочно разработать методические рекомендации для тренировок и соревнований по различным видам инвалидного спорта. Надо сказать, что ученые горячо принялись за дело. На таллинском пленуме была распространена ксерокопия первой методической брошюры. Однако специалисты-практики сурово раскритиковали эти рекомендации и предложили их серьезно переработать. Вернувшись в Москву, я зашел в магазин «Медицинская книга» и купил прекрасно изданную в ФРГ книгу сэра Людвиг Гуттмана «Спорт для инвалидов». В этом томе самым подробным образом расписаны все детали организации тренировок и соревнований, результаты бесчисленных медицинских наблюдений за спортсменами-инвалидами, даны международные правила. Кстати, о правилах: поскольку мы не входим в Международную федерацию инвалидного спорта и не интересовались международными соревнованиями, то и соответствующих правил у нас не было. А нет правил — неизвестно, как состязаться и как готовиться к этим состязаниям. Что ж, мы даже и не планируем участие наших спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата в летней Олимпиаде для инвалидов 1988 года...

Спорт для ленинградского инвалидного клуба, куда входит Вадим, не самоцель. Общение в клубе, совместные культурные и спортивные мероприятия, взаимопомощь — все это поддерживает каждого, возрождает уверенность в себе, оптимизм. Недаром клуб называется «Феникс».

О том, каким может быть духовное и физическое возрождение попавшего в беду человека, свидетельствует судьба Вадима. Еще до несчастного случая он окончил музыкальную школу по классу кларнета, играл в школьном ансамбле на саксофоне, гитаре, аккордеоне, рояле. Играть он продолжает и сейчас. В прежние годы он чем только не увлекался! Пожалуй, лишь спорт да живопись не занимали его. А сейчас он чемпион клуба по настольному теннису, гонкам на колясках и плаванию. Неожиданно увлекся и живописью. Роковые перемены, осложнившие его жизнь и переключившие эмоциональную сферу на более напряженный ритм работы, пробудили скрытые, неведомые ему прежде способности. Акварели Вадима попали на выставки, были высоко оценены специалистами. Его приняли на художественно-графический факультет Ленинградского пединститута имени Герцена.

Давно замечено, что у человека, ставшего инвалидом, особенно ставшего инвалидом в юные годы, зачастую пробуждаются творческие способности, о которых прежде он и не подозревал. Позволю себе едва ли не кощунственный вопрос: стал бы писателем Николай Островский, если бы раны и контузии не выбили его из строя активных бойцов?

У меня хранится письмо, которое прислал Александр Лихвинцев, ставший жертвой детского церебрального паралича: «Положение инвалида обязывает задействовать и эффективно использовать все ресурсы организма. Оно жестко ставит личность перед выбором: либо поддаться некоему биологическому существу, либо поднять себя до высот человеческого духа. Приходится только удивляться, почему наша страна остается пока на уровне мистических представлений средневековья о роли инвалида в обществе. Почему у нас даже не пытаются вовлечь в общественную жизнь такой прекрасный, податливый, талантливый человеческий материал? Разве мы уже преодолели дефицит одухотворенности? Нет, инвалид нужен обществу не меньше, чем общество инвалиду!»

На торжественном открытии зимней Олимпиады в Калгари олимпийский огонь нес канадец Рик Хансен, незадолго до того совершивший на своей инвалидной коляске кругосветное путешествие. В пути Рик собирал деньги для развития мирового инвалидного спорта. Собрал 21 миллион долларов! Побывал Рик и в Москве. Правда, этот визит не взволновал инстанции, должны развивать у нас спорт среди инвалидов. Однако перемены ожидаются. Наконец-то создаются объединения, призванные обеспечивать нужды всех инвалидов (общества слепых и глухих существуют давно). В нашей республике создается Всероссийское общество инвалидов. Я прошу гонорар за мою статью перевести на расчетный счет этого общества.



«Кот в сапогах» — популярная детская сказка. Помните? Младшему из сыновей мельника достался в наследство всего лишь кот, который попросил у хозяина пару сапог. Получив сапоги, кот направился на охоту, а добычу стал дарить королю от имени своего хозяина, якобы маркиза. Когда король и принцесса поехали на прогулку, кот посоветовал хозяину сделать вид, будто тот тонет; по приказу монарха маркиза вытащили и посадили в королевскую карету. Кот же мчался впереди кареты, заставляя крестьян говорить, что все вокруг принадлежит маркизу. Наконец, забежал в замок волшебника-людоеда, уговорил его превратиться в мышку и съел. Королю сказали, что замок тоже принадлежит маркизу, который в тот же день женился на принцессе.

Попытаемся представить, как выглядела бы эта сказка, если бы ее написали несколько прозаиков, работающих в разных жанрах.

Матерый кот

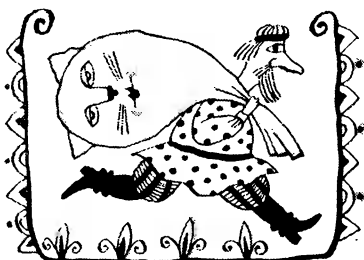
(автор произведений
на сельские темы)

Как прибрал господе старого мельника, остались три ево сыне совсем одне. Уходе на погост, отписал им тятка мельницу, осла да кота.

Большенькому досталася мельница. Середнему — цельный осел. А меньшенькому, горемычному, отколупнуле кота. От огорчительности меньшей едва не помре. Кровью харкал, посинел.

— Осподи! — лихоматом пушал он слезу, остыло склонившись меж старших братовьев. — Спросю: до какой такой надобности сдался мне матерый кот?! Хошь топись щас с досаде.

— Энто ты здря, хозяев, — навроде как прервал его кукованье кот. — Поди-ка лучше принесе мешок, чели, да закаже ишо пару сапог, чобы мне по кустам гулеванишь легше. Тем паче, я тебе в жисти пригожусе.



Припомнил тута хозяин, как евойный кот раньче муку в погребе стерег — дак ить у него же ни одна мышке не проханже. Може, взаправде в другом чем опять пособит. И заговорил:

— Ладноть. Сапоге будут в готовность к весне.

Тады кот ослабилсе:

— Мерсе, месье.

Гад в сапогах

(автор детективных романов)

Получив ярко начищенные сапоги, кот куда-то испарился. С тех пор я не видел его полгода и решил начать розыск. В мельуправлении мне сообщили, что среди мельничных жильцов кот не прописан. Тогда я стал искать по дворам, чердакам, тупикам, помойкам, лазам и хазам.

Я напал на след после полуночи, когда в черном сумраке заповедной Марьиной роши увидел в мешке вроде бы мертвого кота. В это время туда заглянул юный кролик, которому захотелось котятины. Неожиданно кот затащил веревки мешка, после чего без всякого милосердия превратил белоснежного кролика в бело-розового.

И тут кот заметил меня. С легкой хрипотцой он заМУРлыкал:

— Что ты лыбишься, мусор? Или чем недоволен?

Я напряг душевные силы, чтобы сказать правду, и напряженным голосом произнес:

— Я недоволен тем, что ты браконьерствуешь, да не просто брако-

ньерствуешь, а пользуясь шельмовскими методами. Ты, уголовная рожа, притворяешься мертвым, а ведь ты, падаль, жив и своими подходами ловишь кроликов. Одному мазурику столько не съест. Значит, ты, гад в сапогах, продаешь их барыгам. Значит, жируешь, сволочь?! Видеть тебя тошно!! Брысь!!!

В ответ кот надулся, словно мышь на крупу:

— Ошибочка вышла, гражданин маркиз. Никаких барыг знать не знаю, добычу свою отношу королю и дарю ему от вашего имени.

Мне вдруг стало стыдно за то, что напрасно обаял кота. Я даже покраснел.



Мышиная возня

(автор исторических
произведений)

Король не знал, что, когда он выезжал инкогнито на прогулку в Сан-Суси, хитрая лиса кот уже раскинул силки, интимно шепнув своему хозяину:

— От вас требуется сушая ерунда. Сейчас вы пойдете на дипломатический канал и будете там купаться.

Маркиза охватил приступ бешеной ярости:

— Что вы за шишка давать мне советы?! А если я откажусь, что ожидает меня?

— Бастилия, мон плезир! Увы, Бастилия!

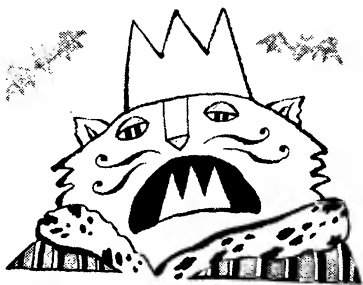
Маркиз поморщился. Вена тоже.

Когда король выехал на берег канала, кот прислал ему секретную депешу: «Помогите! Маркиз де Карabas тонет!»

«Самому ему тонуть не резон, — подумал король. — Это зверствуют шпионы канцлера Бефстроганова, который любит топить моих агентов».

Король приказал страже вытащить тонущего. Маркиз был в полном трапезе — с его лица смыло всю пудру. Увидев его посиневшее тело, принцесса стыдливо прикрыла веером свои обнаженные плечи. Королевский лейб-медик заставил маркиза согреть кровь бутылкой шабли, настоящего на мышьяке. Королевский лейб-закройщик согрел его новым камзолом. Королевская лейб-каjeta согрела его бархатным сиденьем.

Вена поморщилась.



Когда король уезжал с берега канала, он делал вид, будто не замечает, что сидящий напротив него маркиз поцеловал пахнущую порохом ручку принцессы. Целуя, маркиз не заметил, что принцесса бросила на него исподтишка осмнадцать деловых взглядов.

Принцесса так внимательно следила за маркизом, что не заметила иезуитского взгляда короля, который решил во что бы то ни стало ратифицировать зарождавшийся альянс Потсдама с Версалем.

Вена поморщилась и чихнула.

В трудном походе

(автор
публицистических очерков)

Отказавшись от высокого поста и персонального кабинета, кот в заляпанных грязью кирзовых сапогах фактически бежал по проселку перед каретой.

Время фактически было напряженное — стоял август 1658 года. Только разворачивалась косовица, а уже пошла дожди, на заливных лугах вязли сенокосилки, и тысячи крестьян с косами вышли фактически спасать урожай.

— Здорово, мужики! — крикнул кот, дымя махоркой. — Как жизнь молодая?

— Спасибо, не жалуемся, — критически ответили ему.

А кот мяукнул:

— Если не скажете королю, что этот луг площадью 345 гектаров принадлежит маркизу Карабасу, вас всех вызовут на ковер и изрубят на куски.

Всегда готовые поддержать остроумный розыгрыш, мужики с одобрением обсуждали конструктивное предложение кота, а тот, запахнув отсыревший плащ, уже деловито бежал вдоль пахотных земель дальше и всех, кто попадался навстречу, просил говорить фактически одно и то же: «это торфяник маркиза», «это урочище маркиза», «это лугопастбищный севооборот маркиза». Так стоически обтупал все дельце.

Я как-то спросил его:

— Может, написать о тебе хвалебный очерк?

— Да брось ты! — критически махнул он хвостом. — Фактически ничего особенного я не совершил. Подумаешь, сделал так, что король не мог надивиться богатством простого человека. Эка невидаль! На моем месте так поступил бы каждый.

Трудно быть подоедом (автор научно-фантастических произведений)

«Я проснулся, принял ионный душ и с досадой вспомнил, что в эмерном холодильнике на завтрак нет ни одного гуманоида. Зато неожиданно в кают-компанию я совершенно отчетливо увидел незнакомого кота в сапогах из синтетической кожи, хотя для нас, людоедов, коты — пища монастырская, ничего вкусного в них нет.

— Меня уверяли, — сказал кот, начиная дискуссию, — что вы обладаете фантастической способностью к воспроизводству защитно-отвлекающих автофантомов больших параметров.

Он может говорить, удивился я. Конечно, он не понимает, что несет, однако ксенопсихологическая область мозга у него явно на уровне.

— Должен сказать, — продолжал кот, — подобной инфрабиологической активностью обладают некоторые виды пузоногих на Эроплане. У земных же позвоночных подобная способность отсутствует.

В доказательство противного я нажал панель портативного транслятора и перешел в львиное подпространство.

От страха кот завибрировал, промчался по трапу через вессон, нырнул в кессон и эвакуировался в подпространство крыши. Я выключил кристаллофон дешифратора, после чего вернулся в стационарное подпространство. Успокоившийся кот спустился по детерминированной интерлестнице и, садясь на складной табурет, выдвинул вторую гипотезу:

— Полагаю, ваша способность к имитации параметров ограничена моносинтезом квазисистем большой размерности.

— Как бы не так! — вскричал я и из принципа перешел в мышинное подпространство.

В то же мгновение кот с позывными МЯУ бросился на меня, и мы вошли в контакт. Чисто нервно я начал вести борьбу за существование своего белкового тела, то есть пытался нажать на клавишу аварийного ретранслятора, как положено по инструкции. Но теперь у меня были короткие мышинные лапки, я находился в чужом желудочном отсеке, поэтому тянулся к клавише вслепую. Нажав ее, я понял, что под моим коготком находится клавиша клавесина, но отпускать не стал: помирать — так с музыкой».



Кто в сапогах? (фельетонист)

Не так давно одной юной принцессе (подлинные имя и отчество которой мы по вполне понятным причинам не называем) удивительно повезло. Произошло это следующим образом.

Однажды ее отец-король (подлинные имя и номер которого мы по вполне понятным причинам не называем) ничтоже сумняшея совершал променады. Разумеется, это происходило в рабочее время, хотя у него был день приема по личным вопросам.

Возле двухэтажного каменного замка с конюшней и бассейном король ничтоже сумняшея ступил на стезю случайного знакомства с неким котом в фирменных сапогах.

Обаятельно улыбаясь, сей представитель фауны предложил королю



посетить в замке небольшой пикник. Ничтоже сумняшея сей муж принял приглашение случайного знакомого, даже не поинтересовавшись, на трудовые ли доходы возведен сей замок.

В одной из комнат замка, оставленной фирменной мебелью, их уже поджидал так называемый маркиз — человек с гладко выбритым лицом без определенных занятий. Кот ничтоже сумняшея представил его королю в качестве хозяина.

Не станем задерживать внимание дорогого читателя на баснословном количестве деликатесов, возникших на столе, словно по мановению волшебной палочки. Скажем только, что, когда было выпито преизрядное количество рюмок отнюдь не простокваши, король ничтоже сумняшея согласился выдать принцессу замуж за так называемого маркиза. В этом и заключается ее везение, о котором мы говорили выше — ведь, находясь в объятиях Бахуса, так называемый отец запросто мог выдать сию особу и за кота.

Таков плачевный финал этой истории, затеянной четвероногим аферистом в сапогах. Надо сказать, брак несовершеннолетней принцессы с маркизом в кавычках совершился при полном попустительстве и даже содействии легкомысленного отца, которого хочется назвать королем без царя в голове. Надеемся, когда с глаз его спадет хмельная пелена, король узреет, что маркиз без кавычек — голый король.

Рисунки О. Эстуса

ИРОНИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Сикось-накось

Белья белсе,
Блюя и бляя,
Буль-буль Кобылкин
Шел с юбилея.

Шел сикось-накось,
Упал в канаву
И в той канаве
Лежит по праву.

Лежит и видит:
Чисты и яры,
Сияют звезды,
Как юбиляры.

А юбиляры,
Как на картинке,
За стол уселись
Справлять поминки.

Закусок — горы,
Хозяйка — в мыле,
А чьи поминки,
Хоть плачь,— забыли.

Философическая

Таблица умножения
Внушает уважение:
Кого ни спросишь — знают
Таблицу умножения.

Но это положение
Имеет продолжение —
Никто не скажет: верю
В таблицу умножения.

Спроси — отвергнут начисто
Подобное ребячество
И верят только в то,
Чего не знают начисто.

Туристическая

И в стране Толстомордии,
И в стране Голопузии
Существуют коллизии,
Существуют иллюзии.

И при каждой коллизии
Погибают иллюзии
И в стране Толстомордии,
И в стране Голопузии.

Но другие иллюзии
После них появляются,
Возникают коллизии,
И все повторяется.

Скоморошья

Шиворот-навыворот
Схвачен был за шиворот,
Ошельмован, выпорот,
За ворота вышвырнут.

Шиворот-навыворот
У ворот слоняется,
От обиды мается,
Людям удивляется.

Был он ими выпорот,
Ошельмован, вышвырнут,
А живут по-прежнему:
Шиворот-навыворот.

Балаганная

На потеху публики
Хоть с плеч голова!
Произносят умники
Глупые слова;

Рассыпают пряники
Печатных фраз
И, задрав подштанники,
Пускаются в пляс.

А в глазах у публики
Застыла тоска:
Не нужны ей умники,
Ей дай дурака,

Дурака толкового,
Чтоб с ним не зевать...
А где теперь такого
Взять?

Сложность

Его история, увы,
Не так проста:
Протухла рыба с головы,
А не с хвоста.

В чем
сложность?
Он бесхвостым был,
Как я и вы,
И знал об этом. Но забыл.
Увы!

Минога

Живет
Минога,
Жует
Ранет...
— Подтекста много,
А текста нет.
Минога
Строго
Сказала:
«Бред!»
— Талант от бога,
А бога нет.

Без состраданья

Была она доброй,
Ласковой коброй,
А он ее — шваброй,
А он ей все ребра
Пересчитал и сказал:
«Раз ты кобра,
То будь добра,
Перестань быть доброй!»

Одно он требовал
Без состраданья:
Единства формы
И содержания.

В НОМЕРЕ:

Проза

Лев РАЗГОН. Непридуманное. Повесть
в рассказах (5)

Юрий ПОРОЙКОВ. Только один день.
Рассказ (43)

Поэзия

Инна КАБЫШ (2), Отар ЧИЛАДЗЕ (2),
Леонид СОРОКА (4), Борис КЛИМЫ-
ЧЕВ (40), Михаил ГАВРЮШИН (41),
Эмиль ЯНВАРЕВ (42), Владимир КОР-
НИЛОВ (49), Анатолий КРАВЧЕНКО
(77)

Наследие

Владимир НАБОКОВ. Университет-
ская поэма (68)
Евгений ЗАМЯТИН. Воспоминания
о Блоке (73)

Публицистика

20-я КОМНАТА. Заседание шестнадца-
тое (51)

«Юность» — СПТУ. Не чужие и не чуж-
дые (60). «Личность». Вестник № 4 (61)

Критика

Наталья ИВАНОВА. Смерть и воскресе-
ние доктора Живаго (78)
Бенедикт САРНОВ. Не стрельбище, но
и не кладбище! (83)

История и ты

Евгений СТАРОСТИН. Как мы проща-
лись с Кропоткинским (65)
Чудеса ретуши (67)

Культура и искусство

Виктория ЛЕБЕДЕВА. О группе «Син-
тез» (63)
Эмиль КОТЛЯРСКИЙ. «Если судьба
мне позволит...» (87)

Почта «Юности»

Сколько дней до приказа? (90)

Спорт

Стив ШЕНКМАН. Человек в коляске
(92).

Зеленый портфель

Александр ХОРТ. Котовасия (94)
Михаил КУДИНОВ. Иронические ми-
ниатюры (96)

Оформление обложки А. Сальникова
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Цишевский
Технический редактор О. Трепенко

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва,
К-6, ул. Горького д. 32/1

Телефон для справок — 251-31-22

Сдано в набор 18.02.88.
Подл. к печ. 15.03.88. А 01950. Формат 84×60%.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 11,68. Уч.-изд. л. 17,75.
Усл. кр.-орт. 19,53. Тираж 3 100 000 экз.
Заказ № 2066.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.



ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВ
г. Ленинград

На стендах «ЮНОСТИ»

Вот одна из отличительных черт художника Вячеслава Михайлова — однажды найденное, удавшееся не становится для него догмой. Он работает в разных техниках: от акварели до энкаустики — живописи восковыми красками; рисунков пером и карандашом сделано тысячи и тысячи.

В. Михайлов окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Его дипломная работа «В мастерской» — групповой портрет студентов — коллег по учебе — была включена в постоянную экспозицию музея Академии художеств. В 1979 году Михайлову присуждается премия ленинградского комсомола и его принимают в Союз художников СССР.

Работы Вячеслава Михайлова по мотивам произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина воздействуют не столь сюжетом, сколько эмоциональным зарядом, тем самым, что привлек художника в книгах великого классика.

В графической манере передает он гротескный строй литературного произведения. Художник, кажется, готов на любую импровизацию — образ подсказан то выразительным силуэтом, то рваным «чиркающим» штрихом, то прихотливо расплывшимся цветовым пятном.

Искусство Вячеслава Михайлова эпического склада, потому даже и эти небольшие графические листы смотрятся монументально. В них горечь иронии прошлого века...

Е. В. Нестерова



Иллюстрации
к «Истории
одного города»
М. Е. Салтыкова-
Щедрина.



